

ARCHIV



ZDENĚK MLYNÁŘ

MRÁZ PŘICHÁZÍ
Z KREMLU

Зденек Млынарж

МОРОЗ УДАРИЛ ИЗ КРЕМЛЯ

© Зденек Млынарж, 1992

© перевод с чешского С.И.Разуван, 1992

ПРОЛОГ

Мне еще не было шестнадцати, когда весной 1946 года я вступил в коммунистическую партию. Я принадлежу к поколению чехословацких коммунистов, которым в феврале 1948 года, на том рубеже, положившем начало установлению тоталитарного режима, было около двадцати лет. Те, кому было уже больше двадцати, смотрели на вещи совершенно иначе, они помнили не только военные годы, но и жизнь последних предвоенных лет. В обычных условиях разница между людьми в пять лет с точки зрения жизненного опыта не столь уж значительна. Но если именно на эти годы приходится такое событие, как мировая война, различие между теми, чье взросление происходило в начале войны, и чье — в конце, оказывается весьма существенным.

Мое поколение, захваченное бурным развитием событий, включилось в политику слишком рано, не имея политического опыта. Мы знали только войну и оккупированную Чехословакию, да и то восприятие событий было наполовину детским. Это и породило у нас черно-белое видение мира: с одной стороны враг, с другой — тот, кто ему противостоит. Победа может быть либо за одним, либо за другим, третьего не дано. Основываясь на своем ограниченном жизненном опыте, мы усвоили упрощенную формулу: победа правильной концепции может быть достигнута лишь путем ликвидации, подавления другой. Против врагов мы готовы были бороться со всей страстью, свойственной нашему молодому возрасту. При черно-белом мировосприятии последовательность и радикализм представлялись нам их основными политическими достоинствами. Мы были сыты по горло конформизмом поколения отцов, которое так легко находило аргументы в оправдание своего непротивления во времена фашистского протектората. В конформизме и трусости мы подозревали каждого, кто пытался объяснить нам примитивность нашего радикализма. Собственный опыт не мог научить пониманию демократии, ее ценностей, предполагающих совершенно иное состояние, такое, когда победа одной идеи вовсе не означает подавление и искоренение других. Мы были детьми войны, хоть воевать нам и не пришлось. И психологию военных лет мы привнесли в послевоенные годы, когда, казалось, открылась возможность и нам за что-то поведи борьбу.

На вопрос, на чьей стороне и за что бороться, эпоха давала простой ответ: на стороне тех, кто последовательнее и радикальнее всех выступает против прошлого, кто не колеблется, не ищет компромиссов с прошлым, а революционными средствами с ним расправляется и преодолевает. Такой силой тогда казался Советский Союз, а такой личностью — Сталин. Сегодня это кажется абсурдным, но в первые послевоенные годы все было именно так.

В Чехословакии 1945 года поклонение Советскому Союзу и Сталину не противоречило общенародному стремлению к свободе и справедливости, которые должны были воцариться в новом государстве. Напротив, поклонение было органической составляющей этого стремления, наполняло его конкретным содержанием борьбы за социальную справедливость и равенство людей. Для тех, кто хотел решительно разойтись с прошлым, но ничего толком не знал о советской действительности, Советский Союз был страной сбывшихся надежд. Мы пришли в партию, восприняли ее идеологию без корыстного расчета и скрытых помыслов, движимые внутренним убеждением и сложившимися политическими представлениями.

Едва ли можно сказать, что в первые годы своей политической активности мы действительно владели марксизмом. Зато мы вкусили марксистского идеологического снадобья. Работа Сталина «О диалектическом и историческом материализме», «Краткий курс истории ВКП(б)», «Манифест Коммунистической партии», «Государство и революция» Ленина, «Вопросы ленинизма» Сталина. «Анти-Дюринг» Энгельса — это уже считалось вершиной марксистского образования. Из этих фрагментарных «знаний», различных идеологических партийных брошюр складывался строй наших взглядов, наши политические и человеческие позиции. Как и почему эта литература могла стать для меня чем-то вроде политического евангелия, содержавшего мировоззрение, которое находило отзвук в глубине моей души? Теперь, спустя много лет, я нахожу единственный ответ: идеология, изложенная в этих брошюрках, порождает в человеке, знающем на деле мало или ничего не знающем, самомнение, уверенность, будто он познал все, освоил закономерности развития мира и человечества. Эта идеология требует от него фактически только одного — поверить в нее. Именно человек необразованный, но

жаждущий знания легко принимает эту веру, поскольку стоит лишь поверить — и как бы уже приходит познание. Его внутренний мир меняется: он обрел ориентир. Хотя знаний по-прежнему нет, появляется уверенность в способности обо всем судить, определять, что хорошо, а что плохо для человечества. Видеть, что научно, а что антинаучно, не утруждаясь учеными занятиями. Такой человек в одночасье становится всевидящим, сразу возвышается над несознательной массой, блуждающей в потемках неведения и сомнений. Оставаясь незнающим, он становится сознательным.

То, что вера автоматически порождает в человеке ощущение превосходства над неверующими, — факт широко известный, и коммунистическое верование в этом смысле не исключение. Подобное же чувство превосходства христиане испытывают по отношению к язычникам и безбожникам. Весь вопрос в том, что верующий во имя своей веры может себе позволить в отношении неверующих, насколько сознание собственного превосходства может оправдать для него насилие. Вера в коммунистическую идеологию сталинизма, которую я, как и десятки тысяч моих современников, принял в 1945 году, как раз изначально оправдывала «крестовый поход» против «неверных».

Большинство именно потому так легко и спонтанно обратилось в коммунистическую веру, что она соответствовала нашему стихийно сформировавшемуся в годы войны черно-белому политическому мировоззрению. Перед нами вновь был противник, ему противостоящие силы и ясная цель: уничтожить противника (на этот раз — «как класс»), сделать это радикально, бескомпромиссно, расчистив тем самым путь новому, справедливому обществу (на этот раз коммунистическому, где все будут равны, где не будет социального напряжения и войн, наступит всеобщее счастье). Нужно только последовательно и энергично довести до конца тот «последний и решительный бой», о котором поется в «Интернационале». Для нас, переполненных энергией, не нашедшей выхода в годы войны, эта идеология была крайне притягательна.

До февраля 1948 года и некоторое время после него наши представления о социализме были еще более примитивными, чем у старших поколений сталинистов, политический и жизненный опыт которых позволял все же как-то корректировать идео-

логические догмы. В нас было столько самомнения, что тягаться в этом с нами могли бы, пожалуй, только западноевропейские маоисты конца 60-х годов. Мы были своеобразной сектой, с присущей всем сектам чертой: мы были счастливы в кругу единомышленников, объединенных собственными ценностями и своей моралью, приверженность которым приносила нам ощущение естественного превосходства над миром неверующих, то есть несознательных. Когда вера требовала бескорыстия и самопожертвования, на нас можно было положиться. Мы ездили на добровольные и бесплатные субботники — на шахты, стройки, сельхозработы, трудились по ночам, по воскресеньям, во время каникул и отпусков. В парткомах мы не только заседали, мы там жили. Небольшой аппарат коммунистического Союза чешской молодежи получал тогда зарплату ниже средних заработков рабочих.

Все это мы делали с воодушевлением и с таким же энтузиазмом исполняли роль статистов или даже декораций в политических представлениях коммунистической партии. Были мы верными ее оруженосцами, и партийное руководство умело нас использовало каждый раз, когда ему было нужно, чтобы мы не только проявляли свой радикализм громким поддакиванием, но и в меру возможностей действовали. Мы еще никому не выносили приговоров, никого не отправляли на эшафот, но уже одобряли, когда это делала партия. Нашими же руками проводились репрессии иного рода: различные проверки и чистки, в результате которых многие противники и критики нашей веры лишались возможности учиться, нормально устроиться в жизни или даже зарабатывать себе на хлеб насущный. И нам казалось совершенно естественным, нравственным и справедливым, что политическая власть нарождавшейся тоталитарной системы оберегает и холит именно нас. Это тоже спокойно уживалось с нашей моралью и вероучением. Неудивительно, что неверующим наша вера не казалась такой уж бескорыстной. Но в любой критике мы видели исключительно проявление «классового неприятия» нашей политической программы, и тех, кто выступал с критикой, мы по примеру старших товарищей подавляли и искореняли.

В неофициальных, а иногда и в публичных дискуссиях, которые велись среди коммунистов на тему об ответственности за политические преступления 50-х годов, я не раз слышал один и

тот же довод: ведь тогда мы искренне верили в то, что твердили партийные идеологи. Но это было всего лишь констатацией факта, которая не давала ответа на вопрос о мере ответственности каждого члена партии за ее прошлые и настоящие дела. Мы ведь не можем не отвечать за то, во что верим. То, что я искренне верил, конечно, отличает меня от тех, кто поддерживал или осуществлял злодеяния режима, не будучи при том в плену иллюзий, что он творит полезное и необходимое с «исторической и классовой точек зрения». Но это свидетельствует только о том, что я не мерзавец, не тот, кто способен сеять зло ради денег или карьеры. Это можно отметить как положительный факт, но это отнюдь не избавляет меня от ответственности и признания вины.

Вспоминая все пережитое, глядя на свое сталинское верование сегодняшними глазами, я не могу не признать: из-за моей веры я несу скорее даже большую долю ответственности, чем другие, — хотя бы потому, что она помешала мне гораздо раньше сделать логические, человеческие выводы из виденного мною в повседневной жизни. Ведь мы, молодые, сознательные коммунисты жили в тех же реалиях, что и другие, но воспринимали все совсем иначе. Более того, мы в них усматривали доказательства правоты нашей идеологии, в то время как другим та же действительность давно приносила множество доказательств ложности наших убеждений.

Моя коммунистическая вера тех лет представляла собой логически замкнутую систему ценностей, которую нельзя было опрокинуть ни аргументами, ни идеями, ни практическим опытом. Я не хотел бы сейчас искать ответ на вопрос, присуще ли это истинной, не вульгарной марксистской философии. Не это мне представляется в данной связи важным. Важно, что эта герметическая замкнутость была присуща коммунистической идеологии в том ее подобии, в каком мы ее тогда восприняли (а некоторые коммунисты исповедуют и до сих пор), в каком ею руководствовались в своей повседневной жизни «истинно верующие», сознательные коммунисты.

Главной ценностью в нашей тогдашней коммунистической вере являлось абстрактное понятие «интересов рабочего класса». Ему подчинялось все — от экономики до нравственности. Нравственно то, что служит рабочему классу, так говорил Ленин.

То, что какая-то политическая затея экономически непродуктивна, для нас вовсе не было аргументом, так как подобный подход отражал в нашем понимании «буржуазный взгляд на вещи», равно как и предложение соотносить политические действия с библейскими заповедями.

Как же мы тогда на практике определяли, что «в интересах рабочего класса», а что нет? На основе демократически выраженного мнения большинства рабочих? О, нет! Для убежденных сталинистов и это не могло служить аргументом, ибо в их идеологической системе речь не идет о живых рабочих, а лишь о рабочем классе как абстрактном субъекте исторического прогресса. Конкретные, живые рабочие могут быть и часто на деле бывают «несознательными», неверно понимают свои исторические интересы, отдавая предпочтение сиюминутной выгоде, этому научило их капиталистическое общество. Как же тогда на практике сталинист выявляет подлинные «интересы рабочего класса»? Опять-таки посредством своей идеологии и своей партии, которая как творец идеологии является для него единственным выразителем фундаментальных исторических «интересов рабочего класса».

Идейно сознательные коммунисты регистрировали, конечно, те аспекты действительности, которые ставили их веру под сомнение. Но дело в том, что отдельные, частные противоречия между жизнью и верой не могли поколебать веру в целом. Из порочного круга сталинской идеологии верующих коммунистов могло вывести лишь осознание того, что все происходящее находится в непреодолимом противоречии с «интересами рабочего класса».

Поэтому люди, составлявшие опору тоталитарной политической системы в силу своих убеждений, становились в определенном смысле большими противниками перемен, чем те, кто подался в коммунисты из карьерных соображений и чья смена поведения и взглядов зависела лишь от того, насколько это было или не было выгодным. А «сознательным коммунистам» нужно было сначала действительно убедиться в необходимости изменений. Соответственно и потенциальная роль этих двух групп была разной: конъюнктурщики едва ли могли стать инициаторами реформ, поскольку это означало бы взять на себя ответственность с риском для карьеры. Активными носителями пере-

мен, напротив, могли стать «сознательные», но для этого они должны были пройти через длительный, противоречивый и мучительный процесс собственной идейной эволюции.

Я состоял в партии двадцать пять лет — с 1946-го до исключения в 1970-м. Из них двадцать лет у меня заняло это внутреннее болезненное прозрение. И даже после исключения мне потребовалось еще несколько лет, чтобы пройти последний этап этого процесса.

* * *

В сентябре 1950 года, когда в Чехословакии на полный ход запускалась мясорубка политических процессов уже не над классовыми противниками, а над самими руководящими деятелями КПЧ, я уехал на учебу в Москву. В те времена направляемые на учебу в Советский Союз принадлежали к элите коммунистической молодежи и имели за плечами немалый стаж партийной работы, были наиболее сознательными сталинистами. Волна подозрительности и стремление повсеместно разоблачать «скрытых классовых врагов и агентов империализма», укрепляя собственную идеологическую бдительность, — все то, что буйным цветом расцвело в Чехословакии, пошло в рост и среди нас в Москве. ЦК КПЧ призвал всех коммунистов способствовать разоблачению «преступной банды вредителей» в рядах партии, на что откликнулись и мы.

Особая участь постигла письмо, направленное тогда мною в партийную комиссию по расследованию деятельности уже арестованных партийных деятелей Отты Шлинга и Марии Швермовой. Но не в то время — тогда оно просто затерялось в партийно-полицейских архивах среди тысяч ему подобных, — а гораздо позднее, двадцать шесть лет спустя, 1 марта 1977 года выдержки из этого письма опубликовала «Руде право», чтобы заклеймить меня как бесстыдного доносчика, которому при гусаковском режиме не пристало выступать за права человека и подпись которого под «Хартией 77» является лишь еще одной попыткой карьериста пробиться к власти.

На деле даже в 50-е годы мое участие в разоблачении «внутрипартийных врагов» не обеспечило мне карьеры. В парниковой среде учащейся в Москве молодой партийной элиты вни-

мание очень быстро переключилось на поиск «вредителей» в самом московском парнике, а уличать мы здесь могли только друг друга. По сценарию Праги, истинные вредители таились на высших ступенях партийной иерархии. А я как раз был парторгом чехословацких студентов в Москве.

Вскоре поэтому в Прагу посыпались письма других сознательных сталинистов, в которых меня выставляли в качестве вероятного «партийного вредителя» в среде московских студентов. Товарищи вдруг быстро обнаружили сходство моих методов работы с методами «главного агента империализма» — Генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского, которого только что арестовали в Праге. В моих высказываниях о советской действительности они усмотрели проявления несознательного отношения к Советскому Союзу. Меня «разжаловали», и я пребывал в ожидании окончательного вердикта Праги. Я не был одинок, еще нескольких таких же добросовестных сталинистов обвинили в похожих прегрешениях, главным образом в несознательном отношении к Советскому Союзу.

До сих пор я хорошо помню свою тогдашнюю внутреннюю реакцию. У меня не было сомнений, что, обвиняя меня, мои товарищи исходили из таких же побуждений, что и я сам, когда обвинял других. Лишь немногих я мог заподозрить в личных мотивах, большинство же для меня оставались настоящими коммунистами. Причины обвинений я искал в себе — и нашел даже не одну, а несколько. Я действительно пользовался принятыми тогда в партийной работе методами, но до сих пор это считалось плюсом. Я перебирал в памяти все, что говорил и думал о Советском Союзе, и не мог не признать, что не все здесь согласовывалось с требованиями идеологической сознательности просто из-за того, что советские будни были для нас своего рода открытием, опровергавшим представления о «советском человеке», внушенные нам ранее в Праге.

Я совершенно искренне выступил тогда с самокритикой, согласился со справедливостью многих обвинений, но категорически отказался признать в антипартийных намерениях. Ожидая решения из Праги, я совершенно не тревожился и был уверен, что со мной-то ничего не случится, ибо все это, по существу, ошибка и недоразумение. Не поколебал моей уверенности и проходивший в те дни в Праге процесс над Рудольфом Слан-

ским и другими деятелями КПЧ, на котором было вынесено одиннадцать смертных приговоров. Мне и в голову не приходило, что и те одиннадцать тоже были сознательными сталинистами, которые и после ареста не теряли надежды, что все еще прояснится и окажется простым «недоразумением».

Но, в отличие от них, мои надежды оправдались. В декабре 1952 года руководители КПЧ Антонин Запотоцкий и Вилиам Широкий, находясь в Москве, лично, приняли участие в одном из собраний чехословацких студентов, чтобы положить конец кампании по «разоблачению врагов». Запотоцкий вслух зачитывал письма, которые мы посылали в ЦК КПЧ, и, как школьный учитель, просил поочередно встать их отправителей, при этом на каждом внимательно останавливал свой взгляд. Потом, он произнес короткую речь в том духе, что, для того чтобы писать такие письма, большого ума не требуется, а партия послала нас учиться не этому. Мы должны доверять друг другу, а не подозревать, и заниматься учебой. В свойственной ему манере, известной по его речам на массовых митингах, он рассказал нам, как, пристраивая к своему дому террасу, никак не мог рассчитать перекрытие потолка, чтобы тот не рухнул. Партии нужны, говорил он, люди, которые знают в чем-то толк, ибо на одной политической болтовне своды строек социализма держаться не будут. Насчет обвинений в несознательном отношении к Советскому Союзу Запотоцкий сказал: «Вы живете здесь и видите, что наши люди жить в таких условиях не захотели бы ни за что. Так не создавайте лишних проблем из того, что кто-то между собой об этом говорит, а постарайтесь это понять и подойти ко всему разумно». Затем он добавил, что с разоблачениями пора кончать и в Прагу больше писать ничего не надо, нет никаких оснований из надуманных подозрений делать какие-то оргвыводы, такова же позиция и товарища Готвальда.

Личный мой опыт как будто бы подтвердил тогда правоту моей партийной веры. Все было взвешено по справедливости и расценено как недоразумение. Еще долго после этого я не верил, что Запотоцкий, сыгравший в моей судьбе положительную роль, мог согласиться на казнь своих давних соратников и друзей, не располагая неопровержимыми доказательствами их виновности. Лишь много лет спустя я узнал, что всего за месяц до встречи с нами в Москве тот же Запотоцкий голосовал за выне-

сение одиннадцати смертных приговоров, хотя ему было хорошо известно, что процесс над «заговорщическим центром» во главе с Рудольфом Сланским от начала до конца сфабрикован, но поскольку такова была воля Сталина, то и противиться он не считал возможным. А за год до этого тот же Запотоцкий пригласил к себе Сланского на вечеринку, зная, что по дороге от него домой Сланского арестуют. И когда тот перед выходом уже надевал пальто, Запотоцкий лично позвонил офицеру безопасности, ответственному за проведение ареста, и, как было условлено, произнес: «Он выходит».

Не сомневаюсь, что Запотоцкому была намного милее роль по-отечески доброго наставника, вразумляющего студентов, чем полицейской ищейки и самозваного судьи. Однако в жизни он был способен и на то, и на другое.

Много позже я понял, почему в 1952 году все кончилось для меня так удачно. Я был подающим надежды молодым коммунистом, а потому высокое партийное руководство решило убедить меня и других таких же, как я, от последствий собственной политики. Подрастающему поколению лишь много позже предстояло разделиться на обвинителей и обвиняемых, и лишь будущее должно было показать, кто какую получит роль. Пока же это было преждевременным, ненужным партии, пока мы лишь разучивали роли, до которых должны были еще дорасти. Поэтому то, как сложилась моя судьба во времена сталинского террора, нельзя считать типичным. Она была даже отталкивающе неестественной в том смысле, что идеологи и организаторы террора ограждали от него меня в качестве подающей надежды смены. Мое восприятие жизни настолько не имело ничего общего ни со страданиями непосредственных жертв террора, ни с переживаниями большинства населения Чехословакии, которое, сжавшись от страха, надеялось лишь как-то выжить, что мне понадобилось еще много лет, чтобы понять, каким было это время для простых людей.

В большей мере, чем нараставший сталинский террор внутри Чехословакии, на зарождение сомнений в непогрешимости исповедуемой идеологии повлияло мое пятилетнее пребывание в Москве. И шокировали тогда, как иногда шокируют и сейчас западных туристов, не сами по себе убогие материальные условия жизни, а то и нищета, не низкий общий уровень

культуры быта. И дело было не в том, что Москва представляла собой большую деревню с деревянными домами, что люди питались кое-как, пять лет спустя после войны все еще одевались чаще всего в поношенную военную форму, жили по несколько человек в комнате, вместо современных туалетов было лишь отверстие в канализационной трубе, а сморкаться даже среди студентов было принято без помощи носового платка. И не в том, что в людской толчее вам непременно очищали карманы, стоило только зазеваться, а через пьяных, валявшихся прямо на земле, равнодушно переступали прохожие, не интересуясь, жив ли вообще этот человек, и все такое прочее.

Все это можно было объяснить историческим наследием прошлого. Мы знали, что едем не в потребительский рай. Да, собственно, тогда, спустя пять лет после войны, его не было ни в одной европейской стране. Нищету тогдашней России мы объясняли военной разрухой, а в способности населения мужественно переносить материальные невзгоды находили подтверждение силы «нового советского человека». Культурная отсталость страны в наших глазах была следствием чрезвычайной отсталости царской России. Все эти негативные моменты не подрывали нашу сталинскую веру, подтачивало ее отсутствие позитивного, тех ценностей, которые по канонам самой этой веры являлись важнейшими элементами коммунистической перспективы.

Чуть ли не основным качеством «нового человека», строящего коммунизм, мы считали вовлеченность всего его в общественные дела. Нам казалось естественным посвятить личную судьбу грандиозным общественным свершениям, подчинить ее «историческим императивам» и «интересам рабочего класса». Однако простые советские люди, с которыми мы встречались, всячески старались отгородиться в своей личной жизни от политики. Дань общественным делам они, конечно, отдавали, но лишь тем, что исполняли предписанные сверху формальные ритуалы, выдававшиеся за выражение «политической позиции» масс, а потом погружались в личные заботы, совершенно абстрагируясь от всех этих «позиций». Для нас было нормой говорить публично то, что мы думаем, в жизни советских людей все было по-иному.

Во время моей учебы в Москве значительную часть совет-

ских студентов составляли демобилизованные фронтовики. Тогдашняя советская студенческая среда разительно отличалась от обычной — по возрасту, социальному составу и жизненному опыту. Одной из устойчивых фронтовых привычек было умеренное потребление водки. В общежитии пили по самым различным поводам, семейным и государственным праздникам, а чаще всего без всякого повода, просто потому, что у кого-то появлялась бутылка.

Наполненный до краев граненый стакан был исходной нормой, его выпивали до дна в знак начала застолья. Мы, неопытные кролики, поначалу очень быстро напивались до невменяемости. Потом, со временем попривыкнув и несколько сравнявшись с матерыми фронтовиками; я начал понимать, какую роль в жизни этих людей играла водка. Она на время позволяла отвлечься от действительности, порождала иллюзию свободы. Только под воздействием алкоголя начиналось нормальное человеческое общение.

Происходившее в комнате общежития, где я жил с шестью бывшими фронтовиками, в политическом плане приобретало символический, ритуальный характер. На стене висел плакат, на котором был изображен Сталин, вычерчивающий на карте СССР где-то в степях Поволжья лесозащитные полосы как зримые контуры коммунистического будущего. Но когда на стол ставилась водка, этот плакат поворачивали к стене. На обратной его стороне рукой любителя была нарисована фривольная картинка на мотивы дореволюционного Петрограда. Двери при этом запирались, но зато на несколько часов раскрепощались души, отбрасывалось лицемерие, и люди, несмотря на заплетающийся язык, начинали рассуждать действительно осмысленно.

Здесь-то я впервые и услышал такие воспоминания о войне, которые никак не укладывались в мои представления о советской армии, сложившиеся еще в Праге по советским кинофильмам и литературе. Тогда же я понял, что если бы перед этими людьми я стал излагать свои «сознательные» взгляды, то в их глазах я бы выглядел не революционером, а идиотом вроде кадета Биглера из «Бравого солдата Швейка».

Чаще же всего под воздействием водки начиналось самобичевание. Презрение к собственной слабости, жалость к себе в сочетании с сознанием бессилия изменить то, за что сами себя

презирали, — все это, известное нам по русской классической прозе и казавшееся делом дореволюционного прошлого России, вдруг предстало как нечто совершенно реальное в сегодняшней жизни и мышлении советских молодых людей. Классический пьяный вопрос «я человек или я не человек?» повторялся в самых разных вариациях, но в ответ я ни разу не услышал горьковское крылатое: «Человек — это звучит гордо!»

Для нас работы Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина были той литературой, где мы искали ответы на вопросы самой жизни. Для советских же студентов это был всего лишь обязательный учебный материал. Готовясь к экзамену по марксизму-ленинизму, большинство заучивало отрывки из первоисточников наизусть. Экзаменаторы в результате не могли уличить их в неточности формулировок, а о большем никто и не заботился. Для советских студентов; как и для нас, не составляло труда дать «верную с марксистской точки зрения» оценку даже тому, о чем они не имели ни малейшего понятия. Но если мы хотя бы верили в правильность воспринятых нами догм, то для большинства советских студентов они были всего лишь заученными схемами, которые не имели ничего общего с внутренними убеждениями. Собственного мнения у них чаще всего вообще не было, поскольку проблемы, о которых шла речь, проблемы политические и идеологические, их абсолютно не интересовали. Они жили другим, в совершенно иной системе ценностей и мышления.

Пробыв пять лет в Москве, я пришел к заключению что для понимания внутреннего мира советских людей гораздо полезнее читать Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя, чем всю, вместе взятую, так называемую литературу социалистического реализма. Что все доброе в этих людях уходит своими корнями скорее в общечеловеческие ценности старых русских традиций, а не проистекает из индустриального советского настоящего. А вот черты, появившиеся в условиях нового строя, напротив, несут в себе больше отрицательного, так что их общим знаменателем в итоге выступает шизофреническое раздвоение жизни на жизнь общественную, официальную, ритуально заорганизованную, где правят догмы «марксизма-ленинизма», — и личную, где господствуют исконно русские исторические ценности.

И все же в 50-е годы можно было без труда обнаружить своеобразную точку пересечения подлинных убеждений совет-

ских людей с официальной идеологией «советского патриотизма». Сплошь и рядом мы сталкивались с искренней верой людей в то, что за границей, в капиталистических странах живет хуже, даже в материальном отношении. Дело было в полном незнании реальностей остального мира.

Как-то ночью в общежитии меня разбудили ребята из соседней комнаты, чтобы я их рассудил. Спорили они о том, какие дома в чехословацких деревнях. — кирпичные или глиняные, покрытые черепицей или соломой. Бывший фронтовик, воевавший в Чехословакии, уверял, что каменные и с черепичными крышами. Другой же, приехавший на учебу откуда-то из деревни и ничего кроме нее и Москвы не видевший, категорически отказывался верить. Остальные определенной точки зрения не имели. Студентов было человек десять в возрасте от двадцати до тридцати лет. Я подтвердил слова бывшего солдата, видевшего «это чудо» собственными глазами, и спор был исчерпан, но по лицу того деревенского парня я понял, что его-то я не убедил. Вероятно, он заподозрил меня в национальном самовосхвалении.

Люди с таким кругозором легко принимали за чистую монету официальную пропаганду, постоянно твердившую, что СССР во всем пример для всех. Но даже и более образованные, обладавшие более конкретными и реальными знаниями о мире, веровали в особое предназначение своей страны, традиционный русский мессианизм причудливым образом здесь сливался с официальным советским. Основой всего было убеждение, что ценой огромных жертв, принесенных в годы войны, Советский Союз решил судьбу человечества, а потому все другие государства обязаны относиться к нему с особым уважением. Любую критику Советского Союза эти люди воспринимали как оскорбление памяти погибших. В этом они оказывались заодно с правительством, как бы критически они ни относились к властям в других вопросах.

Официальная идеология находила отклик в советских людях еще и потому, что подпитывала традиционный для России фатализм. Мы воспринимали марксистскую идеологию, и в частности ее положение о детерминированности общественного развития, как импульс для активного радикализма во имя преобразования общества. Они же, вульгаризируя данную посылку, легко

скатывались к фаталистической пассивности: от судьбы-де не уйдешь. В будничной рутине жизни эта философия вела к приспособленчеству к бюрократической системе, к повальному царствованию психологии маленького человека — «наверху виднее», «не нашего ума дело», «ничего не попишешь». То, что преподносилось как результат сознательного коллективистского мышления, осознанного подчинения личных интересов общественным, внутренней дисциплинированности «нового советского человека», оказывалось на поверку плодом фаталистического мировоззрения: границы активности личности predetermined, а система мудрее одиночки.

Во время учебы в Москве нам приходилось не только общаться с простыми советскими людьми, но и иметь дело с советскими учреждениями, изнутри наблюдать будни всеохватывающего бюрократического аппарата советского государства. С этим аппаратом. познакомились все без исключения, но я, учась на юридическом факультете, особенно широко. Его функционирование, собственно, было основным учебным предметом, и в рамках студенческой практики я провел несколько месяцев непосредственно в различных советских государственных учреждениях.

Несмотря на все это, даже после пяти лет пребывания в Советском Союзе я понятия не имел о масштабах и характере сталинского политического террора. Мне, как и другим чешским студентам, казалось, что массовый террор — дело прошлого, что это уже история. Здесь, видимо, свою роль сыграло то обстоятельство, что окружавшие нас сверстники, тем более университетская молодежь, сами непосредственно от террора не пострадали. Среди репрессированных были знакомые, а иногда и родственники моих однокурсников, но это было поколение отцов, а то и дедов.

Тогдашняя советская молодежь сама часто не сознавала, как глубоко и трагически отразился на ней сталинский террор. Как-то в Москве уже в 60-е годы мне рассказали, какую драму, пережил один мой сокурсник, активист-комсомолец, принадлежавший к тем, кто на семинарах ко марксизму-ленинизму убежденно повторял все, чему его учили о троцкистах и других «агентах империализма». После 1956 года, во время хрущевской «оттепели», ему вручили официальные документы о реабилитации

его настоящих родителей, которые были осуждены по обвинению в троцкизме и погибли в сталинских лагерях. Только тогда он узнал, что был усыновлен еще грудным ребенком четой партийных функционеров, и вырос в чужой семье. Эта внезапная душевная травма привела к серьезному психическому расстройству..

Проходя стажировку в прокуратуре, я не раз присутствовал на допросах в московских тюрьмах, в том числе в Лефортово. Мне и в голову не приходило, что в другом крыле здания здесь же творились кошмары, описанные впоследствии Солженицыным. Сама по себе Лефортовская тюрьма производила угнетающее впечатление своими казематами, от которых веяло средневековьем.. Но то, что я там наблюдал, было нормальным, сообразующимся с процессуальным правом расследованием уголовных преступлений. Уголовники отнюдь не выглядели сломленными невинными жертвами беззаконий. Преступники здесь вообще отличаются крайней жестокостью и этим похожи больше на американских, чем на европейских уголовников. Милиционеры, которым приходилось вплотную иметь с ними дело, частенько были разукрашены шрамами от ножей и пуль. Так что, даже близко познакомившись с этой частью аппарата правоохранительных органов, можно было ничего и не узнать о реальностях и масштабах соседней империи ГУЛАГа.

Проблематика антигосударственных, то есть политических, преступлений на юридическом факультете затрагивалась мельком и поверхностно, ибо одним из исходных пунктов советской юридической практики было уравнивание неугодной властям политической деятельности с уголовщиной. В те годы это было аксиомой и для преподавателей, и для студентов-правоведов.

Помню, как на семинаре по антигосударственным преступлениям я поставил проводившего семинар доцента в крайне неловкое положение. Я тогда заявил, что на эти преступления принцип презумпции невиновности не распространяется, приводя в пример пражские политические процессы: вначале действиям и позициям подсудимых давалась политическая квалификация как классово враждебным, и только потом приходил черед закона.

Это было правдой, и тут трудно было что-либо возразить. Я как искренний, убежденный сталинист считал такой порядок

справедливым. В условиях диктатуры пролетариата право — это «воля рабочего класса, возведенная в закон». Так писалось и в советских учебниках. Толкователем воли рабочего класса является коммунистическая партия, а следовательно, если руководящие партийные органы расценивают какие-то действия как враждебные рабочему классу и государству, то так же их должны воспринимать и правоохранительные органы.

Руководитель семинара, конечно, прекрасно знал, как обстояло дело с принципом презумпции невиновности на политических процессах. Но согласиться с моими рассуждениями он не мог, сам не рискуя получить нагоняй. То, о чем я говорил, было чистой правдой, но об этом полагалось молчать. Я никак не мог понять, почему нельзя назвать вещи своими именами. Опытный доцент в конце концов вопрос замотал и предложил продолжить его обсуждение на семинаре по марксизму-ленинизму, чего, естественно, не последовало.

Только позже, на следующем этапе своего высвобождения из порочного круга сталинской коммунистической веры, я понял, что вся моя учеба в Москве имела очень мало общего с истинным изучением права, его роли в человеческом обществе. Сталинская юридическая наука признавала лишь один критерий законности: правосудие — это то, что государство (вернее, государственные органы, формально наделенные соответствующими полномочиями) объявляет законным. По законам такой «марксистско-ленинской науки», нюрнбергские нацистские законы — тоже система права, но только буржуазного, империалистического, фашистского. Эта наука считала нацистские законы не попранием права, а лишь выражением буржуазных расистских концепций. Подобная трактовка логически подводила к выводу, что неприемлемо только классовое содержание нюрнбергских законов. А если бы их направленность была иной, если бы они защищали «интересы рабочего класса», тогда бы никаких оснований для критики не оставалось. Согласно этой логике, феодальное «право первой ночи» — это тоже право, которое, однако, заслуживает порицания, поскольку служит интересам эксплуататоров. То, что само это «право» в любом его варианте — противоправное насилие (даже если бы, допустим, оно позволяло всем членам рабочего совета переспать с дочерью фабриканта), что оно уродует человеческие взаимоотношения, пре-

вращает одного человека в объект произвола другого, такой идеи в официальной советской правовой теории не было. Право таким образом превращалось лишь в форму осуществления власти. В этом пункте сталинские и фашистские юристы, абстрагируясь от «классового содержания», могли бы прекрасно сойтись.

На юридических факультетах советских вузов поэтому не учили мыслить в категориях права. Они готовили «специалистов по юриспруденции», которым надлежало знать, что предписывается властью в том или ином случае, что делать разрешено, а что запрещено. Они знали массу законов и легко ориентировались в дебрях всей системы правовых норм. Они, иными словами, были квалифицированными бюрократами. В отличие от неквалифицированных они, по крайней мере, знали, что могут себе позволить по отношению к людям, а чего не могут. Для них существовали пределы допустимого произвола, они знали, на что нет санкций властей, что не предусмотрено никакими «правовыми нормами». При тотальном господстве бюрократии это уже немало и отнюдь не безразлично для «низов».

За те пять лет, в течение которых из меня делали «специалиста по юриспруденции», то есть квалифицированного, по советским понятиям, бюрократа, изучил, что разрешено в различных сферах жизни СССР и что возбраняется. В этом зеркале, пусть и кривом, для меня постепенно проступали очертания жизни в колхозах и на фабриках, семейные и имущественные отношения советских граждан, мир правительственных учреждений и их рядовых просителей. В итоге я получил довольно полное представление о том, как советская бюрократия управляет советским обществом.

С одной стороны, это производило на меня внушительное впечатление. Все было довольно-таки хорошо продумано и регламентировано в деталях. На множество вопросов, которые до отъезда в Москву были мне не ясны, как, например, должна при социализме решаться та или иная проблема повседневной жизни, как должны в новом обществе регулироваться производственные процессы и другие виды деятельности (на которые не было конкретных ответов в трудах Ленина и Сталина), советская действительность предлагала свои ответы. Многое представлялось мне тогда весьма удачным. И я надеялся, что, возвратив-

шись домой, смогу, обогащенный советским опытом, «в интересах рабочего класса» правильно решать разные конкретные проблемы. С другой стороны, у меня язык не поворачивался многое из виденного мною в Советском Союзе признать идеалом, достойным внедрения в чехословацких условиях.

Наша коммунистическая вера, какой бы сталинской она ни была, резко расходилась с основной тенденцией советской государственной практики — с бюрократической регламентацией малейшего движения в обществе. Мы ведь по существу были радикалами, а не бюрократами-консерваторами. Нам удавалось с помощью идеологических софизмов многое объяснить для себя тем, что в этой бюрократической практике немало революционного по сути, так как она служит «интересам рабочего класса». Но всему был предел.

Наши советские товарищи были похожи больше на персонажей чеховских рассказов, чем на героев «Молодой гвардии» Фадеева. А многие бюрократы, с которыми мы ежедневно сталкивались, скорее напоминали действующих лиц гоголевского «Ревизора», чем идеальных фигур из ленинского «Государства и Революции». Ни о каком, самоуправлении снизу, которое было одной из важнейших идей, исповедуемых нами, не было и речи. Чванство советских бюрократов, их пренебрежение к стоящим в бесконечных очередях за какими-то «бумажками» просителям, их бескультурье, бездарность и высокомерие — со всем этим мы в Чехословакии никогда в жизни не встречались.

Зимой 1954 года, когда я уже учился на последнем курсе, мне довелось проходить практику в московской прокуратуре. Один день в неделю проводился прием населения. Люди сотнями топтались в коридорах, чтобы пожаловаться на беззакония, с которыми им лично пришлось столкнуться. Дежурный прокурор выслушивал жалобу и тут же выносил вердикт. На человека у него уходило пять-десять минут. «Новые советские люди», «творцы истории», теребя в руках шапки, униженно выстаивали в коридорах часами, чтобы потом с почтительно обнаженными головами, заплетаящимся от страха языком рассказать прокурору в своих обидах. Прокурор, сидя за массивным письменным столом, слушал вполуха, при этом что-то еще писал и в девяноста случаях из ста находил жалобу необоснованной. Пожилые рабочие, изможденные трудом деревенские бабы, как будто со-

шедшие с киноэкрана персонажи из фильмов об Октябре, и не помышляли, сжав кулаки, требовать справедливости. Они робко ждали приговора могущественного господина, как две капли воды похожего на чиновника из гоголевских комедий.

Осенью 1954-го я переехал в новое, торжественно открытое здание Московского университета на Ленинских горах. До этого я жил в университетском общежитии на Стромынке, бывших казармах Преображенского полка Петра Великого. При советской власти над старым зданием надстроили два новых этажа и поселили туда около десяти тысяч студентов. В каждой комнате жило по семь-десять, а иногда и по пятнадцать человек. На каждом этаже, где проживало по несколько сот студентов, был один общий туалет с умывальником. На дворе русская баня. Новое же университетское общежитие сияло комфортом: каждому отводилась небольшая современно обставленная комната, туалет и душ — на две комнаты. Даже на наш взгляд это были хорошие условия, а для большинства советских студентов новое общежитие было, вероятно, самым комфортабельным жильем, которое только можно было себе представить. Оттуда я и ездил на практику в прокуратуру.

Как-то в один из приемных дней явилась депутация из колхоза, удаленного километров на двадцать от нашего нового здания. Оказалось, что перед открытием университета несколько деревень в округе отключили от электросети — мощности электростанции на всех не хватало. Прошел год, а электричество так и не дали, хотя им говорили, что отключают временно.

Прокурор им в ответ стал спокойно объяснять, что закона, по которому им были бы обязаны включить электричество, нет. Нигде, мол, не записано, что вы имеете право на электричество. Это вопрос хозяйственных возможностей. Нарушений законности в данном случае допущено не было и, стало быть, нет оснований для вмешательства прокуратуры.

Люди попытались было объяснить, что они обошли уже всех — от электростанции до горисполкома и что никто с ними не хочет даже разговаривать. Но прокурор был невозмутим. И тут один из колхозников сказал, что вопрос для прокуратуры все же здесь есть, так как дело может кончиться пожаром: вся деревня вынуждена пользоваться керосиновыми лампами и лучинами, а от открытого огня может что-то загореться.

Такая настойчивость вывела из себя прокурора. «Давно ли вам провели электричество?» — спросил он у возмутителя спокойствия. Тот сказал, что в 1938 году. «Ага! — довольно крикнул прокурор. — А чем вы освещали дома до этого? Ведь теми же лучинами. Так что вы умеете ими пользоваться. А если случится пожар, проведем расследование и виновника посадим».

Представители колхозного крестьянства, второго правящего в СССР класса, замолкли и смиренно ушли. После окончания приема я завел с прокурором речь об этом деле и спросил, нельзя ли было все-таки как-то им помочь. Прокурор объяснил, что если он вмешается, то начальство сотрет его в порошок, поскольку оно, в свою очередь, получит взбучку от горкома партии — нужно, дескать, понимать, какие в стране проблемы с электроэнергией. Прокурор был уверен в своей правоте: мужики прекрасно умеют обращаться с лучинами, они просто хотели его одурачить.

Еще долго после этого каждый раз, когда я включал свет в моей уютной комнате на Ленинских горах, у меня перед глазами вставала эта сцена. Подобных случаев в практике советской бюрократии можно было встретить немало. При всей своей высокой сознательности и идеологической подкованности я не мог внутренне согласиться, что это и было образцом социалистического отношения к людям, что так нужно поступать и нам в Чехословакии.

Большинство молодых чехословацких коммунистов, находившихся на учебе в советских институтах в первой половине 50-х годов, вернулось на родину с подточенной верой. Мы ехали в Москву с мечтой увидеть свое будущее. Его-то мы и увидели. Но именно с этим было труднее всего примириться. Наша идеология пришла в столкновение с явью. Одно из главных ее звеньев дало трещину: мы уже не могли видеть в Советском Союзе воплощение наших идеалов, эталон, подлежащий лишь точному воспроизводству. Наше партийное руководство, посылая молодых коммунистов в Советский Союз, рассчитывало совсем на другое. Вместо того чтобы вернуться еще более убежденными и квалифицированными сталинистами, мы, все еще оставаясь сталинистами, оказывались уже с червоточинкой. На нас теперь не действовало главное заклинание официальной партийной политики — универсальность и обязательность советского об-

разца. Веру в сталинизм мы сохраняли для себя парадоксальным способом: под лозунгом ее чистоты мы стали отвергать сталинскую действительность. Так зарождался как бы прообраз будущей реформаторской политики, проводившейся в Советском Союзе при Хрущеве и в Чехословакии при Новотном.

Однако прочность веры в сталинизм зависела не только от того, как на нас действовал собственный жизненный опыт. Ведь наша вера включала не одни искаженные представления о социализме, но и заидеологизированные схематические взгляды на капитализм и весь окружающий мир.

И если Советский Союз утратил для нас свой авторитет как совершенный образец для подражания, он все еще оставался в наших глазах единственной силой, которая могла защитить социализм от классового врага в международном масштабе, от мирового империализма.

Наши представления о мире были не столь банальны, как у молодых людей в Советском Союзе, но формировались они той же идеологией. И в те годы и не имели возможности сопоставить их с действительностью: для большинства поездки на Запад были тогда совершенно недоступны. По правде говоря, мы ним и не стремились — чего мы забыли в стане классовых врагов, когда дома перед нами стояло множество революционных задач?! И мы продолжали верить в тот образ мира, который рисовали для нас коммунистические газеты. Это, конечно, не оправдание, но так действительно было.

Что бы мы ни увидели в Советском Союзе, там все же была ликвидирована капиталистическая эксплуатация, люди там не обогащались за счет владения фабриками или унаследованной принадлежности к классу имущих. Там не было безработицы и, как нам тогда казалось, СССР не стремился к агрессии, к разжиганию новой войны. Тогдашняя атмосфера «холодной войны» и порожденная ею пропаганда воспринимались нами как отражение реальной картины мира. Конфликты типа корейской войны лишь укрепляли наше убеждение, что очевидное наращивание вооружений и милитаризация Советского Союза, да и Чехословакии, служат укреплению обороноспособности, защите от империалистов. Нам на самом деле казалось, что в Западной Германии вновь зарождается нацизм, а политика Соединенных Штатов для нас была, вне всякого сомнения, неоправданно агрессивной,

империалистической.

Положение в самих капиталистических странах представлялось нам аналогичным тому, что было в Чехословакии до войны и во времена фашистского протектората. Поэтому официальной пропаганде не представляло труда убедить нас, что экономический кризис, массовая безработица и нищета там неизбежны. Этим прогнозам верили и более пожилые, поскольку до войны они испытали подобное на себе.

Мы были убеждены, что воспрепятствовать новой войне и повторению кризиса 30-х годов может лишь постепенная победа социализма во всех странах. И это притупляло воздействие того в нашем практическом опыте, что могло поставить под сомнение отдельные догмы коммунистической идеологии. Международная ситуация воспринималась как настоятельное требование укрепления нашей веры.

ГЛАВА 1

ОТ ХРУЩЕВА ДО ДУБЧЕКА

В мартовские дни 1953 года, когда умер Сталин, я находился в Москве. Тогда мои прежние впечатления дополнились еще одним: я понял, что в глазах многих советских людей Сталин был грозным, но одновременно любимым царем. Ничуть не меньше, но и не больше.

Когда по радио объявили, что гроб с телом Сталина установлен в московском Доме союзов, я, естественно, как и многие другие наши и советские студенты, пошел туда. Мы очутились среди тысячекилометровой толпы, жаждущей увидеть Сталина. Поскольку никаких указаний, по каким улицам можно пройти к Дому союзов, не было, массы народа валили со всех сторон как бог на душу положит. На окраинах улицы были относительно свободны, но по мере приближения к центру все больше улочек и переулков было перекрыто грузовиками. Проход здесь был запрещен, его охраняли солдаты и милиция. Натыкаясь на эти препятствия, толпы пытались методом проб и ошибок найти путь к гробу почившего вождя. Наконец, всех вынесло на широкий проспект, который был открыт для движения, где толпа образовала многокилометровую очередь, медленно тянувшуюся к гробу. Это перестроение массы людей в колонну по четыре рождало ассоциации с разгоном царскими казаками рабочих демонстраций в революционном Петрограде. Цепи солдат и милиционеров оттесняли народ к одной стороне улицы. А там уже стояли колонны грузовиков с солдатами и милицией, которые оставляли свободным лишь пространство между серединой улицы и домами, и в этот промежуток должна была втискиваться толпа. Кое-где она прорывала заслон военных и заграждения из автомобилей.

В такие места для наведения порядка немедленно бросали конную милицию. Милиционеры, в отличие от царских казаков, не стреляли и не рубили шашками, но этого и не нужно было. Мощной стеной лошади двигались на людей и силой заставляли их пятиться назад. Если толпа прилиwała в обратную сторону, лошади вставали на дыбы. При виде взметнувшихся над головой копыт в человеке пробуждался животный инстинкт самосохранения, и толпа откатывалась, как если бы над ней зашвистели шашки. Когда и этого было мало, в ход пускались ду-

бинки.

Люди в толпе были спрессованы, как в переполненном трамвае, но сзади все наседали и наседали десятки тысяч других, а спереди были лошади и военные, по бокам — вал грузовиков и стены домов. Было холодно, ноги скользили на подтаявшем снегу. У упавших не было никакой надежды встать, не в силах были им помочь и окружающие. О количестве задавленных, погибших и раненых никаких сведений не приводилось. Но я сам видел в эту ночь десятки раненых, без сознания, людей, некоторые из них, видимо, были уже мертвы. Погибших и раненых клали на грузовики и затем куда-то отвозили. Там, где проход сужался и где толпа прорывала заслоны, теснота становилась просто невообразимой. Такие места были видны издалека, над ними клубился столб белого пара. Толпа продолжала наседать на эти пробки, сначала энергично, но беспорядочно, затем по команде из толпы в ритм возгласам «Эй, ухнем!» Первую пробку я миновал довольно удачно, однако уже следующую, далеко не последнюю, одолеть не удалось, я оказался с краю толпы прижатым к грузовикам. Это было опасно, на металлической обшивке кузовов меня могли расплющить, как на наковальне. Мое кожаное пальто трещало по швам, обрывки его повисали на железных выступах машин. Я уже не шел, а перекачивался как шар вдоль стены автомобилей. Оставался единственный шанс — когда меня докатит до капота, попытаться влезть на него и перевалиться на другую сторону. Это означало отказаться от намерения увидеть Сталина в гробу, но давало шанс самому там не оказаться. Я выбрал второе и с успехом реализовал свои план спасения.

Толпа, в которой я провел несколько часов и которая продвигалась к гробу Сталина, не думала о нем. Эти люди не были подавлены скорбью, которая как-то дисциплинирует и не дает выплеснуться стадным инстинктам. Там, где было посвободней, люди шутили, переговаривались, как если бы они шли на футбол. Кто-то шарил по карманам, лез под юбки, некоторые пили прямо из бутылки водку. Это была толпа, охваченная единым порывом не пропустить зрелище, неважно — похороны ли, казнь или что-то другое.

Когда я вышел на улицу, в моем сознании прокручивались кадры советской кинохроники, где убитые горем люди молчали-

во, медленно идут к гробу умершего Ленина. Возможно, так было только на киноэкране, а в жизни все выглядело так же, как то, что видел я. Но все же, мне кажется, разница была. То, что видел я, было похоже на толпы, собиравшиеся когда-то на Руси на публичные казни или коронации царей. Это была толпа, пришедшая на похороны царя.

Когда я добрался до общежития на Стромынке, было начало третьего ночи, и четверо из шести моих соседей по комнате спокойно спали, на столе стояли две пустые бутылки из-под водки. Один из них, разбуженный моим приходом, увидев мое разорванное в клочья пальто, сказал: «Дурак. Ложись спать, а утром возьми свой паспорт, поезжай в центр на метро и там изображай, что не знаешь ни слова по-русски, кроме слова «начальник». Милиционеры отведут тебя к начальнику, а тот проведет к Сталину». Воспользовавшись этим советом, мне в конце концов удалось увидеть Сталина.

В эти дни в Москве и в настроениях студентов проявлялась не столько грусть, сколько потрясение и страх за будущее. Я догадывался, хотя вслух об этом никто не говорил, что они предчувствуют наступление перемен. С каждым месяцем это ощущение усиливалось, а к концу года после ареста и казни Бери все больше стали проявляться конкретные признаки изменения общей атмосферы в стране. Исчезла тревога за будущее, и смутно начали проясняться причины страхов былых.

Выяснилось, что люди, с которыми я лично хорошо был знаком, знали о царившем в стране сталинском терроре гораздо больше, чем мне казалось раньше. В 1954-1955 годах о репрессиях говорилось все более и более открыто. Менялась и тональность прессы, стали появляться статьи о необходимости «коллективного руководства», развитии критики, осуждался бюрократизм. Прекратились кампании против «космополитизма», таяла атмосфера подозрительности. В довершение всего Хрущев посетил Белград и сразу по прибытии на аэродром назвал недавнего «агента империализма» и «кровавую собаку» Тито «дорогим товарищем»! Из кругов партийного аппарата все чаще доходили сигналы о том, что перемены происходят и наверху.

В докладе Хрущева о Сталине на меня произвели наибольшее впечатление конкретные факты о преступлениях органов безопасности, о пытках и полученных под пытками при-

знаниях, которые затем использовались в ходе политических процессов. Об этом я не имел ни малейшего представления, а поскольку это имело прямое отношение и к Чехословакии, недавний процесс над Сланским и другими предстал перед нами, сознательными сталинистами, перед всеми здравомыслящими людьми в совершенно ином свете. В остальном, политическая линия XX съезда КПСС развивала те тенденции, которые в Москве уже ощущались на практике, и на меня она не произвела эффекта грома среди ясного неба.

Для ортодоксальных коммунистов в Чехословакии ситуация выглядела иначе. Когда неделю спустя после смерти Сталина умер Готвальд, проявив и своей смертью полное послушание Москве, во главе КПЧ встали Запотоцкий и Новотный. Состав политбюро вообще не изменился, в него входили люди, которые всего за несколько месяцев до смерти Сталина отправили в мир иной одиннадцать своих сотоварищей. А еще через два года в Праге открыли гигантский памятник Сталину. Его уже не было в живых, уже был казнен Берия, а в Чехословакии продолжались политические процессы. В 1954 году вместе с «группой словацких буржуазных националистов» был осужден Густав Гусак, в том же году еще был приведен в исполнение смертный приговор, поставивший кровавую точку в цепи освященных законом политических расправ. Летом 1955 года Антонин Новотный начал проводить жесткую линию на завершение коллективизации сельского хозяйства, и на полную мощь заработали жернова полицейского и судебного террора, направленного против крестьян, не желавших вступать в сельскохозяйственные кооперативы. В тогдашней Чехословакия сталинский тезис «обострения классовой борьбы» по мере успешного продвижения к социализму оставался официально исповедуемой идеологией. После смерти Сталина КПЧ видела свою задачу в последовательном продолжении и завершении дела «вождя мирового пролетариата».

Я вернулся в Прагу летом 1955 года и сразу же попал в совершенно иной мир, не похожий ни на тот, который я покинул пять лет назад, уезжая на учебу в Москву, ни на тот, из которого я возвращался. Ушло в прошлое время счастливых молодых сектантов, идейно сознательных коммунистов. Парткомы, где мы когда-то отдавали всех себя дискуссиям и агитации, превратились в крупные учреждения с высокооплачиваемыми чиновника-

ми, иерархическим подчинением, извергавшие массу директив и инструкций. Большинство новых людей, сидевших в многочисленных кабинетах, было мне незнакомо, а они не знали меня. Те же, кого я знал, уже не принадлежали к политической элите, некоторые даже пострадали в результате партийных чисток. Среди молодых коммунистов царил атмосфера страха, откровенно они говорили только в узком кругу друзей. Мысли и слова подвергались самоцензуре. Все было сковано обязательным ритуалом политической лояльности, за которым едва угадывались глубоко скрытые конфликты и противоречия, о которых еще в 1948 году между коммунистами велись открытые дискуссии.

Как это ни парадоксально, возвращение домой произвело на меня такое же впечатление, как приезд в Москву пять лет назад. То, что тогда вызывало у нас недоумение, за эти годы было заимствовано и успешно привилось в Чехословакии, тогда как в Москве некоторые из этих же явлений стали уже постепенно исчезать. Чехословацкие ортодоксальные коммунисты из всех сил старались при помощи идеологической софистики убедить себя, что изменения в их жизни революционны и прогрессивны, так как они приближают страну к советскому идеалу. А в Москве в это время, пусть шепотом, но уже говорили, что именно эти черты советской действительности — результат «деформаций культа личности». Мне трудно было на первых порах найти общий язык со знакомыми и друзьями, поскольку я в СССР пережил одно, а они здесь — совершенно другое.

Эту затхлую атмосферу взорвал доклад Хрущева о Сталине. КПЧ пережила шок, а затем начались споры и дискуссии. Эта, по существу, первая после февраля 1948 года дискуссия среди коммунистов показала, насколько изменилась за это время КПЧ. Она уже не была добровольным объединением единомышленников со своей идейной платформой, а стала организацией, построенной по принципу причастности к власти. Она объединяла не только идейных сторонников этой власти, но и большое количество людей, которых с ней связывало корыстолюбие. Их позиции определялись не убеждениями, а именно принадлежностью к власти имущим.

В ходе дискуссий, вызванных XX съездом КПСС, в КПЧ сформировалось три основных течения. Первое составляла группа карьеристов и убежденных сталинистов, настолько свя-

занных с критиковавшимися злоупотреблениями властью и разделявших за них ответственность, что сохранить свое положение они могли только путем удушения этой критики, хотя бы на время. К этой группе примыкали также люди, которые личного участия в политическом терроре не принимали, но выступали против критики сталинизма, потому что были ему глубоко преданы внутренне и не могли от него отойти. Они видели в критике Сталина один из очередных «уклонов» и попытку «классового врага» ослабить партию.

Этой группе противостояла другая — коммунисты, до той поры тоже верившие в сталинскую идеологию, но обнаружившие в докладе Хрущева подтверждение собственных, уже давно нараставших сомнений в правильности партийной политики. Как правило, эти люди не несли прямой ответственности за политические преступления. Некоторые из них даже сами были жертвами репрессий.

Третью группу составляли члены партии, стоявшие в стороне от дискуссии в ожидании, чем все кончится. Они вступали в партию из карьеристских побуждений и сейчас не хотели вызывать слишком большое рвение, чтобы не вызвать на себя огонь критики. Они и прежде держались в сторонке, делая лишь то, что было необходимо для демонстрации лояльности и обеспечения сносного служебного положения. Эти люди в душе были согласны с хрущевской критикой, но не поддерживали ее открыто, избегая любого риска. При голосовании же они обычно поднимали руку «за линию XX съезда».

В результате в большинстве партийных организаций брал верх хрущевский курс. Однако соотношение сил в разных партийных структурах было не одинаковым. В руководящих партийных органах и в аппарате перевес имела первая, просталинская группа. То же самое наблюдалось в государственных органах власти. А вот среди интеллигенции и более молодых партийных кадров преобладал критический настрой.

В партийной дискуссии 1956 года монопольная роль партии под сомнение не ставилась. Это было аксиомой, обязательным условием «строительства социализма и коммунизма». Никто также не подвергал сомнению тезис о том, что классовая борьба предполагает и политическую диктатуру. Критиковались лишь отдельные практические методы, особенно если они применя-

лись и против самих коммунистов. За эти рамки дискуссия выплескивалась лишь в исключительных случаях, обычно в среде интеллигенции, где заострялся вопрос искажения реальной действительности сталинской идеологией. Так открывался путь к обсуждению фундаментальных проблем системы тоталитарного режима, хотя и преимущественно в теоретической, абстрактной плоскости. Но даже наиболее радикальные коммунистические круги требовали не искоренения диктатуры, а всего лишь свободы марксистской критики ее теории и практики.

Самым серьезным политическим требованием того времени было требование созвать чрезвычайный съезд партии. В этом правящая партийная верхушка учуяла смертельную опасность. Съезд создан не был, но все же провели общегосударственную конференцию КПЧ, которая в отличие от съезда не наделялась правом избрания нового ЦК партии. Конференция, естественно, поддержала новую линию Москвы, заявив, что ряд идейных и политических тезисов сталинизма непригоден и для Чехословакии. На ней, однако, не произошло никаких серьезных перемен ни в руководстве КПЧ, ни в других органах политической власти.

Руководству КПЧ удалось ограничить влияние новой, хрущевской линии в Чехословакии. Но ничем уже нельзя было восстановить расшатанную хрущевской критикой веру чехословацких коммунистов в сталинизм.

Обычно до сих пор коммунисты-реформаторы упрекают Хрущева в том, что его критика была критикой личности Сталина, а надо было, мол, развенчать систему сталинизма. Все, однако, гораздо сложнее. Критика системы, конечно, более радикальна и глубока, но она обращена к рациональному мышлению. Проблемы нравственные, проблемы ответственности людей, формирующих систему, при этом отодвигаются на задний план, как в самой сталинской идеологии. Напротив, казалось бы, поверхностная критика Хрущева главный акцент переносит на вопрос вины и ответственности отдельного человека. Каков на него ответ — дело другое. Исключительно важна сама постановка этого вопроса.

Нас, убежденных коммунистов, тогда не очень беспокоила проблема личной ответственности. Правильность поступков или взглядов определялась в системе моей веры в конечном счете не моим субъективным восприятием, а «объективными критери-

ями» — соответствием «интересам рабочего класса», а тем самым интересам революции, социализма, коммунизма. На практике это соответствие или несоответствие толковала партия, вернее, партийные органы и партийное руководство. На вершине пирамиды стоял Сталин, так что его точка зрения была и для меня зачастую высшей инстанцией, освящающей истинность взглядов и поступков.

Сталин, Готвальд, политбюро, партия, однако, были для меня не тем же, чем Бог является для верующих христиан, а скорее тем, что для правоверных католиков представляют папа, кардиналы, церковь. Бог верующего коммуниста — это Объективный закон истории, ведущий к осуществлению «интересов рабочего класса», к прогрессу человечества в понимании коммунистической идеологии. Но как и верующий католик, коммунист предполагает, что его папа и кардиналы тоже ставят Бога превыше всего, что их взгляды и деяния постоянно мысленно сверяются с заповедями Всевышнего. Даже будучи верующим сталинистом, я допускал, что мой папа — Сталин может ошибаться, а то и согрешить, не говоря уже о кардиналах. Но по чистоте веры я и мысли не допускал, что они могут вовсе не чтить Бога — Объективный закон истории, что они в своих делах в мыслях во все и не думают руководствоваться «интересами рабочего класса».

Хрущев же, критикуя Сталина, совершенно однозначно давал понять: папа действовал исключительно в личных интересах, вел себя как безбожник. Он убивал не потому, что этого требовал Объективный закон истории, а ради сохранения собственной власти. Поэтому он уничтожал и верных сыновей церкви. Мы, кардиналы, знали или по крайней мере догадывались обо всем, но ничего не могли поделать, так как он избавился бы и от нас при помощи тюрем и палачей. Самого же жестокого кардинала, который помогал папе и еще больше его портил, мы уже казнили. Сообща посоветовавшись, мы пришли к выводу, что больше в папе не нуждаемся. Мы коллективно будем выявлять, чего же на самом деле требует Объективный закон истории, и советовать с вами, верующими. Так что верьте нам и Объективному закону истории, тогда мы сможем реализовать «интересы рабочего класса» на сей раз без «деформаций». Объективный закон истории, без сомнения, действует, и, «в принципе»

церковь им всегда руководствовалась.

Если, однако, продолжить эту аналогию, становится ясно, что верующие христиане, потеряв доверие к папе и кардиналам, запятнавшим себя ересью, стали бы скорее всего обращаться к Богу самостоятельно, без посредничества церковников, в чем, собственно, и заключается сущность протестантского реформаторства. Другими словами, верующие ставили бы и по-новому отвечали на вопрос о личной ответственности перед Богом за свою веру и свои поступки, понимая, что, оказывается, рассчитывать на папу, кардиналов и католическую церковь в духовной связи с Богом теперь не приходится.

Подобные же вопросы вызвала у коммунистов хрущевская критика Сталина, и многие стали давать на них новые ответы, для этого не было необходимости в критике системы. Однако положение убежденных коммунистов резко отличалось от положения верующих христиан. Основные каноны религии человек может исповедовать сам в себе, ему достаточно собственной души, он может обойтись и без церкви. Верующий коммунист же нуждается в орудии осуществления перемен, поэтому без партии он обойтись не может. Поэтому проблема личной ответственности за свои идеи и поступки перед «рабочим классом» или историей в сознании верующего коммуниста органически связана с проблемой реформы «деформированной» партии.

В 1956 году я только начал осознавать этот самый сложный комплекс проблем, отнюдь не разобравшись в них полностью. Но уже была поколеблена прежняя внутренняя безмятежность, основывавшаяся до тех пор на убеждении, что, поступая, как велит партия, я действую в «интересах рабочего класса» и никакой ответственности за возможные ошибки не несу, поскольку отвечаю перед историей партия. Теперь эта партия призвала к ответу лично Сталина. А как же тогда я? Со мной что, должно быть по-другому?

Для меня лично проблема ответственности стала особенно острой из-за моего специфического служебного положения. С осени 1955 года я работал заведующим отделом общего надзора генеральной прокуратуры в Праге, куда меня назначили как молодого, подающего надежды коммуниста, получившего образование в СССР. Политическими процессами и уголовными делами наш отдел не занимался. В наши функции входил контроль за

соблюдением законности в органах государственного управления. Но и они ведь были действенным инструментом политических репрессий: они могли поощрять или дискриминировать граждан в зависимости от политических убеждений последних. Эти органы осуществляли конфискацию имущества и квартир, в деревнях проводили принудительную коллективизацию и т. д. Работая на своем месте, я имел достаточно поводов серьезно задуматься о личной ответственности за все это. Прокуратура в целом была важнейшим элементом механизма политического террора, так что проблема нарушений законности, политических процессов и казней буквально чувствовалась в воздухе в нашем учреждении.

На партийных собраниях и в неофициальных разговорах о личной ответственности передо мной постепенно раскрылась страшная правда: многие из моих коллег знали или по косвенным признакам догадывались, что они сажают в тюрьму или даже посылают на смерть невиновных людей, таких, чья вина не была доказана, вызвала сомнения. Но позиция моих коллег была однозначной: разве они несут ответственность за это? Они ведь выполняли спущенные сверху директивы, руководствовались партийными постановлениями и указаниями свыше. Таким образом, получалось, что либо за все это отвечает «партия», либо никто, просто «нарушался закон», допускались «деформации». Но на этом строили свою защиту на послевоенных процессах и нацистские преступники, они ведь тоже лишь выполняли приказы фюрера.

Я вспоминаю разговор с одним из обвинителей, В.Алешем, после того как я узнал, что на процессе над Сланским и прокурор, и подсудимые прежде заучивали свои роли наизусть, а потом на суде декламировали их, как на сцене! Алеш этого не отрицал, наоборот, он этим оправдывался: ответственность-де лежит на том, кто написал сценарий и был режиссером всего фарса. Я согласился, что он, очевидно, не мог воспрепятствовать процессу, но спросил, зачем же он пошел на участие в этом спектакле, зная заранее, что невозможно проверить правдивость показаний обвиняемых и выяснить, виноваты ли они на самом деле. Но наивысший, согласно чехословацкой конституции, блюститель законности ответил мне, что отказ в тех условиях был допустим только теоретически, а практически это означало бы

сесть самому на скамью подсудимых. Признав, что страх за свою шкуру тоже аргумент, хотя вряд ли приемлемый с нравственной точки зрения, я тем не менее тогда задал еще вопрос: почему же он, все понимая, не попытался остаться в стороне, не подвергая себя опасности, скажем, легко поранившись и тем освободившись от участия в процессе. Ответ был прост: ему это как-то не пришло в голову. За несколько месяцев работы в прокуратуре я видел Алеша в самых разных ситуациях и убедился: он не был размазней, бессовестным карьеристом или примитивной личностью — в отличие от многих других тогдашних прокуроров. До войны Алеш служил районным судьей, и его психология мелкого чиновника оказалась по-своему восприимчивой к идеологии коммунизма, так как социализм действительно открывал рабочим и мелким чиновникам путь к «высокому положению». По-человечески Алеш отличался аскетизмом, искал не личной выгоды, а лишь возможности вырваться из серой атмосферы провинции и играть роль одного из творцов истории. Я не сомневался, что, работая в районном суде, он строго соблюдал букву закона. Если бы ему тогда сказали, что судья или прокурор должны выучить свои роли по заранее заготовленному сценарию, он счел бы такое предложение абсурдным.

Но когда Алеш оказался в описанной ситуации, ему действительно не пришло в голову, как из нее выпутаться. А случилось так потому, что он особенно и не задумывался над происходящим. Он наверняка боялся. Но страшился больше внешних обстоятельств, чем своей совести, которая когда-то у него, рядового юриста, была чистой, но которую позже, превратясь из районного судьи в «творца истории», он полностью потерял. Вынося приговор человеку, укравшему курицу, Алеш чувствовал личную ответственность, а ответственность за одиннадцать смертных приговоров «врагам народа, агентам империализма и вредителям» он с легкостью свалил на «партию». И чувствовал себя в безопасности, не испытывая страха, так как ему опять-таки в голову не приходило, что когда-нибудь его могут призвать к ответу, квалифицируя приговор как его личное решение — ведь поступал он так во имя «высоких целей».

Переворот в моем мышлении произвела именно хрущевская критика Сталина. Эти банальные, ничего общего с критикой системы не имевшие разоблачения, впустившие через черный

ход в политику нравственность, произвели на меня огромное впечатление. Ведь из хрущевской позиции следовало, что даже за Сталина партия не берет на себя ответственность — отвечать будет он сам. Кто же тогда возьмет ответственность за мои действия?

Оставалось одно — вести себя так, чтобы быть готовым самому нести ответственность за свои поступки. На работе в прокуратуре, да и впоследствии на других должностях это было совсем не просто. В прокуратуре и в судах помимо официально-го законодательства, изложенного в кодексах, действовало еще «циркулярное право» — секретные инструкции, как рассматривать определенные категории дел. Этими инструкциями в зависимости от степени важности дел снабжался каждый прокурор, или зав.отделом, или заместитель генерального прокурора. Они направлялись в прокуратуру от имени генерального прокурора, а в суды — от министра юстиции, и в них без обиняков говорилось, что и как делать. Так, например, для нашего отдела действовала инструкция вообще не рассматривать и отклонять как необоснованные обжалования гражданами некоторых решений: выселение из квартиры, конфискация имущества, меры против «кулаков» при изъятии их земельных участков. Так сотни дел закрывались одинаковой отпиской: прокуратура сообщала заявителю, что она не обнаружила «никаких оснований» для пересмотра первоначального решения. Подпись и дата. Чья подпись? Обычно это делалось так. На бланке стояло «заведующий отделом», но подписывался кто-то из моих подчиненных. То есть и здесь ответ давался от моей должности. Лишь когда референт сомневался в чем-то, он отсылал дело ко мне с припиской, что в связи со «сложностью» или «важностью» дела просит меня лично принять решение. Если бы я хотел как бы обеспечить себе алиби, то я мог также посылать дела наверх. Но делать это было позволено лишь в исключительных случаях, да и саму проблему это для меня не решало.

В обстановке, сложившейся после XX съезда КПСС, многие незаконно репрессированные стали требовать восстановления справедливости. Это начало приобретать массовый характер. Теперь руководствоваться «циркулярным правом» означало не только проявление равнодушия к людям, но уже и принятие на себя личной ответственности за продолжение прежней поли-

тики, в общем плане осужденной партией. Отменять секретные инструкции генеральному прокурору не хотелось без соответствующих указаний партийных органов, так как на их основе инструкции и принимались. Ни для кого не было секретом, что в атмосфере «обострения классовой борьбы» проводились кампании, в ходе которых творились просто беззакония. В этой ситуации я видел для себя только один выход — доказать, что те или иные дела носят политический характер и в свете решений XX съезда требуют пересмотра, добиться отмены старых инструкций, что позволило бы рассматривать жалобы строго в соответствии с законом и в какой-то мере восстановить справедливость.

Наиболее подходящими для начала мне представлялись дела категории «Б», по которым в начале 50-х годов в Праге (а затем и в Пльзене, Брно и других областных городах) проводились массовые выселения из квартир. Они конфисковывались «в общественных интересах», а хозяева переселялись в пограничные районы, где они жили в разваливающимся домах, прежде принадлежавших немцам, выселенным после войны в Германию. В рамках дел категории «Б» были конфискованы также дачи и особняки под Прагой. Хозяев квартир и дач окрестили «классово чуждыми элементами», вся акция обосновывалась «общественными и государственными интересами» и нуждами «рабочего класса». Нарушения допускались и при практическом проведении конфискаций. По сравнению с другими кампаниями, например с коллективизацией, пострадавших по делам категории «Б» было не так много. Некоторые дела решились сами собой — кто-то из выселенных за это время умер, у других изменилось семейное положение, и они переехали на другое место жительства. Подавшие жалобу часто требовали даже не возвращения прежней квартиры, а разумного урегулирования ситуации, то есть чтобы их хотя бы перестали считать «классовыми врагами» и не удерживали в пограничных деревнях. Решение этой проблемы представлялось вполне реальным. Между прочим, оказалось, что ни одна из конфискованных «в интересах рабочего класса» квартир не была предоставлена рабочим. Их получили офицеры армии и госбезопасности, работники партийного и государственного аппарата. Дачи и особняки были переданы в пользование ЦК КПЧ и министерства внутренних дел. «С классово-

вой точки зрения» первоначальных владельцев никак нельзя было причислить к буржуазии, так как большинство их составляли люди, принадлежащие к среднему сословию — врачи, адвокаты, служащие. То есть жертвы выбирались не по классовому признаку, а в зависимости от качества квартиры.

Собрав материалы и составив план действий, я отправился к председателю комиссии партийного контроля И.Гарусу, сидевшему в здании ЦК. Тот не был ни «за», ни «против». Зато прочитал мне лекцию о классовой борьбе и пообещал вопрос изучить. Результат же был следующим. До осени 1956 года вообще никакого ответа, а после советского вмешательства в Венгрии — обвинение в «поддержке классовых врагов». Правда, тогда это обвинение не было обнародовано, его предали гласности лишь после исключения меня из партии в 1970 году, а позднее еще раз, после того как я подписал «Хартию 77».

Дела категории «Б» были не единственной проблемой, требовавшей решения. В инструкциях и циркулярах, которые наш отдел издавал самостоятельно для областных и районных прокуратур, я старался установить такой порядок работы, чтобы строго соблюдались нормы закона. Для тогдашнего районного начальства это было революционным актом. В то время в пределах своей компетенции я несколько раз опротестовал решения министерств, чего раньше прокуратура никогда не делала, хотя теоретически это допускалось. И сразу же я почувствовал, как через партийные органы, окольными путями этому чинятся препятствия. Но так как после XX съезда партийная бюрократия ощущала себя не очень уверенно, а я ссылался на решения этого съезда, то все сходило мне с рук до тех пор, пока я не совершил совершенно немыслимый, с точки зрения партократов, шаг.

Тогдашний министр внутренних дел Рудольф Барак (в то время он еще был членом политбюро и по положению вторым после Новотного партийным функционером), повздорив с одним из сотрудников своего министерства, тут же уволил его с работы. Тот работал в весьма непопулярных и тогда органах цензуры. В один из приемных дней уволенный обратился ко мне и подал жалобу. Я признал действия Барака противозаконными. Чтобы не доводить дело до суда — я ведь понимал, что Барак находится на особом положении, — я попытался урегулировать вопрос без лишнего шума, кабинетными методами, и направил Бараку

заключение прокуратуры. Это давало ему возможность пойти на попятную без скандала.

Однако три дня спустя разразилась буря. Барак позвонил генеральному прокурору и заявил, что, вероятно, произошло какое-то недоразумение, так как нижестоящие сотрудники вмешиваются в дела, относящиеся к его министерской компетенции. Он потребовал, чтобы генеральный прокурор лично занялся этим делом. Тот, естественно, пообещал все уладить как следует. Вскоре меня вызвал заместитель генерального прокурора и всячески пытался разъяснить всю нелепость моих действий. Он заверил меня, что все нормализуется, если я заберу свой протест обратно. После короткого обмена мнениями я отказался, и все закончилось перебранкой. Любопытно, что мое начальство, имевшее право отменить мой протест и принять свое решение, этого делать не стало. И они прекрасно понимали, что Барак преступил закон. Поэтому они предпочли попытаться заставить меня самого снять протест. Действовавший закон о прокуратуре позволял, однако, прокурору не подчиниться распоряжению руководства, если оно противоречило закону. Я сослался именно на это положение и не поддавался нажиму.

Подобные случаи в практике работы прокуратуры были чрезвычайно редки и всегда кончались плачевно. В конце концов, заместитель генерального прокурора отменил мой протест. Но и я, и мое начальство знали, что так долго продолжаться не может. Барак же чувствовал себя на высоте. Правда, недолго, через пять лет он сам попал в немилость — Новотный заподозрил его в подготовке переворота в партийном руководстве. Барак попытался было заручиться поддержкой Москвы, но, несмотря на тесную связь с советскими органами госбезопасности, это ему не удалось. Хрущев предоставил Новотному свободу рук, и Барака судили за «злоупотребления служебным положением». В качестве обвинителя на суде выступал главный военный прокурор И.Самек, который во время моего конфликта с Бараксом был тем самым заместителем генерального прокурора. Читая о процессе Барака в чехословацкой прессе, я думал, не вспомнилось ли ему на суде, как он воспитывал прокуратуру в духе уважения законности? Лично спросить его об этом мне удалось только в 1968 году, когда освобожденный из заключения Барак пришел ко мне, в то время секретарю ЦК, на прием. В тюрьме у него было

время многое обдумать. Первое, что он посоветовал в разговоре со мной, — не связываться, находясь на партийной работе, ни со своей, ни с советской госбезопасностью. «Уж как у меня с ними все было в порядке, — пожаловался Барак, — и вот чем все кончилось». О нашем давнем конфликте он и не вспомнил. Впрочем, Барак вряд ли задумывался над прошлым в том ключе, в каком оно волновало меня.

Мои проблемы в генеральной прокуратуре помогли мне утрясти те, с кем я постоянно конфликтовал. Руководство прокуратуры и соответствующий отдел ЦК охотно дали «добро» на мой уход. На общем партийном собрании, правда, К. Иннеман, заведующий отделом ЦК КПЧ, предложил исключить меня и еще нескольких строптивых коллег из партии, но в конце концов было принято компромиссное решение. Мне выдали характеристику, в которой указывалось, что из-за недостатка опыта я не понял существа классовых проблем Чехословакии и «механически заимствовал опыт Советского Союза» без учета специфики чехословацких условий. Мне было разрешено перейти из прокуратуры на научную работу в Институт государства и права Чехословацкой академии наук.

В академию я поступил 15 октября 1956 года. А через три недели советская армия разгромила венгерскую «контрреволюцию». Но еще перед этим, в период польского «Октября», когда к власти пришел Гомулка, стоявший тогда на революционных антисталинских позициях, ситуация в Чехословакии обострилась. После венгерских же событий те, кто боялся малейшей критики сталинизма, был ему верен идейно, перешли в открытое контрнаступление. Начались партийные проработки коммунистов, активно выступавших с критикой и требовавших перемен. Критически настроенная оппозиция, сформировавшаяся было в партийной организации прокуратуры, была разгромлена. Против одного прокурора было даже возбуждено уголовное дело за высказывания на партийном собрании, квалифицированные как «порочающие дружественное государство», то есть Советский Союз. Некоторые работники прокуратуры и партаппарата вспомнили и обо мне и потребовали уволить меня из академии. Но у меня на руках была характеристика, выданная партийными органами всего месяц назад, а в академии тогда работало немало людей, которые прославились куда более еретическими высказываниями, к

тому же публичными, в печати. Так я и миновал успешно эти рифы и проработал в Академии наук целых двенадцать лет, вплоть до Пражской весны 1968 года.

* * *

Перестрелка на улицах Будапешта и советская интервенция были на руку тем политическим силам в Чехословакии, которые хотели заглушить критику, сохранить статус-кво, а тем самым и свое положение. Но критические голоса в КПЧ приумолкли не только вследствие преследований. В воспоминаниях и размышлениях бывших коммунистов почти не упоминается о существенном обстоятельстве, охладившем к концу 1956 года критические настроения, — мы тогда просто испугались.

Конечно, я не берусь с полной уверенностью сказать, что все, кто позднее сформировали течение коммунистов-реформаторов, одинаково испытывали страх. Но я лично покривил бы душой, если бы стал утверждать, что меня в то время волновали лишь общие политические и идеологические аспекты венгерских событий. Наряду с общими проблемами перед моими глазами представало совершенно конкретное видение: толпа, линчующая и вешающая коммунистов на фонарных столбах.

Я разговаривал тогда с коммунистами разных поколений, и они признавались, что и в их сознании бродили подобные мысли. Это был весомый фактор, содействовавший Новотному в утихомиривании критиков, вдохновленных докладом Хрущева. Наибольшее впечатление из всех оценок венгерских событий того времени произвели на меня мысли Карделя, передававшиеся в Праге из уст в уста. Я даже начал учить сербохорватский язык, настолько был поражен тем, что кто-то формулирует идеи, близкие мне, но которые я не могу или, вернее, не осмеливаюсь осмыслить и выразить. Анализ Карделя, кроме хрущевской критики «культы личности», содержал элементы критики системы, причем критика эта основывалась на коммунистической идеологии. Но, разделяя идеи Карделя, будучи заморожен ими с точки зрения теории, все же я сомневался, что если бы сейчас «практически» на улицы Праги вышли вооруженные толпы, то они бы провозглашали: «Вся власть рабочему самоуправлению». Более

вероятным мне представлялся другой вариант. Если бы сошлись и вооружились все истцы, которые на протяжении многих лет получали от прокуратуры, судов и партийных органов отписки типа «для пересмотра решения оснований нет», то они двинулись бы на эти учреждения, и из окон полетели бы отнюдь не одни папки с делами.

Проблема личной ответственности переросла в осознание коллективной ответственности или личной сопричастности к общей вине за прошлое без скрупулезного определения меры вины отдельных лиц — этим толпа никогда не занимается, не хочет заниматься и не может, даже если бы и хотела. Эти ощущения соучастия и страха были в нас, коммунистах, очень сильны, действовали как холодный душ после эйфории, длившейся несколько месяцев. Я вынужден признать, что страх этот вновь сближал меня с теми, кого я презирал. Но от правды не уйти. Один из друзей моей комсомольской юности, периода невинного сектантства, Карел Кинл, которого за радикальную критику сталинизма исключили из партии еще осенью 1956 года, говорил мне тогда: «А что я скажу, если придут вешать коммунистов? Что я уже не в партии? Да им наплевать — ведь я там был еще месяц назад. А мой сосед — свинья сталинская! Я с ним на одном дереве висеть не хочу. Если станут вешать, придется сказать: «Хорошо, но только, пожалуйста, подальше от этого типа, хотя бы не на одно дерево!» И сейчас, много лет спустя, я понимаю, насколько точно его слова отражали значение, которое в то время придавали внутрипартийной дифференциации в среде прежде монолитных сталинистов люди, которые никогда сталинистами не были, люди, жизненной трагедией которых было то, что для нас лишь недавно стало откровением.

Однако на улицах Праги и других городов царил покойствие, партийное руководство снова обрело уверенность в своих силах и успокоилось. Началось сравнительно благополучное, внешне безмятежное десятилетие. Но именно это внешнее спокойствие способствовало тому, что коммунисты-реформаторы в период Пражской весны показали себя хорошо организованной силой с досконально разработанной концепцией перемен. В 1968 году эти люди могли уже не бояться и не боялись разъяренной толпы, угрожающей коммунистам судом Линча. Нужно, однако, заметить, что противники демократических реформ

Пражской весны постоянно пытались в своих интересах гальванизировать испытанный нами в 1956 году страх. Осенью 1968 года его также пытались воскресить интервенты и их местные пособники. Это показывает, что «реальные социалисты» в данном вопросе действительно реально представляли, что сыграло решающую роль в подавлении критических течений в партии в 1956 году.

После всего пережитого за последние месяцы 1956 года я понял, что больше не смогу активно заниматься партийной и политической деятельностью. Фундамент моей веры дал трещину во многих местах, и я сам не знал, что в нем способно выдержать испытание на прочность. В прошлом моя политическая активность была проявлением идейной убежденности. Утратив убежденность, я вполне закономерно потерял способность активно работать. Кроме того, я был на положении члена партии, едва избежавшего партийного взыскания, так что единственным выходом из создавшейся ситуации было сделаться неприметным. В академии наук я попал в совершенно новую, непривычную для себя среду. Я занял самую низкую ступень служебной лестницы, поступил в аспирантуру и начал заниматься научной работой, делом для меня совсем новым.

Этот на первый взгляд неблагоприятный поворот в жизни на проверку оказался даже выигрышным — я смог продолжить свое образование. Точнее, я впервые в жизни начал систематически изучать литературу по собственному выбору и в соответствии с моими пристрастиями — политикой и идеологией.

Так, в конце 50-х годов я смог получить те знания, которые по идее должен был давать студентам университет марксистской ориентации по теории государства и права. Эти занятия, однако, были важны не только с точки зрения повышения юридической квалификации. Платона и Макиавелли, молодого Маркса и Грамши я читал вовсе не в качестве обязательной академической литературы, я погружался в чтение их трудов с глубочайшим личным интересом, стремясь отыскать там ответы на главные для меня вопросы — политические проблемы современности. Древние философы и мыслители нового времени, марксисты и немарксисты помогали мне вырабатывать собственное мировоззрение. Исповедуемая мною прежде сталинская идеология рухнула. На ее руинах начинало складываться убеждение,

что марксизм на самом деле — рациональная, внутренне противоречивая и незаконченная, теория развития общества, совсем не тождественная с идеологией, обслуживавшей существовавшую коммунистическую практику.

По мере трансформации мировоззрения у меня останавливалась способность к активной политической деятельности. В послевоенные годы сама эпоха как бы втянула меня в эту сферу. Тогда, собственно, я считал свою деятельность не политикой, а участием в революционном историческом процессе, в созидании нового мира. Но когда я снова вернулся в политику 1958 году, это было уже результатом обдуманного решения. Я знал, что вхожу в сферу, где действуют свои специфические законы, условия и взаимосвязи, с которыми нельзя не считаться, если хочешь чего-либо достичь. Я знал, что неизбежны нравственные и человеческие издержки, но так было в политике во все времена.

* * *

После 1956 года мыслящие коммунисты, первоначально придерживавшиеся сталинской ориентации, совершили прорыв, открывший им путь к так называемому реформаторскому коммунизму. Обратившись к марксистской литературе, они обнаружили: то, что выдавалось официальными партийными пропагандистами за марксизм-ленинизм, находится в прямом противоречии с целым рядом идей Маркса и Ленина. Коммунисты-реформаторы делали акцент на гуманистических аспектах марксистской теории, на приверженности свободе личности и стали рассматривать классовую борьбу лишь как средство достижения этих целей. Логичным итогом их размышлений было противопоставление идей Маркса, а иногда и Ленина, официальной идеологии. Главная проблема, по мнению коммунистов-реформаторов, заключалась в том, что господствующая идеология отошла от подлинных идей Маркса, а потому перестала выполнять функции научного объективного познания, трансформировалась в ложное сознание.

В то время я в принципе разделял эту позицию, но постепенно моя точка зрения изменилась. Описанный выше подход сводился, собственно, к академической, теоретической критике и

познанию марксизма. Он, таким образом, становился исключительно духовной пищей интеллектуалов, замуровывался в библиотеках, о нем могли говорить с университетских кафедр и писать в специализированных журналах, но такая переоценка марксизма не могла изменить идеологическое сознание партии, вытеснить из голов сотен тысяч верующих коммунистов сталинские концепции. Гуманистическая интерпретация работ Маркса — очень сложное теоретическое построение, абстрактное для большинства коммунистов, занимавшихся практической политикой, оно слишком далеко от конкретных повседневных проблем. Эти люди привыкли видеть в теории «руководство к действию». Теоретики марксистского гуманизма подвергли убедительной критике сталинские политические установки, но не могли снабдить коммунистов другими, достаточно понятными и предметными.

Я же был убежден, что новая политика может быть успешной, если прежнюю идеологию заменить новой. Эта новая идеология, считал я, не может быть тождественна научной теории, она тоже будет несколько упрощать слишком сложную действительность в интересах политической целесообразности. Но она не должна противоречить истине настолько, чтобы препятствовать теоретическому поиску правды, стимулировать те силы, которые противостоят познанию истины.

Изучение домарксистских, особенно различных революционных политических теорий привело меня к заключению, что противоречие между теорией и идеологией существовало испокон веков и что никогда данное противоречие не разрешалось отказом от идеологии как таковой, поскольку это просто невозможно практически.

В процессе исследования взаимосвязи между теорией Маркса и идеологией коммунистических партий я уже в конце 50-х годов пришел к заключению, что эта связь подчиняется общим историческим законам, а потому разрешить практические проблемы социалистического строительства путем возвращения к «подлинному» Марксу просто невозможно (не говоря уже о том, что само это понятие неоднозначно: в трудах Маркса можно встретить крайне противоречивые оценки по ряду важнейших вопросов экономической, социальной и политической жизни, относящихся к периоду «перехода от капитализма к коммунизму»).

Я был убежден, что коммунисты-практики будут по-прежнему руководствоваться идеологией в соответствии с собственными политическими интересами, а не исключительно объективным научным познанием. Поэтому возникала необходимость разработать наряду с научной теорией новую, рациональную идеологию, способную дать ответы на актуальные общественные и политические проблемы, ответы, совместимые как с политическими интересами коммунистов, так и с потребностями общества.

Похоже, многие коммунисты-реформаторы понимали, что решение проблемы не в отказе во имя «подлинного марксизма» от идеологии и связанной с ней политической практики партии, а в реальном ее изменении и реформировании. На это, начиная с конца 50-х годов, и ориентировалась значительная часть коммунистов на самых разных участках деятельности, в том числе в партийном аппарате. Усилия коммунистов-реформаторов находили, в свою очередь, отклик у беспартийных, то есть у большинства чехословацких граждан. Но и коммунисты стали относиться к интересам и нуждам беспартийных более внимательно, как к важному фактору, который необходимо учитывать в практической работе. Они постепенно приходили к пониманию необходимости такой системы своего правления, при которой учитывались бы интересы всех слоев общества. И все-таки определяющим критерием правильности того или иного шага оставалась для коммунистов-реформаторов собственная, хотя и реформированная, идеологическая система ценностей и соответствующая этой системе логика. Интересы некоммунистов, людей, не обретших свое место в коммунистической системе, они рассматривали как источник нежелательного «давления на партию», «несоциалистических тенденций», противоречивших интересам общества. Право определять, в чем заключаются интересы общества, признавалось даже реформаторами в партии не за самим обществом, а в конце концов опять за КПЧ.

Чехословацкий реформаторский коммунизм 60-х годов, таким образом, представлял собой направление, существенно ограничивавшее политическую демократию. И в то же время он был основной политической силой, разрушавшей тоталитарную систему и прокладывавшей путь политической демократии.

Коммунисты-реформаторы считали своей главной задачей исправлять ошибки своей партии и ее идеологии и адекватно

«выявлять интересы всего общества». Идея о том, что общество могло бы само находить верные решения помимо партии с ее идеологией, казалась им совершенно неприемлемой. Они продолжали верить, что их идеология, их партия все же действительно выражают «коренные, исторические и объективные» интересы рабочего класса и всего общества лучше любой другой идеологии и другой партии.

Начав в конце 50-х годов заниматься активной политической деятельностью в рядах коммунистов-реформаторов, я не осознавал всех ограничительных факторов этого политического течения, но на практике то и дело на них натывался.

Мое убеждение в правильности реформаторского коммунизма основывалось не на абстрактных рассуждениях о роли идеологии. Как и сотни тысяч других, стремившихся к критическому переосмыслению прошлого, я пытался ответить на вопрос, что практически достигнуто за период после 1948 года с точки зрения интересов общества, трудящихся, рабочего класса.

Я сделал заключение, что итоги эти не выглядят сплошным темным пятном. Напротив, основные изменения имели позитивную направленность, а потому реформы были не только необходимы, но и возможны.

В конце 50-х и в 60-е годы социально-экономическая ситуация в Чехословакии стабилизировалась. Некоторые идеалы нашей коммунистической веры были воплощены в жизнь, и общество приняло их. В стране уже не было капиталистов, исчезло прежнее классовое и социальное расслоение, основывавшееся на частной собственности. Была ликвидирована и нищета как социальное явление: исчезли оборванцы, нищие, бедняцкие кварталы, которые я видел в детстве, а потом еще в Москве, а молодое поколение — уже только в кино. Болезнь или старость уже не воспринимались как синоним материальной катастрофы. Средний уровень жизни не означал полное благополучие, но был терпимым и, главное, медленно, но повышался. После того как была отвергнута сталинская линия на преимущественное развитие тяжелой индустрии, появилась какая-то надежда на разрешение жилищного кризиса, что было самым больным местом. Но дело было не только в материальной стороне жизни людей. Материальная обеспеченность большинства составляла основу спокойной и благополучной жизни, разумеется, для тех, чьи ин-

тересы не выходили за рамки сугубо личных. Кто жил в стороне от политики, кого не волновали проблемы эффективности экономики, развития культуры и свободы мышления, мог жить спокойно, не боясь завтрашнего дня и не опасаясь за будущее детей. Для жизни людей уже не было характерно и такое типичное для капиталистического индустриального общества явление, как изнурительная повседневная конкурентная борьба за место под солнцем. Правда, чехословацкие будни имели и свои теневые стороны: недостаток товаров и услуг, облегчающих ведение домашнего хозяйства, в результате чего масса времени уходила на то, чтобы достать необходимое. Однако более спокойный ритм жизни и труда эти негативные проявления как бы уравнивали. Зато в отношениях между людьми, руководителями и подчиненными, людьми разного пола, возраста, национальности было больше равенства, демократичности, чем в капиталистическом прошлом. В повседневной жизни в Чехословакии, в отличие от Советского Союза, ощутимо присутствовал неполитический демократизм, хотя политическая система и система управления по существу ничем не отличались, представляя собой бюрократическую диктатуру.

Мышление людей претерпело значительные изменения в сравнении с началом 50-х годов. Если сразу после февраля 1948 года критика положения дел отталкивалась от того, как страна жила в дофевральский период, то сейчас уже никто таких параллелей не проводил. Никто уже не говорил, что «до национализации» дела шли так или эдак, а сейчас вот так. Да и в политической сфере деятельность компартии не соизмерялась с деятельностью некоммунистических партий до февраля 1948 года. Критика имела место, но ее отправной точкой было стремление к переменам на базе утвердившихся новых экономических, общественных и политических отношений, а не возврат назад, к тому, что было при капитализме. То же самое можно сказать и о деревне, где всего несколько лет назад завершилась коллективизация. Даже там к единоличному хозяйству хотело возвратиться далеко не большинство, особенно среди молодого поколения.

Общественные реалии, как мне тогда казалось, не противоречили той картине, которую в своих документах рисовала официальная идеология: были «построены основы социализма» и нужно было без оглядки назад продолжать «строительство

развитого социалистического общества». Применительно к практической политике это означало не «обострение классовой борьбы за власть в социалистическом обществе», а «углубление социалистической демократии».

Сейчас, после событий 1968 года, я понимаю, насколько упрощенной была моя тогдашняя оценка. Я видел общество глазами «верхов», о жизни «низов» имея лишь поверхностное и искаженное представление. То, что казалось мне тогда всеобщим согласием, на самом деле было пассивностью людей, измученных сталинским террором. Когда этот террор после 1956 года ослабел, люди с облегчением вздохнули и взялись, главным образом, за устройство личной жизни. То, что представлялось милой идиллией, было вынужденным притворством. В условиях, когда любое проявление инициативы в решении общественных и политических вопросов воспринималось как дело совершенно безнадежное, незначительным было и давление оппозиции. Реальные интересы, нужды, стремления людей оставались как бы под крышкой котла, и коммунисты-реформаторы своими политическими компромиссами это состояние консервировали.

Сытое спокойствие «среднего гражданина», который, собственно, давно уже перестал быть гражданином, замкнувшись в скорлупу личного мирка, отнюдь не способствовало успешному проведению реформ, напротив, укрепляло тоталитарный режим, диктатуру. «Средний гражданин» со своими потребностями и интересами, сформированными диктатурой, — это плод, выращивать который — первейшая цель диктатуры. «Средний гражданин» настолько убежден в том, что ничего изменить нельзя, что полностью приспосабливается, тем самым поддерживая и наполняя диктатуру жизненными силами.

Диктатура остро нуждается в таком «гражданине», ибо на нее-то он и трудится. Поэтому диктатура обеспечивает «среднему гражданину» «среднее» питание, развлекает при помощи государственного телевидения, заботится о его здоровье.

Но, несмотря на все эти негативные аспекты устоявшегося в обществе нового порядка вещей, налицо был и ряд положительных факторов, о которых я уже упоминал, — преобладающее большинство населения было уверено в завтрашнем дне, удовлетворяло свои основные материальные потребности. Поэтому оно не стремилось к реставрации капиталистических со-

циально-экономических отношений, которые этой уверенности не давали. События 1968 года это подтвердили: резкая критика, взрыв общественных и политических противоречий в условиях полной свободы выражения взглядов не вылились в сколько-нибудь значительную тенденцию реставрации капитализма. И в деревне не был распущен ни один сельскохозяйственный кооператив, и лишь совсем немногие вернулись к частному хозяйствованию.

Слабость реформаторского коммунизма заключалась не в том, что он представлял собой социалистическое течение и отвергал реставрацию капиталистических, частнособственнических отношений. Этим он выражал позицию абсолютного большинства общества. Уязвимым местом коммунистов-реформаторов была, скорее, идеализация истинного положения самого абсолютного большинства.

Но понял я это позже, а в конце 50-х и в 60-е годы казалось, что все однозначно свидетельствует в пользу реформаторской политики. Главную задачу я видел в том, чтобы идеология реформаторов стала официальной идеологией КПЧ и чтобы власти ею руководствовались. Для этого нужно было вести работу внутри КПЧ, найти приверженцев новой идеологии внутри самого центра, средоточия власти.

Это было нелегко, но не невозможно. С конца 50-х годов тысячи партийных функционеров придерживались тех же взглядов, и потому в 1968 году политика КПЧ действительно стала политикой реформаторской. Это течение получало в 60-е годы все большую поддержку в партийных массах. Но для стороннего наблюдателя этот процесс долгое время оставался не очень заметным.

При любой политической диктатуре решающее слово остается за кабинетной политикой, а при кабинетной политике со стороны не видны различия среди тех, кто ее проводит. И в Чехословакии в 1968 году люди не могли распознать различия среди власть имущих, действовавших в партийном и государственном аппарате, недоступном для посторонний глаз. Кто знал до Пражской весны, что А.Дубчек чем-то отличается от И.Ленарта или О.Черник от А.Индры? Да и кто вообще интересовался этим?

На протяжении нескольких предшествовавших Пражской

весне лет различия во взглядах были заметны лишь между теми коммунистами, которые занимались вопросами культуры, выступали в качестве публицистов. Они также принадлежали к привилегированным слоям, но они не были анонимны, выступали открыто. Вопреки цензуре и самоцензуре в сфере культуры, в публицистике можно было по отдельным высказываниям распознать политические позиции автора. И люди симпатизировали тем, кто выступал со все более открытой критикой, рискуя своей карьерой и иной раз подвергаясь серьезным преследованиям со стороны властей.

Авторы критических статей, появившихся в общественно-литературных журналах, те, кто выступал на съездах писателей и кого преследовали за убеждения, вполне заслуженно завоевали популярность среди самых широких слоев населения. Авторы же различных проектов и критических идей, действовавшие в стенах правительственных зданий, для большинства были неизвестны, об их успехах или поражениях общественность никакого представления не имела.

Но это были фланги одного фронта: те, кто выступал открыто, не могли бы этого делать, не будь у них анонимных, малоизвестных единомышленников. В большинстве случаев существовала и обратная связь. В сложившейся тогда обстановке закрепилась и прежде проявлявшаяся в политике тенденция — судить о значении чего-то по декларациям, публичным заявлениям. Так было при Новотном, и такое положение сохранилось и даже проявлялось в еще большей степени с первых месяцев Пражской весны. Политическим заявлениям придавалось большее значение, чем практическим шагам по изменению политических структур, хотя именно от них прежде всего зависела сама возможность реализации любых деклараций. Воспоминания о Пражской весне, опубликованные после 1968 года коммунистами-реформаторами, вышли большей частью из-под пера тех, кто до и во время Пражской весны действовал открыто — журналистов и писателей, обществоведов и др. Другой же, малоизвестный фланг фронта по-прежнему, к сожалению, остается в тени.

Я в 60-е годы действовал, стоя на позициях коммуниста-реформатора, и публично, и внутри аппарата ЦК, что позволило мне окунуться в скрытый от посторонних глаз мир власть имущих. И не только окунуться, я, по существу, сам был составной

частью этого мира. Я связал с ним свою судьбу в 1968 году, и это повлияло на мою дальнейшую жизнь в гораздо большей мере, чем моя публицистическая деятельность.

* * *

После публикации в 1959 году в органе ЦК КПЧ «Руде право» моей первой статьи по идеологическим вопросам меня пригласил к себе директор Института государства и права Чехословацкой академии наук академик В.Кнапп и завел о ней разговор. Я сказал ему что-то в том смысле, что мне хотелось довести свои взгляды до более широкого круга читателей. «Вернее, до узкого, не правда ли?» — отпарировал он и понимающе рассмеялся. Он был прав. Статьи такого рода предназначались отнюдь не миллионам подписчиков «Руде право». Массовый читатель не обращал на них никакого внимания. Его интересовала главным образом спортивная рубрика. Однако их читали те, для кого политика и идеология были профессией: аппаратные работники, функционеры и активисты КПЧ. Для них прочитанные в «Руде право» тезисы и формулировки служили политическими установками. С тем, что писала «Руде право», было позволено не только соглашаться, но и произносить вслух и даже пропагандировать.

Кроме того, «Руде право» была чтивом хотя и очень узкого, зато влиятельного и могущественного круга, к которому принадлежали члены политбюро, секретари ЦК КПЧ, люди, приближенные к ним. Они не прочитывали всего, они даже не читали достаточно внимательно, но весь подчиненный им политико-идеологический аппарат полагал, что раз в этих кругах не возникает возражений против того, что было черным по белому написано в «Руде право», то можно считать все это освященным сверху.

Так, не через парадный вход, а посредством «Руде право» я вошел в святая святых политической власти тогдашней Чехословакии — партийный аппарат. Никакой официальной должности я тогда не занимал, но определенный вес у меня уже был. Мало информированные люди серьезно ошибались, оценивая политическое влияние того или иного человека по его формальной должности. Для таких министр представлялся более значи-

тельной фигурой, чем заведующий отделом ЦК, а это заблуждение. Заведующий отделом ЦК практически от министра не зависел, а, напротив, министр был во многом зависим от него, ибо заведомо находился гораздо ближе к подлинному центру власти, коим было политбюро. Кроме того, он решал, кто из подчиненных министра будет повышен, назначен или освобожден, решая, таким образом, и судьбу самого министра. Не посвященному в эти таинства некоторые происходившие в верхах явления были совершенно не понятны. Если бы такой человек увидел, как генерал, инспектируя воинскую часть, даже не удостоил вниманием полковников и майоров, а с чрезвычайным жаром бросился жать руку неброскому капитану и завел с ним дружескую беседу, то он решил бы, что генерал либо чудак, либо сумасшедший. В действительности же капитан этот мог быть инструктором оборонного отдела ЦК, которого призвали на военные сборы. И генерал, и полковники, и майоры знали, что он их подчиненный лишь формально, а на деле это именно от него зависят их чины, должности, зарплата, карьера или ее возможный провал. Ошибочно было бы, однако, полагать, что раз в системе власти наибольшим могуществом обладал аппарат, то, зная это, уже можно было легко ориентироваться в коридорах власти. Перед сотрудником аппарата КПЧ, курировавшим здравоохранение, естественно, тряслись главные врачи, а то и сам министр здравоохранения. Но этот же работник партаппарата должен был быть очень осторожен с живущим по соседству офицером госбезопасности. А тот, в свою очередь, как и его начальник, вытягивался в струнку перед инструкторами административного отдела ЦК, секретарями и их помощниками и другими работниками партаппарата. Перед ними заискивали зачастую даже больше, чем перед министром внутренних дел, ведь и он был всего лишь министр, хотя и не «рядовой».

В самом партийном аппарате формальная иерархия также не всегда соответствовала истинным реалиям. В 60-е годы степень влияния, зависела от принадлежности к узкому кружку партнеров Новотного по картам. Секретарь обкома или министр, игравшие с Новотным в преферанс, обладали иногда большим весом и властью, чем секретари ЦК, которые не играли в карты. Но и игравшие в карты, и не игравшие, да и сам Новотный с особым вниманием относились к некоторым вроде бы рядовым, не-

приметным инструкторам в аппарате ЦК. Я как-то столкнулся с этим лично и, удивившись, что секретарь, отличавшийся обычно авторитарностью, вдруг заколебался принять решение вопреки мнению рядового инструктора, получил от него следующий ответ: когда ты говоришь с некоторыми сотрудниками, это все равно, что ты говоришь с Москвой.

Для практической работы в аппарате знать, кто принадлежит к этому кругу сотрудников, было важнее, чем окончить Высшую партийную школу. Те, кому это было известно, могли избежать многих неприятностей. Кто это знал, совсем не удивился тому, что некоторые сотрудники аппарата вдруг незадолго до 21 августа 1968 года отправились в отпуск в СССР или ГДР. Не вызвал у них удивления и тот факт, что сотрудник отдела ЦК КПЧ, курировавший академию наук, вдруг стал министром внутренних дел, а работник международного отдела оказался самой подходящей кандидатурой на должность заведующего отделом культуры. Несведущий же пребывал в растерянности и не переставал поражаться.

Таким образом, чтобы иметь политическое влияние, не обязательно занимать официальные должности. Я не играл в карты с Новотным и не сотрудничал с КГБ, тем не менее принадлежал к группе людей, представлявших для системы власти немалую ценность, — к ее рабочему аппарату. Без него едва способны существовать целые политические органы и отдельные политики, из него они черпают живительные интеллектуальные соки, которых им самим зачастую недостает.

Публикации статей в «Руде право» по вопросам политической теории и идеологии стали, по существу, началом моей практической деятельности в партийном аппарате. Хотя до 1968 года я не был непосредственно его сотрудником, а работал в Академии наук, на деле с начала 60-х я все больше втягивался в сферу деятельности партийного аппарата.

По мере того как мои статьи все чаще появлялись в партийной печати, меня все больше привлекали к участию во всевозможных «рабочих группах», где готовились материалы для партаппарата и партийных органов, главным образом по вопросам партийной идеологии, государства, права, общественных организаций и политической системы. В 60-е годы создание таких «рабочих групп» все чаще практиковалось в партии для про-

работки различных проблем. Их роль была противоречива, но в целом они постепенно укрепляли позиции как партийной интеллигенции, стоявшей вне аппарата, так и самой идеологии реформаторского коммунизма. Официально создание этих групп выдавалось за научный подход к управлению делами общества. А по сути это было проявлением неспособности аппарата проводить квалифицированный анализ и обобщения.

Постепенно «рабочие группы» стали готовить материалы практически для всех важных заседаний партийных органов. Они составлялись из чиновников государственных органов, хозяйственников, преподавателей вузов, сотрудников научно-исследовательских институтов. Они-то и проводили аналитическую работу, готовили проекты практических мероприятий. Представленные этими группами материалы различные звенья партаппарата подрабатывали так, чтобы сделать их удобоваримыми для руководства. Тем самым противоречивую роль стал играть и сам аппарат — он получал в руки информацию, в критическом духе вскрывавшую актуальные проблемы, но фильтровал ее, вносил такие поправки в рекомендуемые решения, которые порой выхолащивали саму их суть. Постановления и решения, принимавшиеся на этой основе, иногда значительно отличались от того, что изначально предлагали «рабочие группы». И все же нередко компромиссные формулировки отражали реально существовавшие проблемы.

Подобным же образом писались в 60-е годы доклады и речи руководящих партийных и государственных деятелей. Как правило, на завершающей стадии секретари ЦК и члены правительства сами редактировали тексты своих выступлений, но фактически все, что они читали, за малым исключением, писалось их помощниками из различных «рабочих групп».

Участие в работе таких групп давало мне возможность протаскивать некоторые мои идеи, пусть и в искаженном виде, в постановления партийных органов и выступления руководителей высокого ранга. Затем Уже я мог ссылаться на эти высказывания, трактовать их так, чтобы подготовить почву для критических оценок и реализации реформаторских концепций. Таким образом, моя открытая политическая публицистика и скрытая от общественности деятельность в «рабочих группах» взаимодополнялись: то, что я писал в статьях, получало отражение в партий-

ных постановлениях и официальных речах, и наоборот.

В таком положении в те годы был не только я. Подобным образом поступали десятки коммунистов-реформаторов, сотрудников научно-исследовательских институтов и вузов. Именно так экономистам и социологам — кому в большей, кому в меньшей степени — удавалось осуществлять некоторые свои концепции на практике. Но каждому, кому удавалось достичь определенного влияния в бюрократической системе власти, приходилось за это расплачиваться, поскольку между ним и властью устанавливалась отнюдь не односторонняя связь — власти вносили коррективы в предлагаемую концепцию реформы, и ее автор отчасти вынужден был служить интересам «верхов».

Я помню несколько конкретных случаев, когда мне самому приходилось делать выбор, взвешивать все «за» и «против». Дело было не только в том, что я не всегда мог открыто формулировать все, что думал, при составлении проектов постановлений или выступлений секретаря ЦК, председателя правительства и др. Это были, в конце концов, проблемы технического порядка. Намного серьезнее для меня были ситуации, когда ради сохранения своего положения я вынужден был отстаивать «линию партии», совсем не будучи уверенным в ее правильности.

Так, в 1961 году Новотный заявил, что вопрос о политических процессах 50-х годов уже «закрыт окончательно». Я далеко в этом не был убежден. Тем не менее на различных собраниях, в печати я повторял, что Сланский никогда не будет реабилитирован, так как он сам был соучастником преступлений тех лет, подобно Ежову, Ягоде и Берии, которых в Советском Союзе не реабилитировали. Такова была «легенда» Новотного. В 1962 году в качестве лектора ЦК КПЧ я на партийных собраниях отстаивал официальную версию ареста Рудольфа Барака — он обвинялся в злоупотреблениях своим положением министра внутренних дел в целях личного обогащения, в растрате валюты и т. п. Для доказательства вины Барака Новотный даже устроил выставку его личных заграничных костюмов и рубашек, дорогих картин, произведений искусства, иностранной валюты. Мне было просто стыдно. Я знал, что арест Барака имеет чисто политическую подоплеку. Новотный подозревал его (очевидно, не без оснований) в намерении организовать верхушечный переворот. И несмотря на это, я отстаивал «партийную линию».

Я несколько раз с полным сознанием своей неправоты полемизировал с «ревизионистами», в частности с некоторыми сторонниками югославской концепции, которую сам же считал исходной моделью для возможных трансформаций чехословацкой политической системы. Это было время, когда критика «ревизионизма» провозглашалась первоочередной идеологической задачей КПЧ, и в такой момент отклониться от «линии партии» означало лишиться всего, что удалось достичь в течение нескольких лет, потерять возможность постепенного реформирования партийной политики, действуя внутри структур политической власти, внутри аппарата.

Такое поведение легко было оправдать мотивами политического расчета. Я прекрасно понимал, что за счет этих уступок я получаю возможность и дальше участвовать в разработке партийной политики, сохранить за собой положение в системе власти, чтобы продолжать оказывать на нее воздействие в направлении реформ. И это мне представлялось важнее всего. Я не случайно избрал темой моей диссертации труды Макиавелли. Из них я вынес, что уже четыре столетия назад политическая практика строилась на тех же принципах, а Макиавелли хватило отваги раскрыть на это глаза. Он сделал вывод, что политик не может всегда руководствоваться соображениями морали человеческой (христианской), что в политике нравственными признаются лишь действия, обеспечивающие успех в достижении поставленных целей.

Однако моя совесть и чувство личной ответственности такому поведению противились. Возникшее противоречие я для себя разрешил, определив черту, за которую я уже не мог бы переступить по соображениям политического расчета.

Во-первых, я ни при каких обстоятельствах не пошел бы на нарушение законности. Во-вторых, на такие шаги, ущерб от которых был бы больше, чем польза от сохранения моего положения в партии. Мне кажется, что мне удалось не преступить этих границ. Но дважды я был на грани этого. В 1966 году, когда идеологический курс ужесточился (закрыли ряд журналов, начались преследования работников культуры и т.п.), и я пришел к заключению, что отстаивать в данной ситуации «линию партии» равнозначно выходу за рамки политически приемлемого без адекватной пользы.

Я отказался от дальнейших публикаций по идеологическим вопросам, ушел с политических постов и сосредоточился исключительно на теоретических исследованиях. Я организовал междисциплинарную исследовательскую группу по проблемам политической системы и руководил ее работой вплоть до весны 1968 года.

Вторично у меня возникло опасение, что я могу перейти ту самую черту допустимого, после советского вторжения в августе 1968 года. Уже в ноябре я принял решение подать в отставку со всех постов. Но об этом я еще расскажу подробнее.

Условия, в которые были поставлены коммунисты-реформаторы в аппарате власти, естественно, накладывали отпечаток на их мышление. Стремясь к объективному анализу положения, чтобы определить, что нужно предпринять для дальнейшего развития страны и общества, выяснить, чего хочет оно само, изначально нельзя было не принимать во внимание и другую сторону медали, то есть — приемлемо ли это в данную минуту для партии, для ее аппарата, на что он может пойти, а на что нет. Самоцензура действовала не только в момент публичных выступлений, она сковывала и мышление. Вопросы, заведомо неприемлемые для властей, даже не принимались во внимание, над ними не задумывались, их отбрасывали, так как в обозримом будущем их невозможно было переложить на язык официальной идеологии и уж тем более провести в жизнь. Этим группа коммунистов-реформаторов, действовавших в аппарате, резко отличалась от другой группы, выступавшей открыто вне структур власти и имевшей, таким образом, возможность ставить более общие вопросы общественного и политического развития и искать на них ответы. Коммунисты из числа писателей, журналистов, деятелей искусства и те из сотрудников вузов, кто не был связан с партийными органами, партийным аппаратом, не считали для себя лимитирующим фактором отсутствие возможностей реализации своих идей. Надежды на это они вообще-то не теряли, но считали, что успеха в этом деле можно добиться лишь путем давления на органы политической власти извне, формирования общественного мнения, позиций различных групп населения (прежде всего интеллигенции), общественных организаций, напрямую не связанных с властью (творческие союзы, научные учреждения, органы просвещения).

Общая политическая ориентация этой группы была более демократической и радикальной, чем ориентиры той группы, что работала в самой системе власти. В этом можно легко убедиться, сравнивая, например, «Литерарни новины» («Литературную газету») с партийной печатью. Между радикалами и властями происходили даже конфликты, в которых аппаратные реформаторы выполняли незавидную роль людей, находящихся между двух огней.

Каковы же были результаты моей реформаторской деятельности в 60-е годы?

С 1964 года мое положение в аппарате власти определялось тем, что я занимал должность секретаря юридической комиссии ЦК КПЧ и выступал в качестве официального советника и консультанта партийных и государственных органов по общим вопросам политической системы, демократии и права. В той или иной мере я принимал участие в разработке всех важнейших решений партийных и государственных органов по вопросам, подлежавшим рассмотрению в юридической комиссии, так что в процессе их подготовки я имел возможность привносить свои идеи. Общего положения дел в государстве в сфере правотворчества и толкования законов юридическая комиссия, разумеется, до 1968 года изменить не могла, но все же благодаря работе комиссии вопросам права и законности стало уделяться больше внимания. Уже тогда здесь обсуждались и подвергались критическому анализу проблемы, вышедшие затем на первый план в 1968 году. Кроме того, некоторые юридические нормы уже тогда удалось демократизировать.

Членство в комиссии ЦК придавало моим высказываниям более официальный характер. Я консультировал высшие органы власти и партийных деятелей, принимал участие в десятках различных «рабочих групп», которые готовили проекты решений и постановлений, и являлся одним из официальных толкователей идеологии и политики по вопросам государства, демократии и права, политической системы в целом. Я читал лекции на многочисленных курсах в различных аудиториях. В период 1964-1966 годов мне иногда приходилось читать более двадцати лекций в месяц — для партактивов, работников обкомов и райкомов, сотрудников госаппарата, в том числе госбезопасности, и армейских политработников. Я написал десятки брошюр и пособий для

внутреннего пользования в партийном и государственном аппарате. Тысячи функционеров разного ранга были моими слушателями. Большинство из них воспринимало мои идеи благосклонно. Идеологическая концепция, которую я пропагандировал в 60-е годы в партийных кругах, благодаря чему она как бы приобрела характер официальной линии, заключалась тезисно в следующем.

Из опыта СССР следует, что в результате победы социалистических отношений в обществе происходят большие перемены. Классовая борьба перестает быть первоочередным вопросом, уже некого подавлять как класс. Государство диктатуры пролетариата становится всенародным. В связи с этим на первый план выдвигается задача верно определять потребности и интересы всего общества, следить за тем, чтобы специфические нужды и запросы какой-то его части не удовлетворялись за счет интересов других.

Раньше можно было без труда выявить, что служит интересам социализма: ограничение и ликвидация частной собственности и связанных с ней производственных отношений. Для этого не требовалось особых знаний, достаточно было обладать «классовым чутьем». Каждый мог распознать, какая фабрика еще не национализирована, кто из крестьян еще не вступил в сельхозкооператив. Но как определить, отвечает ли интересам общества увеличение производства химической промышленности на 5 или, скажем, на 15 %? Что в интересах рабочего класса — выращивание кукурузы или переход на горох? Что больше способствует совершенствованию социалистического общества — вальс или джаз?

Ставить такие вопросы — бессмыслица, а руководствоваться такими подходами в жизни — просто вредно. Что представляет собой при социализме «интерес всего общества», можно определить только при двух непереносимых условиях: во-первых, решение любой проблемы должно опираться на профессиональные знания, и во-вторых, общественность должна иметь право сама заявить о своих интересах. Именно эти два принципа, подчеркивал я, должны быть внедрены в нашу политическую систему.

И по вопросам экономики и по вопросам культуры мы должны дать возможность высказать свое мнение прежде всего

специалистам. Без образования, профессиональной подготовки невозможно в каждом конкретном случае адекватно определить «интересы рабочего класса». Нужно также, чтобы все действующие в нашей политической системе организации могли выражать свое отношение к политике государства. Профсоюзы, молодежные и общественные организации должны открыто заявлять о своих потребностях. Если интересы всего общества определены верно, в процессе их реализации будут удовлетворены и частные интересы. Это относится и к местному звену, а потому должна возрасти роль национальных комитетов и других органов местного самоуправления.

Для правильного выявления интересов общества необходимо предоставить индивидуумам право отстаивать свои интересы и взгляды. В этом смысле важная роль принадлежит праву. Его не следует понимать как набор произвольных указаний. Закон должен гарантировать свободу выражения частных интересов, личных и групповых. Исключение такой возможности означало бы попрание права. В том числе и ошибочные точки зрения должны получить право на жизнь. Лишь законом может быть установлено то, когда это не допускается, например в случае подрыва интересов общества. Права человека могут быть ограничены лишь запретами, оговоренными в законе.

Коммунистическая партия является ведущей силой общества. Но руководящая роль не дана партии раз и навсегда в результате ее прошлых заслуг в классовой борьбе. Руководящую роль в новых условиях партия должна снова и снова завоевывать. Если партия допускает ошибки, если она не отстаивает общественные интересы, она ослабляет тем самым свои позиции. Партия должна создать условия, при которых могут реализовываться и такие интересы и потребности общества, какие она сама общенародными не считает. Партия должна убеждать в своей правоте. Партийные решения должны готовить квалифицированные специалисты. Приказными методами долго управлять невозможно. Кроме того, партия не может подменять государственные и общественные организации. Они должны быть совершенно независимыми. Роль партии — это роль дирижера, а дирижер не может заменить собой весь оркестр.

Я совсем не считал свои тезисы научным открытием. Они уязвимы для критики и насмешек как с позиций более последо-

вательных демократических теорий, так и с марксистских позиций. Но я не считал это существенным тогда, не считаю это в политическом смысле принципиально важным и сейчас. Главное, что внутри тоталитарного режима, диктатуры, установившейся в 60-е годы в Чехословакии, те, на кого эта диктатура опиралась, тысячи партийных функционеров, стали относиться к ней критически. Какой бы непоследовательной, идеологически ограниченной ни была их критика, это была все же критика. И именно потому, что она отражала представления людей, служивших долгие годы диктатуре, она была весьма действенной. Постепенно и в структурах власти пробила себе дорогу идея, что дальше так жить нельзя, что в интересах социализма и коммунизма необходима политическая реформа.

Тогда, в 1968 году, я стремился проводить эти идеи, потому что они представляли ценность для десятков тысяч коммунистов, пытавшихся найти выход из положения не только для себя, но и для всего общества, видя его на путях реализации истинно социалистических и коммунистических принципов. Это не было иллюзией, и свидетельство тому — год 1968-й и затем 1970-й, когда из КПЧ выбросили полмиллиона человек, не пожелавших отречься от своих реформаторских взглядов.

Если бы не то, что значительная часть партийных функционеров в течение нескольких предшествовавших 1968 году лет на собственном практическом опыте чувствовала необходимость реформ, всем ходом развития своего мышления, идеологического восприятия была подготовлена к постепенной демократизации политической системы, не было бы и нескольких месяцев Пражской весны. Политический успех Пражской весны был обусловлен именно тем, что движение общества «снизу» и движение в партии «сверху» встретились и в значительной степени объединились. А это было бы невозможно без многолетнего воздействия реформаторского коммунизма внутри правящих диктаторских структур.

* * *

Коммунисты-реформаторы, действовавшие в коридорах

власти, не могли, разумеется, ничего сделать без ведома партийного руководства во главе с Новотным. Когда о временах Новотного говорят как о сплошном царстве мрачного сталинизма, в которое в январе 1968 года ворвался светлый луч дубчековской реформаторской политики, то истинная картина 60-х годов в Чехословакии значительно искажается. Некоторые черты режима Новотного в 1964-1967 годах в действительности были аналогичны либеральным проявлениям «кадаризации» в Венгрии конца 70-х годов.

Экономическая реформа, которую называли «новой системой хозяйственного управления», связанная прежде всего с именем Оты Шика, в те годы не была втайне проводимыми экспериментами еретиков-алхимиков. Она была одобрена партийным руководством и осуществлялась в качестве официальной линии компартии и государства. Проблема заключалась в непоследовательности при проведении экономической реформы, имевшей место из-за того, что руководство опасалось политических осложнений, потери партией контроля за ситуацией. Экономическая реформа была осуждена как «шиковский ревизионизм» руководством КПЧ только после прихода к власти Гусака (1969 г.), когда запретили даже обсуждать открыто этот вопрос.

Коммунистическая интеллигенция с 1956 года периодически подвергалась преследованиям. Проводились различные кампании, вследствие которых многих лишали возможности публиковаться или работать в научных институтах и в сфере культуры. Но такие меры, как правило, носили непродолжительный характер. Спустя некоторое время изгои снова возвращались к активной деятельности, и даже в период наибольших притеснений им давали возможность заниматься квалифицированным умственным трудом. Хотя и с цензурными ограничениями, но все же выходили «Литерарни новины», другие журналы, занимавшие откровенно критические позиции по отношению к режиму и сочувствовавшие коммунистам-реформаторам. Сотни писателей, деятелей искусства, социологов, экономистов, юристов, философов, ставших после 1970 года истопниками, чернорабочими, мусорщиками и бог весть еще кем, при Новотном работали в научных институтах в сфере искусства и с самых разных сторон подвергали режим критическому обстрелу.

Но можно ли назвать Антонина Новотного коммунистом-

реформатором? Думаю, что нет. Он действительно был своего рода наследием сталинских времен. Роль его, однако, не была однозначной, она была противоречивой и сложной. То же можно сказать и о многих других людях в руководстве того времени, о работниках партийного и государственного аппарата. После 1968 года политику реформ стали отождествлять с именами лишь нескольких руководителей этого периода, главным образом с Дубчеком и Черником. Тот же 1968 год смел с политической сцены, например, секретарей ЦК И.Гендриха и В.Коуцкого. Но я убежден, что именно они способствовали в 60-е годы распространению реформаторских идей в КПЧ в гораздо большей степени, чем многие из тех, кого эта реформа вынесла на поверхность, одарила высокими должностями. Дубчеховская реформа 1968 года, как, впрочем, и любой политический переворот, воздавала не только по заслугам. Большую роль играли личные симпатии и антипатии, за что впоследствии пришлось дорого расплачиваться.

Антонин Новотный принадлежал к «старой гвардии» коммунистов. Он был членом партии с момента ее основания — с 1921 года. До войны был функционером областного уровня. Во время войны попал в один из самых жестоких нацистских концлагерей — Маутхаузен. По свидетельству его сокамерников, Новотный зарекался, что после войны не будет иметь ничего общего с политикой, станет добрым семьянином, будет заботиться о доме и огороде. Этого зарека он не сдержал, став в мае 1945 года первым секретарем Пражского обкома партии.

Я сам помню Новотного уже по временам 1947-1950 годов. Большинство областных парторботников считало его скорее администратором, чем политиком. Областную парторганизацию тогда возглавлял И.Кроснарж, пользовавшийся большим авторитетом. Своим политическим кругозором и организационными способностями Новотного превосходили и его заместители, особенно Ф.Кригель. Многие факты свидетельствовали о том, что Новотный — человек отнюдь не проницательного ума. Выдвижение и переход на работу в секретариат ЦК КПЧ стали результатом его активности в деле «разоблачения врагов в партии» и старательности в ходе подготовки процесса над Генеральным секретарем ЦК КПЧ Рудольфом Сланским в 1951-1952 годах.

Новотный, вероятно, от рождения был лишен некоторых

свойственных нормальным людям качеств. В период моей не-продолжительной работы в прокуратуре я видел документы, проливавшие свет на невероятные дела: после казни партийных деятелей, осужденных по делу Сланского, их имущество за бесценок было распродано преемникам, выжившим в политических передрыгах. Семья Новотных (мадам Божена Новотна лично), например, по этому случаю приобрела постельное белье и китайский фарфоровый сервиз, оставшиеся после Владо Клементиса!

В Европе XX века трудно представить себе, что первый секретарь правящей партии и глава государства может спать на простынях, принадлежавших человеку, которому он сам помог взойти на эшафот. И все же это было именно так. И это не было недоразумением. Семья Новотных прекрасно знала, откуда вещи. Я разговаривал как-то в 1956 году с Лидой Клементис и узнал от нее, что этот китайский фарфор очень нравился Божене Новотной с тех времен, когда они с мужем бывали у Клементиса, тогда министра иностранных дел, в гостях. А потом, после казни Клементиса, пани Божена сервиз купила.

Я пишу об этом двадцать лет спустя не для того, чтобы вынести сор из избы, не ради того, чтобы опозорить Новотного. Мне просто представляется, что этот факт более явственно, чем любые политические исследования, показывает, осознавал ли Новотный свою моральную ответственность за политические процессы 50-х годов и каково было истинное лицо человека, который сам, уже будучи первым секретарем ЦК, выносил осужденным на новых процессах приговоры, в том числе один смертный.

Тогда же, в 1954 году, племянница Новотного, учившаяся в Москве, рассказывала в узком кругу, что Новотный как-то заходил к ее отцу на чашку кофе и во время разговора схватился за голову, всхлипнул и пожаловался: «Я не подхожу для этой должности, я не могу заниматься этой работой, у меня нет для этого способностей». Я верю, что он говорил это искренне. Он боялся нанести вред социализму, рабочему классу, занимая пост, для которого у него нет соответствующих данных. Покупка простынь Клементиса, в его понимании, с интересами рабочего класса никак связана не была, так что он это даже не брал в голову.

Новотный хотя и являлся бюрократом, скатившимся до

преступлений, но по происхождению он все же был рабочим деятелем. Он представлял собой своеобразный сплав — человека, убежденного, что коммунистическая идеология служит интересам рабочего класса, и политика, склонного к интригам, причем на практике все больше преобладала вторая составляющая.

Достигнув вершины пирамиды власти, Новотный распорядился построить рядом с замком Орлик на Влтаве «дома отдыха» для высших чинов. На участке, огороженном забором и охраняемом полицией, были воздвигнуты современные, оборудованные по западноевропейским стандартам особняки, выделенные для отдельных членов политбюро, советского посла и других «шишек». Отдельно возвышался дом, называвшийся тогда в аппарате «орлиным гнездом», где отдыхал сам А. Новотный. Это строение, однако, напоминало своим внешним видом не виллу западного капиталиста, а, скорее, сельскую избу. У избы стояла огромная пивная бочка, внутри нее — стол и стулья. По воскресеньям за этим столом Новотный и его приближенные (не по должности, а по личной привязанности) проводили время сообразно своим вкусам — играли в карты. Это, разумеется, также было проявлением своего рода снобизма, но такого уровня, который был вполне доступен и рабочему из провинции, то и дело дававшему себя знать в поступках Новотного.

В последние годы своего правления Новотный не только не сомневался в том, что он способен быть первым секретарем, но и верил, что справляется со своими обязанностями превосходно. Как-то в неофициальной беседе он сформулировал свое политическое кредо следующим образом: «Не обязательно, чтобы люди тебя любили и с тобой соглашались, главное — держать их в повиновении. В партии же основное не допустить формирования против тебя оппозиции слева. Справа — не так важно, а вот слева — никаких группировок». Это, собственно, была давнишняя концепция Макиавелли, приспособленная к новым временам: государства сохраняют себя тем, что они оберегают идею своего возникновения.

Новотный, несомненно, был политиком прагматического склада. Он даже не пытался выступать в роли творца какой-то теории или идеологии. Но партийная идеология была для него в определенной мере критерием правильности практической политики. Другое дело, что в его понимании «основные закономерности

сти истории» сводились к набору банальных, одиозных догм, почерпнутых из брошюр. И все же этот примитивный, по существу, авторитарный человек не считал сам себя последней инстанцией в определении правильности каких-либо идей и поступков, а признавал существование высших ценностей, основанных на определенных идейных принципах, не абсолютизируя власть саму по себе.

А.Новотный принадлежал к тому типу старых коммунистических деятелей, для которых партийная идеология была делом глубоко личным, высшей ценностью. Все остальное было производным: их жизнь, формирование личности, привязанности и интересы. Я знаю многих функционеров, для которых нет ничего выше партии в этом смысле. Даже после исключения из ее рядов такие заявляют: всем, что я из себя представляю, я обязан партии (сами того не подозревая, они говорят истинную правду, если вложить в эту фразу немного иронии).

Для такого типа людей идеология может стать важным критерием оценки, но лишь тогда, когда она предстает в виде официальной идеологии, отлитой в партийные директивы и установки. Во имя партийной идеологии люди такого рода могут пойти и на преступление, даже не считая это провинностью, поскольку кроме системы ценностей, основывающейся на данной идеологии, никаких других ценностей они не признают. Когда меняется официальная идеология, они готовы меняться вместе с ней, и искренне удивятся, если им кто-то поставит на вид прошлые дела. Так, например, Ладислав Копршива, старый деятель компартии (мне кажется, такого же склада, что и Новотный), будучи министром госбезопасности, активно готовил инсценированные процессы начала 50-х годов. В 1963 году, представ перед партийной комиссией, он заявил: «Да, аресты были незаконными, но тогда никто не придавал этому значения, поскольку указание о необходимости соблюдения законности было дано лишь в последующие годы».

Но если такой человек стоит на вершине иерархической лестницы и сам решает, какой должна быть официальная идеология, то вряд ли он будет склонен допустить в идеологию нечто, осуждающее его собственное прошлое. И все-таки в особых обстоятельствах может произойти и такое. На Новотного, например, повлиял ряд таких обстоятельств.

В Советском Союзе при Хрущеве, то есть в вышестоящей для Новотного и КПЧ инстанции, партийную идеологию наполнили новым, антисталинским содержанием. В результате Новотный-бюрократ сменил прежнюю ориентацию. Кроме того, если в середине 50-х годов позиции Новотного в партийном руководстве не были настолько прочными, чтобы можно было свалить вину за политический террор на других и спокойно удержаться на своем месте, то уже в начале 60-х годов в этом плане все выглядело по-иному. Двух видных деятелей готвальдовского руководства, А.Запотоцкого и В.Конецкого, уже не было в живых. Рудольфа Барака, попытавшегося использовать в своих интересах причастность Новотного к организации политических процессов, последний же с благословения Хрущева посадил за решетку. На их места в политбюро пришли «свои люди» — И.Гендрих, Д.Кольдер, М.Худик, человеком Новотного в секретариате был В.Коуцкий, поддерживал его и министр внутренних дел Л.Штроугал. Таким образом, в руководстве КПЧ расстановка сил изменилась не в пользу тех, кто нес личную ответственность за политические процессы 50-х. Именно поэтому Новотный мог позволить себе подвергнуть прошлое более основательной критике и провести более последовательно реабилитацию невинных жертв беззаконий, уже реально полагая, что его личному положению это не только не повредит, а, напротив, укрепит его. В 1963 году эти планы были проведены в жизнь. Он свалил вину на оставшихся трех последних деятелей эры Готвальда — В.Широкого, К.Бацилека и Б.Келлера, а затем пополнил Президиум ЦК новыми людьми, введя в него А.Дубчека, И.Ленарта и М.Вацулика.

Только после этого, в 1963 году положение в руководстве КПЧ стало похожим на то соотношение сил, какого Хрущев добился после устранения «антипартийной группы» Молотова, Маленкова, Булганина и Кагановича, то есть большинства бывшего сталинского политбюро. Как это ни парадоксально, Новотный достиг самой вершины своей власти именно после ликвидации в руководстве готвальдовско-сталинской группы. Только тогда Новотный перестал опасаться, что, проводя хрущевскую линию, он мог создать условия, ставящие под угрозу самого себя, только тогда он избавился от ночных кошмаров, преследовавших его на протяжении целых семи лет (с 1956 года), страхов за свою судь-

бу, над которой нависала ответственность за политические процессы. Теперь же он располагал действительно «своим» политбюро, составленным не из тех людей, что его возвели на трон, а из тех, что были ему обязаны своим восхождением.

Этот неприметно сформировавшийся новый состав руководства КПЧ предпринял принципиальный политический шаг: реагируя на экономический кризис, разразившийся в стране после провала третьей пятилетки уже к концу ее первого года (1961 г.), руководство не только не прибегло к старым, дискредитировавшим себя методам управления, а, напротив, решило пойти по пути экономических реформ и ввести «новую систему управления народным хозяйством». Суть концепции заключалась в постепенном устранении бюрократической централизации и высвобождении самостоятельной экономической активности государственных предприятий, использовании рыночных механизмов для достижения более высокой хозяйственной эффективности. Тем самым подрывалась тоталитарная система в сфере экономики, вследствие чего открывались вполне реальные возможности для постепенного реформирования и других областей общественной жизни. Позиции сторонников хозяйственных реформ были усилены дополнительными кадровыми подвижками в партийных верхах: в Президиум ЦК ввели О.Черника, Л.Штроугал стал секретарем по сельскому хозяйству.

Таким образом, уже за несколько лет до 1968 года новотновское руководство КПЧ состояло из людей, в большинстве своем понимавших необходимость реформ и перемен для дальнейшего развития Чехословакии. То же можно было сказать и о многих работниках партаппарата, состоявших на службе у этого руководства. Сама идея реформ, убежденность в неизбежности преобразований старой системы управления общественными делами определяли атмосферу, царившую в тот период в структурах власти. Какими были представления о содержании перемен у отдельных членов руководства и в аппарате — это другой вопрос. Преобладало, естественно, желание ограничиться в процессе реализации реформ лишь такими шагами, которые бы не поставили под угрозу их собственную власть. В этом-то и заключалась главная проблема, создававшая ситуацию, когда о реформах больше говорили (преимущественно за закрытыми дверями), чем делали по существу. Цель таких дискуссий зача-

стью сводилась к подбору аргументов в пользу того, чтобы не предпринимать тот или иной шаг, предлагаемый реформаторами (по крайней мере, не в данный момент или не в том виде). Но, несмотря на все это, ни партийное руководство, ни аппарат не ставили под сомнение то, что реформирование, в том числе и политической системы, пусть не сразу, пусть в каком-то ином виде, провести необходимо.

Я полагаю, что так думал и сам Новотный. Когда он убедился, что ему удалось не только сохранить, но и укрепить свое положение на хрущевской идеологической и политической платформе, он начал искренне исповедовать эту веру. Она стала для него теперь критерием, которым проверялись все практические дела. Обращение Новотного в хрущевскую веру, однако, произошло уже слишком поздно, так как в конце 1964 года сам Хрущев был свергнут.

Как известно, Новотный и его политбюро совершили тогда нечто невообразимое — они выступили против методов, с помощью которых Брежнев провел антихрущевский переворот. Этот протест до сих пор нередко воспринимается как комический эпизод. Я же считаю, что этот бунт ранее всегда послушного вассала показывает, что принятие им в конце 1963 года хрущевской линии было для него настолько серьезно, что он решился защищаться, когда увидел, что новый политический поворот Москвы ставит под угрозу его собственные начинания.

Таким образом, с 1964 года сложилось совершенно парадоксальное положение: при Новотном, которого все считали послушной марионеткой Москвы, в чехословацком обществе, в КПЧ и правительственных органах стала набирать силу открытая критика сталинизма, в то время как камарилья Брежнева все больше от нее отказывается, подавляет и даже реставрирует ряд элементов сталинщины. В результате между Новотным и московским руководством стали углубляться внешне невидимые противоречия.

Новотный почувствовал недоброжелательность к нему Брежнева и осознал нависшую над собой угрозу. В 1967 году он, похоже, попытался заручиться в Москве поддержкой других влиятельных лиц и сблизился с группой маршалов вокруг командующего войсками Варшавского Договора Якубовского. В 1967 году положение самого Брежнева еще было не особенно устойчивым,

так что некоторые вассалы в других странах делали ставку на альтернативные группировки в правящей советской иерархии. У Новотного желание сохранить власть вновь стало доминировать над приверженностью хрущевским идеям. Он стал «закручивать гайки», допустил ряд выпадов против писателей и других интеллектуалов, против своих критиков в самом ЦК, не гнушаясь и полицейскими преследованиями.

В армии и органах госбезопасности в этот период возросло влияние групп, ориентировавшихся на московских «ястребов». Во главе их стоял в аппарате ЦК заведующий административным отделом Мирослав Мамула. Брежнев следил за происходящим в Чехословакии с растущим недовольством. Когда же в декабре 1967 года Новотный пригласил его в Прагу, надеясь на поддержку против оппозиции в ЦК КПЧ, Брежнев произнес свои знаменитые слова: «Это ваше дело», развязавшие руки противникам Новотного. Вряд ли Брежнев решил поддержать чехословацкую оппозицию ради чего-то похожего на грядущую Пражскую весну, которую он же и задушил танками. Этому может быть лишь одно объяснение: Брежнев хотел заменить Новотного, поскольку тот перестал быть послушным и удобным орудием его политики (из разговоров окружения Брежнева с сотрудниками аппарата Новотного мне стало известно, что в декабре 1967 года, еще до отъезда в Прагу, Брежнев спрашивал у своего помощника, кто, собственно, в Чехословакии второе лицо. Тот ответил, что это пока не ясно. «Хорошо», — заключил Брежнев, вероятно, полагая, что не так уж важно, кто это в конце концов будет — Гендрих, Ленарт, Дубчек или кто-то еще. Брежнев не изменил своего настроения и после личных встреч с чехословацкими руководителями. Отсюда и благосклонные слова: «Это ваше дело»).

Новотный был человеком необразованным, что он пытался восполнять бессистемными знаниями по разным проблемам, почерпнутыми им из практики работы на партийных должностях. Иностранные слова в его докладах всегда печатали в фонетической транскрипции, чтобы избежать конфузов. У Новотного из-за этого развился характерный для таких людей комплекс. Он мстил каждому, кто на его необразованность осмеливался намеками обращать внимание других. Однако этот комплекс имел и положительную сторону: Новотный с уважением относился к об-

разованию, был убежден, что для коммуниста знания и науки необходимы. Он был груб с интеллигентами, преследовал их и все же питал к ним почтение. Он любил общаться с видными представителями творческой интеллигенции, организовывать встречи с писателями и художниками. Они проходили в замке в Ланах, где до второй мировой войны встречался с интеллигенцией президент Томаш Масарик.

Новотный много раз выступал как ярый политический противник интеллектуалов реформаторского толка, особенно если они отказывались подчиняться его указаниям и отвергали его диктат. И тем не менее, он пытался склонить их на свою сторону, на «сторону партии», а не просто подавить и вытеснить вообще из политической жизни. Новотный хотел, чтобы интеллигенция была чем-то вроде украшения его власти и в то же время «орудием строительства коммунизма». В зависимости от того, удавалось ли это, или же в его понимании интеллектуалы вели себя порочно, менялся и политический тон Новотного в отношении интеллигенции — от похвал, подкупа и наделения привилегиями до запугивания и репрессий.

На практике новотновскую политику в отношении интеллигенции проводили, разрабатывали и видоизменяли секретари ЦК КПЧ Иржи Гендрих и Владимир Коуцкий. В отличие от Новотного, у Гендриха и Коуцкого было высшее образование. Оба были неглупы и уж, конечно, гораздо интеллигентнее Новотного. Коуцкий, как мне кажется, вообще из всего новотновского руководства был самым интеллигентным. Он когда-то изучал логику и математику, мог размышлять в абстрактных категориях, владел несколькими иностранными языками, лучше других ориентировался в происходящем в мире, в сфере культуры. Оба начинали политическую карьеру в качестве журналистов: Гендрих еще до войны, а Коуцкий во время войны в выходившей тогда нелегально газете «Руде право». В сталинские 50-е они еще не принадлежали к высшему партийному руководству. Практическое влияние на политику начали оказывать после 1956 года и свои дальнейшие перспективы и карьеру связывали с хрущевской линией.

Гендрих и Коуцкий принадлежали к числу тех, кто в 60-е годы формировал новотновскую политику со всеми ее противоречиями, чье влияние прежде всего сказывалось на трансформации этой политики в прохрущевскую. Бесспорно, они были

«людьми Новотного», тот назначил их на должности, ввел в высшую партийную элиту. Какие-то перспективы были у них и после отставки Новотного. Более того, его уход мог им пойти и на пользу, если бы только сохранилась преемственность политического курса.

Не только с их ведома, но и при их поддержке в 60-е годы в КПЧ распространялась идеология реформаторского коммунизма. Если бы в свое время Гендрих не защитил Р.Рихту, тот вряд ли смог бы разрабатывать в своей исследовательской группе проблемы научно-технического прогресса в их политическом преломлении и воздействовать в реформаторском духе на официальную идеологию. Без поддержки Гендриха и Коуцкого я не мог бы популяризировать свою концепцию реформы политической системы, и вообще едва ли была бы возможной деятельность политологической группы, подготовившей в 1967 году концептуальные разработки по этой проблеме. А поскольку идеи, вызревшие в рабочих группах, вошли затем в апрельскую «Программу действий КПЧ», то нельзя не признать, что и ее в том виде, в каком она появилась на свет, не было бы, если бы Гендрих и Коуцкий еще в период правления Новотного не способствовали формированию в партии течения соответствующей идеологической направленности.

Почему же тогда Пражская весна убрала с политической сцены Гендриха и Коуцкого, оставив на постах, например, Кольдера и Штроугала, которые во времена Новотного тоже были секретарями ЦК, или Ленарта, бывшего тогда председателем правительства? Почему Пражская весна возвысила до положения национальных героев Дубчека и Черника, которые при Новотном входили в политбюро? Ответ, мне кажется, совсем прост. Внутрипартийный переворот, приведший к устранению Новотного, вначале проходил так, как это всегда происходит в условиях тоталитарного режима с его кабинетной политикой — за закрытыми дверями секретариатов в подобию борьбы партийной бюрократии за власть. Как и все перевороты такого рода, он принес в жертву тех, против кого была настроена общественность, чтобы спасти других, кого общественность просто мало знала. Гендрих и Коуцкий на протяжении многих лет были проводниками официальной партийной политики, непопулярные меры против органов печати, писателей, деятелей искусства и культуры,

широко известные случаи преследования за критику связывались именно с их именами. Было ясно, что новому руководству не получить поддержки оппозиционно настроенной партийной интеллигенции, журналистов, если оно не уберет этих скомпрометированных политиков. Кроме того, уход Гендриха и Коуцкого отвлекал внимание от некоторых других деятелей, их политического лица, перипетий карьеры. Восхождение В.Биляка, А.Индры, М.Якеша не вызвало сопротивления со стороны тех, кто считал своей победой падение Гендриха и Коуцкого.

За четыре года работы в юридической комиссии ЦК КПЧ я узнал Коуцкого очень хорошо. Я вспоминаю не один конкретный случай, когда он действовал явно вопреки своим убеждениям и совести. Этот человек, будучи в восторге от творчества Вацлава Гавела (я помню, как он хвалил одну из его пьес), публично разносил многие литературные произведения и кинофильмы в угоду официальной идеологии. Более того, иногда он перед самым открытием художественных выставок собственноручно снимал со стен «идеологически вредные» картины. А вот у себя в квартире он украшал комнаты полотнами не социалистических реаллистов, а самых современных художников.

В чехословацком партийном руководстве Коуцкий был единственным человеком, возлагавшим еще в середине 60-х годов надежды на эволюцию коммунистической партии Италии, полагая, что в течениях, которые было принято впоследствии называть еврокоммунизмом, реформы в Чехословакии могут приобрести мощную опору. Идею взаимной поддержки коммунистических партий европейских государств, правящих и неправящих, он считал важной с точки зрения интересов чехословацких реформаторов. Однако для общественности же Коуцкий оставался знаменосцем промосковского «пролетарского интернационализма».

Свой характер и совесть Коуцкий сознательно принес в жертву политическому расчету. Он, являясь долгие годы лишь секретарем ЦК, рвался в члены Президиума ЦК. Ради восхождения на эту последнюю ступеньку служебной лестницы Коуцкий при Новотном выполнял роль мавра, занимался «грязной работой» в сфере культуры, науки, среди интеллигенции. Политика для него в такой степени была кабинетным делом аппарата власти, что он перестал ощущать предел, за которым уже не попра-

вить сделанное ради карьеры. Предел, за которым общественность перестает интересоваться, какие у политика взгляды, поскольку на практике видно — он готов против своих убеждений и совести совершить все что угодно.

В апреле 1968 года, еще до пленума, на котором его сняли с должности, Коуцкий разговаривал со мной о том, не стоит ли ему самому уйти с поста. Было видно, что он совершенно не владеет ситуацией, он задавался вопросом, почему именно сейчас, когда проводится реформа, к которой он стремился и которую готовил, он вдруг должен уходить. Почему именно сейчас, когда международные аспекты политики КПЧ приобретают особо важное значение, он, человек опытный и имевший контакты в этой сфере, как никто другой, должен быть от всего отстранен? Он искренне отказывался понимать, почему это он не может быть секретарем по международным вопросам только из-за того, что его плохо воспринимают коммунисты, работающие в научных институтах, писатели, деятели искусства и журналисты, и из-за его непопулярности среди некоторых слоев ввиду причастности к прошлой антисловацкой политике Новотного.

Я советовал ему лучше уйти, но сам испытывал при этом противоречивые эмоции. Я знал, что Коуцкий отнюдь не убежденный сталинист и что он действительно мог бы сделать для реформы много полезного. Но я также понимал — ему просто не удержаться на посту. Коуцкий подал в отставку и был отодвинут на задний план — его направили послом в Москву. Тогда это означало уход из политической жизни, так как связь между Прагой и Москвой осуществлялась не через посольство. К тому же Коуцкий не пользовался доверием ни той, ни другой стороны.

Даже после 1968 года Коуцкий так ничего и не понял. В январе 1969 года он первым предложил отменить постановление Президиума ЦК КПЧ от 21 августа 1968 года, осудившее военное вторжение СССР как акт, противоречащий международному праву. Я не сомневаюсь ни в малейшей степени, что он не считал интервенцию законной. Однако он рассчитывал такой ценой добиться своего возвращения на политическую арену. Он так и не осознал, что, греша против совести, не получить поддержки тех, кто также поступился ею или не имел ее вообще, но зато уже имел власть. Ими Коуцкий или любой другой на его месте мог восприниматься лишь как нежелательный конкурент в борьбе за

место под солнцем.

Подобно Коуцкому, и Гендрих пал жертвой собственных политических расчетов. Гендрих был мастером политических компромиссов, но только не в открытой политике, а в кулуарах власти. В аппарате о нем говорили как о человеке, способном «превратить ежика в мячик», сгладить любые острые углы. Перед публикой, в том числе и партийной, Гендрих выступал как главная опора и проводник новотновской линии в КПЧ. Остроту крюка, на котором он сам завис после января 1968 года, Гендрих уже притупить не смог. Но свое положение он осознавал лучше, чем Коуцкий, он смирился с ним и вышел на пенсию. Гендрих не пытался что-то в этом смысле менять и после советской интервенции.

По прошествии лет, когда уже появилась на свет «Хартия 77», один из подписавших ее как-то встретил Гендриха в самый разгар кампании против хартистов. Реакция Гендриха была незатейливой: «Вам все еще мало? Донкихоты, донкихоты!»

Жизнь всегда разнообразней и парадоксальней, чем упрощенная схема. Это относится и к периоду властвования Новотного. Движение за реформы в КПЧ в 60-е годы не было единым монолитным течением. Реформаторы, однако, как бы негласно определяли атмосферу в обществе и в коридорах власти.

Во время Пражской весны я был как раз среди «верхов», среду которых я не только близко узнал, но и старался трансформировать. Мир власть имущих также был составной частью Пражской весны. Однако в реальности он выглядел менее возвышенно, чем тот образ, который с его же соизволения рисовали газеты или телевидение.

ГЛАВА 2

ПРАЖСКАЯ ВЕСНА СРЕДИ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ

В 1968 году журналисты, торопившиеся дать оценку истории так быстро, чтобы она тут же попала в утренние газеты, поделили для простоты коммунистов периода Пражской весны на прогрессивных, центристов и консерваторов.

Меня обычно причисляли к центристам, против чего я не очень-то возражал, понимая, какими соображениями они при этом руководствовались. Ведь я отстаивал право государственной власти ограничивать свободу печати, когда этого требовали интересы государственной политики, но в случаях, четко оговоренных законом, и обязательно через судебные органы. Я выступал против того, чтобы уже весной 1968 года образовывались новые партии. Я был за скорейший созыв партийного съезда и проведение выборов, хотя многим казалось, что, напротив, все это нужно отложить, так как в ином случае будет преждевременно остановлено бурное развитие демократических процессов.

Позднее, когда на политическую сцену вышли советские танки и когда многие вчерашние «гиганты» на проверку оказались карликами, я не раз потешался, наблюдая за трансформацией некоторых еще недавно всеми признанных «прогрессивных»: Олдржиха Черника, Честмира Цисаржа, Густава Гусака, Радована Рихты или Иржи Шотолы, не говоря уже о ряде «прогрессивных» деятелей в Словакии.

И все же свои воспоминания о 1968 годе я начинаю именно с этого, хотя, как вы, наверное, почувствовали, не без известной доли горечи. Чувство горечи обусловлено, однако, не личными мотивами, а соображениями принципиального порядка: меня огорчало тогда и продолжает огорчать до сих пор, что так мало людей воспринимает политику как искусство возможного, тем более в той ситуации, когда можно было изменить многое, но при этом просто немыслимо было за ночь расчистить загроможденные годами национальные «авгиевы конюшни», превратив их по мановению волшебной палочки в рай земной. Меня огорчало и огорчает, что так много интеллигентных, честных, самоотверженных людей пытаются сделать в таких ситуациях неосуществимое, теряя возможность улучшить то, что было действи-

тельно реально возможным. А после похмелья перебирают осколки разбитых надежд, сокрушенно вздыхая, что все могло бы быть иначе, если бы...

И все же с самого начала я открыто говорю: теперь, много лет спустя, я вовсе не уверен, что моя тогдашняя позиция была панацеей на все случаи политической жизни. Сегодня я отнюдь не убежден, что если бы события развивались в соответствии с моими представлениями, то удалось бы достичь всех целей, которые я перед собой ставил. Наверное, и этого бы не получилось, и в Чехословакии было бы меньше демократии, чем тогда казалось возможным. Выяснилось бы, например, что реформаторский коммунизм не является оптимальным путем развития. Тем не менее чехи и словаки, вероятно, жили бы в условиях, в которых оптимальное решение было бы искать легче. А жизнь их, будничная, повседневная жизнь, где решаются отнюдь не одни только мировые проблемы, в большей степени соответствовала бы образу жизни Европы XX века, чем это имеет место сегодня.

Возможно, я ошибаюсь и в этом. Возможно, что реформы даже в тех пределах, которые я считал реальными, все равно явились бы достаточным поводом для «братской помощи» Москвы. В таком случае ситуация была бы хуже, чем она есть. У народа даже не было бы воспоминаний о времени, когда казалось, что сказку можно сделать былью. Стало бы лишь очевидным, что Москва готова подавить не только попытку установления плюралистической демократии, в условиях которой и коммунисты должны были бы пройти через чистилище свободных демократических выборов, а даже и такие реформы, в результате которых коммунисты по-прежнему оставались бы у власти, но без навязанного Кремлем тоталитарного режима.

Однако довольно пророчеств, вернемся к реальностям. Я хочу рассказать о 1968 году не с позиций некоего объективного анализа обстановки, а так, как ее видел лично я. Как и в рассказе о предшествовавшем периоде, я смогу, разумеется, охватить лишь небольшой фрагмент общественной и политической жизни того времени, останавливаясь исключительно на том, что мне самому представляется наиболее существенным.

* * *

Для меня лично падение Новотного было неожиданностью. Я предполагал, что перемены в руководстве произойдут где-то накануне съезда, намеченного на 1970 год. Было ясно, что смена будет произведена не на самом съезде, поскольку съезды правящих коммунистических партий традиционно лишь подтверждают факт свершившихся переворотов. Новый руководитель также использует съезд для формирования «своего» ЦК. Согласно этим расчетам я с начала 1967 года и планировал работу нашей исследовательской группы в академии наук. Мы намеревались к съезду подготовить ряд предложений для нового руководства страны, которые бы дали импульс демократизации политической системы.

К январю 1968 года наша научная группа проработала неполный год. Но у нас уже были общие, представления о проблемах, подлежащих решению в плане теории и практической политики, исходя из того, что начавшаяся экономическая реформа должна сопровождаться реформой политической. Нам уже тогда было ясно, что реформа политической системы должна разрушить тоталитарный режим, без чего она просто теряет смысл. У меня уже тогда сложилось представление о том, какие практические шаги могли бы вести к кардинальной реформе. Единственно возможным, по моему мнению, был такой переход от тоталитарной системы к плюралистической демократии, при котором правящая коммунистическая партия, несмотря на свой вчерашний монополизм и диктаторство, сохраняла бы гегемонию до тех пор, пока не сформируются и начнут действовать механизмы демократической системы. Но это, однако, было большой проблемой.

Я знаю, что найдется немало людей, которые решение этой задачи будут считать в принципе неосуществимым, так как она-де равнозначна проблеме квадратуры круга. Я этой точки зрения не разделял. Да и сегодня не считаю данную проблему неразрешимой ни при каких условиях. Если можно было преобразовать систему фашистской диктатуры Франко в демократическую без того, чтобы вспыхнуло народное восстание, то такая возможность просто должна существовать и применительно к диктатурам сталинского типа. Но для этого необходимо наличие целого комплекса благоприятных внутривнутриполитических и международных условий. В Чехословакии же в 1967 году, как пред-

ставляется, было немало внутренних предпосылок экономического, социального, правового и исторического характера для успешного проведения подобного эксперимента.

В то время проводившаяся в стране экономическая реформа создавала благоприятные условия и для перемен в политической сфере. Здесь надо выделить четыре главных аспекта. Прежде всего устранялась потребность в колоссальном государственном аппарате, директивно направлявшем каждый шаг хозяйственной деятельности. Теперь стало возможно постепенно преобразовывать этот аппарат, за исключением органов перспективного планирования, в административный аппарат предприятий и объединений и отделить его от политических, государственных органов. С этим была тесно связана перспектива отделения правящей партии от директивного руководства экономикой, что, в свою очередь, привело бы к сокращению раздутого партийного аппарата, поскольку вмешательство в хозяйственные дела составляло львиную долю содержания его деятельности. Вследствие таких перемен коммунистическая партия как общественный организм начала бы больше заниматься собственно политической, программной работой. Экономическая реформа, преобразующая социалистические предприятия в самостоятельные субъекты хозяйственной деятельности, подчиненные законам рынка и эффективности производства, закономерно увеличивала спрос на квалифицированных специалистов и требовала повышения их ответственности. При этом степень профессионализма кадров приобретала большее значение, чем их «политическая благонадежность», а это уже само по себе подтачивало фундамент тоталитарного режима. Ведь когда диктатуру лишают возможности предоставлять привилегии и обеспечивать сносные жизненные условия кому-либо в зависимости от «политической благонадежности», рушится одна из ее главных опор. Наконец, экономическая реформа в новую плоскость переводила вопрос о роли профсоюзов и трудовых коллективов самостоятельных предприятий в управлении их делами, так как коллективы теперь могли бы испытать непосредственно на себе, на собственных доходах последствия ошибок руководителей. Поэтому они должны были получить в какой-то форме право на создание органов рабочего самоуправления на производстве.

В социальной структуре общества не было ни одного клас-

са или слоя, который в силу своего социального положения находился бы в непримиримом противостоянии другому классу или социальной группе, а потому нуждался бы в тоталитарной системе для защиты своих интересов. Даже о бюрократическом аппарате в целом этого уже нельзя было сказать — его подавляющее большинство было связано со сферой экономики и социальных услуг и его привилегии не зависели от тоталитарной системы. Демократическая система не требовала бы ликвидации бюрократии как таковой, напротив, она, сняв критерии «политической благонадежности», улучшила бы положение многих управленцев. С тоталитарным режимом были неотделимо связаны лишь привилегии узкой прослойки политического аппарата, сильного именно своей властью, а не значимостью для нормального функционирования общества.

Благоприятные предпосылки для демократизации создавало в те годы типичное для Чехословакии относительное социальное равенство. Большинство населения составляли поколения, значительная часть жизни которых прошла под влиянием общественно-политического климата послевоенного и послефевральского периода. Поколение, в политическом и общественном отношениях доминировавшее во времена до 1948 года (тогдашние сорокалетние), было уже в пенсионном возрасте. Поэтому конфликты между возможными победителями и побежденными не грозили вылиться в мощный деструктивный фактор в случае ликвидации политической диктатуры КПЧ. Столь же малозначительным было и участие всех социальных слоев в управлении властных функций. Поэтому от демократизации политических структур выигрывали все слои общества, терял лишь узкий слой правящей партийной и государственной бюрократии.

И с исторической точки зрения многое говорило в пользу демократических реформ. Тоталитарная система была чуждой, извне (из СССР) импортированной системой, отечественная же историческая традиция тяготела к плюралистическому, демократическому обществу, по крайней мере последние пятьдесят лет.

Развитость политологии и государственно-правовых наук также создавала неплохие возможности для проведения демократических реформ. Действовавшие конституционные и правовые нормы позволяли осуществить целый ряд серьезных шагов в направлении создания правового государства. Они формули-

ровались так широко, что могли толковаться как в пользу тоталитарной системы, так и в пользу правового государства. Собственно вся система разделения власти и контроля над ней могла бы практически развиваться в рамках, определенных конституцией для выборных представительных, исполнительных и судебных органов. Ведь согласно букве закона суды независимы, а все исполнительные органы, включая правительство, подчинены выборным представительным органам парламентского типа. Соблюдая эти формальные нормы на практике и изменив избирательную систему, можно было ощутимо подорвать тоталитарный режим, даже не ставя изначально вопрос о многопартийной системе.

Такого рода реформы, дополненные созданием структуры органов самоуправления предприятий в экономической сфере, активной деятельностью профсоюзов и других общественных организаций, представлялись мне реальными и действенными. Я полагал, что после того как реформированная политическая система профункционирует некоторое время, жизнь сама покажет, как надо действовать дальше.

Правовая и политологическая база также позволяла расширить на этих путях гражданские и политические права отдельных индивидуумов. Для этого достаточно было соблюсти уже существовавшие правовые нормы. Необходимо было внести изменения, скорее, в практику толкования законов, в соответствии с которой до сих пор при столкновении интересов учреждений и отдельных граждан право было исключительно на стороне государственных органов. Нужно было внести принципиальные поправки в некоторые положения законодательства, регулирующего круг вопросов, связанных со свободой слова и передвижения (например, нужно было отменить некоторые статьи в уголовном кодексе, ограничивавшие эти свободы, ввести норму, обеспечивающую право на получение паспорта для поездок за рубеж, и т. д.).

Весьма серьезные политические проблемы уже на теоретическом уровне возникали, однако, вокруг реализации принципов свободы печати и свободы объединений. Их фундаментальное значение в процессе перехода от тоталитарной системы к демократической было бесспорным. Речь лишь шла о том, как осуществить их в переходный период, когда еще вообще не ста-

вился вопрос о многопартийности. Размышления о политической реформе в этом пункте наталкивались на два основных препятствия, которые в тот период не удалось до конца прояснить даже в теоретической плоскости. Это проблема монополюно правящей политической партии и проблема международных последствий, которые возможная реформа могла вызвать в других странах советского блока.

Об обеих проблемах участники теоретических дискуссий не только знали, но и пытались найти приемлемое решение. Все это, однако, обсуждалось в кулуарах, без составления каких-либо документов, без записей. В 1967 году заниматься такими вопросами официально, предлагать их в качестве темы для открытого обсуждения в исследовательском институте означало бы поставить под вопрос само существование целого научного коллектива.

Какой точки зрения в то время придерживался я?

Я был коммунистом-реформатором, а не демократом некоммунистического толка. Я этого не скрывал тогда и не вижу нужды скрывать это сейчас. У меня не было ни политических, ни идеологических мотивов стремиться к отстранению КПЧ от власти. В то же время согласно своему пониманию коммунизма и социализма я считал необходимым ликвидировать тоталитарную систему, при которой единственной правящей политической силой в стране выступает компартия, удерживающая монополию на власть и применяющая диктаторские методы. Я же был за то, чтобы коммунистическая партия осуществляла свою власть в рамках плюралистической демократии, а не в диктаторской системе.

Я считал, что вопрос о других политических партиях, которые бы соперничали с КПЧ на выборах, нельзя поднимать, пока не проведены демократические преобразования политической системы. Преждевременная многопартийность означала бы угрозу срыва преобразований, поскольку обладающая монополюной властью компартия, десятки тысяч ее активистов тут же сосредоточились бы не на реформах, а на спасении собственного положения. Опасаясь поражения на выборах, партия бросила бы все силы на защиту старой системы.

Я считал, что важнейшее значение для удовлетворения насущных потребностей общества имеют иные формы контроля

и политического влияния, чем те, которые способны обеспечить партии. Даже в развитых системах плюралистической демократии возможности политических партий в плане реализации действительного народного контроля довольно ограничены. Это очевидно и в сфере чистой политики, но особенно явно проявляется при решении вопросов, требующих профессиональных знаний, квалифицированного анализа сути проблем.

С точки зрения развития социализма я полагал наиболее существенным, чтобы утвердились следующие нормы общежития и управления обществом: чтобы профсоюзы и другие организации, представляющие интересы той или иной группы населения, стали реальной силой наряду с органами самоуправления на предприятиях и в других областях общественной жизни, чтобы они вместе оказывали влияние на принятие государственных и политических решений. По моим представлениям, выборные органы социалистического государства должны были отличаться от буржуазно-демократического парламента прежде всего тем, что депутаты представляют не только политические партии, но и другие организации — главным образом, органы самоуправления. Более того, в парламенте могли бы быть даже особые палаты, состоящие из депутатов от органов самоуправления.

Эти преобразования в процессе осуществления политической реформы казались мне не только более значимыми, но и более реальными, чем организация демократических выборов, после которых к власти пришла бы другая политическая партия, которая стала бы проводить демократизацию. Я считал более надежным реформировать старую систему во главе с КПЧ, ибо партия сама все больше осознавала, что переживает глубокий кризис. Всегда сказывающийся на политике инстинкт самосохранения мог в те годы направить чехословацких коммунистов именно по этому пути, который в конечном счете привел бы к трансформации не только системы, но и самой компартии, что означало бы крах главных опор тоталитарной системы. А когда новый механизм иной, более демократической власти уже стабилизировался бы и стал функционировать, можно было бы ставить вопрос о переходе к многопартийной системе. При таких условиях она могла бы стать элементом, прочно гарантирующим переход к плюралистической демократической системе, а не политическим шагом, который развязал бы скорее борьбу за овла-

дение существовавшим недемократическим механизмом управления обществом, победу в которой могла одержать другая, пусть и некоммунистическая партия.

Мне было понятно, когда о многопартийной системе говорили те, кто вообще не верил в возможность реформ под руководством коммунистов и стремился к самостоятельной политической игре, независимой от КПЧ. Но я не мог понять, почему за нее ратовали некоторые коммунисты-реформаторы, разделявшие общую концепцию политической реформы. Я не понимал также, как могут эти люди, принадлежащие к моему поколению и обладающие таким же опытом в политике, рассчитывать, что не только Биляк и «консерваторы», но и даже сам Дубчек и «прогрессивное» крыло партийного руководства согласятся начать свои реформы со свободных выборов, на которых в качестве конкурента КПЧ будет выступать новая, не обремененная прошлыми грехами партия. Сложно было объяснить, как эти люди, искушенные в политике и партийной работе, могли быть столь наивными как в понимании политики вообще, так и во взглядах на собственную партию. Ни тогда, ни сейчас я не причислял это к их достоинствам.

Что же касается другой важной политической проблемы — международных взаимосвязей и последствий политической реформы в Чехословакии, — то мы в нашей аналитической группе уже в 1967 году пришли к заключению, что для проведения любой реформы необходима благосклонность Кремля. Но тогда в практическом ключе этот вопрос еще не вставал, а потому ограничивать анализ и теоретические дискуссии поправками на кремлевскую реакцию не имело смысла. Внутренние размышления никакого вмешательства Москвы, разумеется, вызвать не могли, а что будет на практике, когда реформа начнет осуществляться, мы вообще предсказать не могли, поскольку все зависело бы от конкретных условий, в том числе от личности, которая в данный момент будет у руководства в Советском Союзе.

С самого начала нашей научной работы я понимал значение возможной реакции Москвы и потому весной 1967 года поехал в Советский Союз. Я хотел выяснить, чего можно ждать от советских идеологов. Во время этой поездки я выступил с лекцией в московском Институте государства и права Академии наук СССР, изложив основные тезисы реформы политической систе-

мы, над которыми мы в то время работали. В официальных и неофициальных беседах с учеными и работниками партийного и государственного аппарата я обговаривал ряд конкретных вопросов, которые вставали перед нами в рамках концепции политической реформы.

Большинство людей, с которыми я встречался официально, реагировали сдержанно: они находили мои идеи «интересными», но не уточняли — в положительном или отрицательном смысле. Представители высших академических кругов, занимавшиеся вопросами идеологии, отвергали концепцию целиком. Так, например, директор института академик Чхиквадзе в дискуссии после моей лекции задал «провокационный» вопрос, чем моя концепция отличается от обычного буржуазного плюрализма. Тем, ответил я, что в моей концепции речь идет о плюралистическом социалистическом обществе, и этот плюрализм предполагает наличие политических организаций трудящихся, а не буржуазии. Что же касается некоторых конкретных областей, в частности механизма его функционирования, то здесь различий нет никаких, и я бы только приветствовал, если бы уважаемый академик уточнил, в чем, какие и почему должны быть здесь различия.

Товарищ академик на это, конечно, ничего не ответил: у него перехватило дыхание от того, что такие жуткие понятия, как «буржуазный плюрализм», уже сами по себе, оказывается, не являются исчерпывающим аргументом, не требующим дальнейшего обсуждения. Негативно была воспринята и идея отделения хозяйственного аппарата от партийного и государственного. Это уже, по существу, была критика чехословацкой экономической реформы, а значит, и официальной партийной линии.

В неофициальных же беседах высказывались совсем другие мнения. Мои советские собеседники (многих из них я знал со времен моей учебы в Москве) считали, что в Советском Союзе о наших концепциях даже говорить не стоит, во всяком случае, в ближайший период. Но они считали чрезвычайно важным, чтобы реформы в Чехословакии увенчались успехом. Тогда, возможно, и в Советском Союзе удастся провести назревшие преобразования, пойти по пути демократизации. Брежнев находился тогда у власти всего два с половиной года, и у моих собеседников, даже из партийного аппарата, преобладало в то время мнение, что он

«халиф на час», поскольку ни одна из соперничавших в партии группировок еще достаточно не укрепились, чтобы полностью захватить власть. Многие надеялись, что победят сторонники рациональной линии, опирающиеся на профессионалов, и это приведет к демократизации. Нередко такие надежды связывались с личностью Шелепина. О Хрущеве никто не сожалел. Его политику молодые работники партаппарата считали невзвешенной, непродуманной, метавшейся в экспериментах в виде постоянных волюнтаристских реорганизаций во всех сферах общественной жизни. Только изредка высказывалась точка зрения, что в СССР демократизация невозможна. Один из моих бывших сокурсников, придерживавшийся этой позиции, обосновал ее как-то такими выразительными словами: «То, чего ты хочешь, у нас исключено. Они просто перережут нам глотку». «Мы» означало советскую бюрократию, «они» — советский народ.

Я вернулся в Прагу с убежденностью, что дело в целом не так уж плохо, что в будущем и в Советском Союзе демократизация возможна. Было ясно при этом, что нам придется продолжать свою работу, не рассчитывая на поддержку советских теоретико-идеологических учреждений, от руководящих кругов которых можно ждать лишь раздраженной реакции. Те же, кто сочувствовал нашим реформам, хотя и были в большинстве, пока не занимали официальных постов, не располагали властью. Я надеялся, однако, что к 1970 году положение в Советском Союзе может измениться в лучшую для нас сторону. Как выяснилось позднее, это оказалось одним из самых ошибочных прогнозов во всей моей жизни.

Исходя из соображений о возможностях осуществления чехословацкой политической реформы, я вошел в январе 1968 года в «рабочую группу», задача которой состояла в подготовке политического документа, вошедшего в историю как «Программа действий КПЧ». 5 апреля этот документ был утвержден ЦК Компартии Чехословакии в качестве официальной программы «Пражской весны».

«Программа действий КПЧ» 1968 года была разработана «рабочими группами», состоявшими из сотрудников научно-исследовательских институтов и вузов. Президиум ЦК КПЧ создал для подготовки программы «политическую комиссию» из членов Президиума, секретарей ЦК и других ответственных пар-

тийных работников под председательством Д.Кольдера, но в работе над текстом программы никто из них участия не принимал. Кольдер встречался с теми, кто работал над программой, дважды. Во время одной из встреч он предложил ужать текст программы примерно страниц до десяти. Кольдер упомянул при этом, что он уже договорился с писателем Яном Прохазкой, и ему нужно дать подготовленные материалы для окончательной обработки. Брежнев не без оснований спрашивал осенью 1968 года у Шимона в Москве, кто, собственно, написал «Программу действий КПЧ». Шимон ответил, что для этого была создана комиссия во главе с товарищем Кольдером, но Брежнев возразил: «Я спрашиваю не об этом. Я хочу знать, кто ее написал на самом деле».

Вот имена авторов окончательного текста «Программы действий КПЧ». Часть I — «Путь Чехословакии к социализму» — Я.Фойтик, К.Каплан, Р.Рихта. Часть II — «За развитие социалистической демократии, за новую систему политического руководства обществом» — З.Млынарж. Часть III — «Народное хозяйство и уровень жизни» — Б.Шимон и А.Червинка при участии нескольких экономистов (О.Шик, К.Коуба и др.). Часть IV — «Развитие науки, образования и культуры» — Р.Рихта, С.Провазник вместе с рядом готовивших рабочие материалы авторов из сферы образования, академии наук, Союза писателей. Часть V — «Международные позиции и внешняя политика ЧССР» — П.Ауэрсперг.

Таков был состав главной рабочей группы, которую в организационном плане возглавлял Ауэрсперг и которая работала в его кабинете в редакции журнала «Проблемы мира и социализма».

В тексте программы нашли отражение многие мои взгляды. Новая обстановка уже не вынуждала меня осторожно «протаскивать» свои формулировки, я старался излагать мысли так, чтобы они были понятными и осуществимыми на практике. В одном, однако, «Программа действий КПЧ» принципиально отличалась от моей концепции — в трактовке роли политических партий и Национального фронта.

«Программа действий КПЧ» как политическая платформа была рассчитана на короткий период, на первый этап политической реформы. Как я уже говорил, я считал нецелесообразным

на этой фазе ставить вопрос о других партиях, свободных выборах и т. д., поскольку адекватного тому моменту решения все равно не было. Установить в программе ограничения на деятельность партий, как это было сделано после 1948 года, означало подпереть один из столпов тоталитарной системы, да к тому же еще привлечь внимание к этой проблеме и снизу, и сверху. В одночасье же отменить эту систему было политически нереально, угрожало серьезным кризисом и вспышкой борьбы за власть.

Усиливать политический вес Национального фронта, задачей которого было именно ограничение деятельности некоммунистических партий, смысла не имело. Обновление Национального фронта требовало решения целого комплекса вопросов, органически связанных между собой. Говорить о роли Национального фронта, не высказываясь о месте политических партий, также не было смысла. С другой стороны, в процессе реформ роль профсоюзов и других общественных организаций, тоже входивших в Национальный фронт, должна была становиться все более значимой, они должны были становиться все самостоятельней, избавляться от ограничений, накладывавшихся механизмом фронта. Механизм этот, по моему разумению, был к началу 1968 года политически мертвым, и не было никакой необходимости в его воскрешении.

Но на этот счет имелось и другое мнение, которое разделяла «рабочая группа» политологов под руководством Р.Рогана, еще в 1967 году занимавшаяся под покровительством И.Гендриха разработкой проблем Национального фронта. В процессе работы над «Программой действий» Гендрих передал мне эти материалы. Там, в частности, утверждалось, что можно оживить Национальный фронт и превратить его в инструмент влияния КПЧ на всю систему общественных организаций. Проблемы политических партий эта группа вообще не затрагивала, предполагалось и на будущее сохранить их как формальные организации в качестве своеобразной декорации.

Свою позицию по этому вопросу я в феврале 1968 года письменно изложил в докладной Гендриху, который до марта включительно оставался членом Президиума и секретарем ЦК КПЧ (копию этого документа у меня изъяли при обыске в апреле 1975 года сотрудники госбезопасности вместе с некоторыми дру-

гими материалами, так что я лишен возможности привести цитату). Я писал тогда, что включение концепции Национального фронта в «Программу действий» в таком виде противоречит самой сути реформы и потому неоправданно. Преждевременная постановка вопроса о некоммунистических политических партиях уже на первом этапе вызовет сложнейшие практические проблемы. Я рекомендовал упомянуть о Национальном фронте лишь в общем плане, повторив положение конституции, что «Национальный фронт чехов и словаков, объединяющий общественные организации, является политическим выражением союза трудящихся города и деревни под руководством КПЧ», и оставить этот отмирающий организм в покое, за рамками реформы. Гендрих (как и другие функционеры, с которыми я говорил на эту тему) не имел ничего против такого подхода, так что в проекте «Программы действий» еще в марте 1968 года о Национальном фронте и политических партиях почти ничего не говорилось.

Однако на мартовском заседании политической комиссии, возглавлявшейся Д.Кольдером, по этому вопросу вновь начались дебаты и споры. Некоторые члены комиссии возражали мне, говоря, что как с практической, так и с политической точек зрения просто невозможно обойти вопрос некоммунистических партий, поскольку именно это и привлечет внимание к проблеме и спровоцирует давление на КПЧ, требования занять четкую позицию. Мои оппоненты считали необходимым более детально сформулировать положения о Национальном фронте и входящих в него партиях. Особенно энергично отстаивал эту точку зрения Любомир Штроугал, поддерживал его Йозеф Сморковский. На заседании комиссии шел открытый обмен мнениями, как могут повернуться события в дальнейшем, можно ли серьезно полагаться на свободные выборы с участием других политических партий или нет. Все присутствующие считали, что это не тот путь, что, напротив, Национальный фронт должен не допустить возникновения в процессе реформы новых партий за его рамками и тем воспрепятствовать межпартийной борьбе за государственную власть.

Вначале я пытался при помощи общих теоретических контрвыкладок доказать, что такое решение затруднило бы переход к следующему этапу политической реформы. Однако по

ходу обсуждения мне пришлось признать правоту с практической точки зрения тех, кто утверждал, что вопрос просто уже нельзя обойти: в марте активность общества, в том числе прессы, возросла настолько, что проблема некоммунистических партий уже была поднята. После обсуждения я сформулировал соответствующий раздел «Программы действий КПЧ» в том виде, в каком он затем и был одобрен и опубликован.

Работая над «Программой действий», я ясно осознал, что начинается новый, решающий этап всей моей реформаторской деятельности. Теоретические и идеологические соображения должны были теперь пройти испытание практической политикой, стать составной частью жизни общества. Причем уже не в виде двусмысленных формулировок, принимавшихся в кулуарах бюрократической власти тоталитарной системы, когда большинство общества находилось в подчиненном положении, вне структур власти, не могло подать собственный голос и потому казалось равнодушным. Ныне наступал период краха тоталитарной системы и политизации преобладающей части общества, когда самые различные течения проявляли политическую активность и получали реальную возможность не только открыто высказывать свое мнение, но и популяризировать и отстаивать собственные взгляды. В политической игре появился новый элемент — борьба за свою долю власти, сопровождающаяся, естественно, страстями, эмоциями и неизбежной политической демагогией.

Я был шокирован тем, что в мире «верхов» почти никто, как это ни печально, не имел представления о конечном смысле и целях реформы, гораздо больше здесь было перепалок и «боев местного значения» за власть. Насколько легко политические интриги отодвигали на второй план проблемы, от которых действительно зависела судьба и перспективы всего общества! Я наблюдал, как держат нос по ветру власть имущие в стремлении не оказаться в стороне от событий.

Я не был ни новичком, ни романтиком в политике. Но я не был и отпетым циником. И вдруг на практике убедился, что это в реальном мире не дает преимуществ. Напротив, и наивным романтикам, и циникам живется легче, чем тем, кто, зная, что в политической борьбе идеалы не имеют определяющего значения для успеха, тем не менее стремится к их осуществлению. В этом смысле я был не одинок, и все-таки мы составляли явное мень-

шинство, преобладали же романтики и циники.

* * *

Смещение Антонина Новотного с поста первого секретаря ЦК КПЧ до сих пор чаще всего рисуется как итог короткого, но бурного периода внутрипартийной борьбы с октября по декабрь 1967 года. В октябре на пленуме произошло столкновение между Новотным и другими членами ЦК, прежде всего Александром Дубчеком. Спор шел по разным вопросам, но в первую очередь о методах партийной работы и о действиях самого Новотного. Конфликт назревал и внутри политбюро, и дело дошло до того, что Новотному было предложено уйти в отставку, сохранив за собой президентский пост. Голосование дало ничейный результат — 5:5. С одной стороны были Новотный, Ленарт, Худик, Лаштовичка, Шимунек, с другой — Дубчек, Гендрих, Черник, Кольдер и Доланский. Пытаясь спасти положение, Новотный обратился к Брежневу, но тот не поддержал его, заявив, что это «внутреннее дело КПЧ». В конце декабря вопрос о разделении постов первого секретаря ЦК и президента страны был вынесен на обсуждение ЦК, и в январе Новотного освободили от партийного поста.

Известно также, что, прежде чем было принято это решение ЦК, зашевелились армейские круги, и все выглядело так, будто бы Новотный собирался силой подавить выросшую против него оппозицию, провести аресты и объявить чрезвычайное положение. Но этого не произошло. Один из замешанных в этом деле генералов бежал за границу (его уличили в коррупции), второй покончил жизнь самоубийством. В результате Новотного сняли без особого шума.

Сильная оппозиция против Новотного неожиданно обнаружилась на декабрьском и январском пленумах ЦК КПЧ. К ранее известным его противникам примкнули люди, не считавшиеся оппозиционно настроенными демократами, например Васил Биляк и Алоис Индра. Историографы Пражской весны этот факт просто констатируют, не задаваясь вопросами и не пытаясь дать разъяснения.

Мне же представляется, что вопросы здесь вполне умест-

ны. До того как Дубчек встал во главе партии, Москва обычно давала «добро» не только по кандидатурам секретарей ЦК КПЧ, но и по ряду других важных должностей, включая посты первых секретарей обкомов. И вдруг ни с того ни с сего Брежнев согласился, чтобы какая-то там «антиновотновская оппозиция» сформировала новый состав руководства КПЧ, а он сидел бы в Кремле и ждал, что напечатают завтрашние газеты? Новотный собирает под знамена своих людей, «верные кадры» армии и полиции, а Червоненко об этом понятия не имеет? Ведь всем было известно, что эти «верные кадры» верны прежде всего Москве. Почему же драматическое спасение Новотного так и не состоялось?

Я очень сомневаюсь, что Москва все пустила на самотек, отдала на откуп «суверенной» КПЧ. Я, скорее, склоняюсь к иной версии: после поездки Брежнева в Прагу и в Москве решили вопрос больше не затягивать и снять Новотного на очередном пленуме. Игру «в солдатики» запретил, скорее всего, главный режиссер, хотя я допускаю, что и сам Новотный не решился бы использовать «против партии» военную силу. Что же касается преемников, то в Кремле, очевидно, исходили из того, что в политбюро останутся пятеро выступивших против Новотного. А так как Доланский был слишком стар, то место Новотного мог занять кто-то из оставшихся четырех. Будет ли это Дубчек, Гендрих, Черник или Кольдер, не столь важно, и потому все было действительно оставлено на усмотрение «суверенной» КПЧ (тем более что назначение Кольдера было маловероятно, и речь, таким образом, шла только о трех кандидатах).

Московская режиссура к тому же должна была просчитать ситуацию и дальше. Приходилось считаться с тем, что из пяти сторонников Новотного в политбюро не все после его падения смогут удержаться, и на смену им придут люди из оппозиции. На этот случай следовало обеспечить, чтобы и среди оппозиции были надежные «интернационалисты». Именно этим можно объяснить неожиданно резкую перемену в позициях некоторых товарищей, прежде верных Новотному. Правда, никаких доказательств данной гипотезы, кроме логических заключений, у меня нет.

Но как иначе объяснить, что министр транспорта Алоис Индра вдруг активно включился в политические дискуссии, пора-

жая всех окружающих? И как случилось, что этот ярый «приверженец» новых прогрессивных методов стал в одночасье самым консервативным из всего руководства КПЧ, как только наметился конфликт между Брежневым и Дубчеком, а после вторжения советских танков в Прагу его именем арестовывали Дубчека?

А другой борец за «обновление социализма» Васил Биляк? Правда, его выпады против Новотного можно объяснить тем, что притеснения Новотным Дубчека имели антисловацкую направленность, и Биляк отстаивал интересы словаков. Однако уже тогда было известно, что Биляку далеко не чужды также интересы державы, расположенной далее на восток от Восточной Словакии. Его поведение скорее диктовалось именно этим. Биляк в те годы еще и дружил с Дубчеком, и можно предположить, что отсюда проистекает его критический настрой по отношению к Новотному. Но как быть с дальнейшим поведением Биляка? Ведь он, как и Индра, с момента столкновения Дубчека и Брежнева открыто в руководстве КПЧ взял сторону Брежнева. Наконец, 22 августа вместе с Индрой он появляется в советском посольстве и проявляет готовность «возглавить партию», а Индре отвести роль председателя «революционного рабоче-крестьянского правительства».

Еще двое, связавшие свою карьеру с январским пленумом ЦК КПЧ, сидели вместе с ними в советском посольстве и формировали новое правительство: председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии КПЧ Милош Якеш и Олдржих Павловский, один из министров правительства Черника. А как Павловский стал министром? На пленуме ЦК в апреле 1968 года его кандидатуру предложил Индра. Кем был Милош Якеш до снятия Новотного? Одним из членов комиссии партийного контроля, председателем которой он стал при Дубчеке. Кроме того, Якеш был заместителем министра внутренних дел Йозефа Кудрны, выброшенного «процессом возрождения» из своего министерского кресла. И еще Якеш, как и Павловский, был в одной компании с Алоисом Индрой во времена их работы в Готвальдове.

Правда, Якеша, как и Биляка, выдвинул Дубчек. В ответ на возражения, что связь Якеша с полицией (причем явно не только пражской) не лучшая рекомендация для его новой должности, Дубчек ответил, что он хороший товарищ, что еще во время уче-

бы в партийной школе в Москве они вместе жили в общежитии, и потому все в полном порядке. Если всем этим дирижировал какой-то режиссер, то это был опытный мастер, подобравший таких актеров, которые были приемлемы и для Дубчека. У него действительно было много приятелей среди тех, кого в течение многих лет дергал за ниточки московский кукловод.

Я не знаю, о чем Брежнев и Дубчек говорили в последние дни января, когда Дубчек уже был первым секретарем ЦК КПЧ. Это был первый визит Дубчека в Москву до того, как были произведены крупные кадровые перестановки в чехословацком партийном и государственном руководстве. В таких случаях в Кремле очень предметно обсуждали «вопросы, представляющие взаимный интерес». Дубчековскую благосклонность к Биляку, Якешу и Индре в Кремле, несомненно, сердечно поддержали.

Некоторые события, в том числе снятие Новотного, вызывали удивление скорее в Праге, в то время как в Москве они такой большой неожиданностью не были. Однако московский режиссер сам попался на крючок истории, и пришла очередь поражаться ему самому. Самым большим грехом Дубчека было то, что он постоянно преподносил Москве сюрпризы. Он назначал секретарей ЦК и министров без согласования кандидатур с Москвой. Позднее Брежнев в открытую упрекал его в этом, но об этом несколько ниже. Для Брежнева именно своеволие в кадровых перемещениях в Праге было первым признаком «контрреволюционной угрозы».

Но даже не принимая во внимание «консервативное» крыло дубчековского руководства, нельзя забывать, что политика реформ началась не так уж триумфально. Стенограммы декабрьского (1967 г.) и январского (1968 г.) пленумов ЦК насчитывают 1500 страниц, а реформаторские идеи, выступления концептуального характера заняли там не более 50 страниц. Единственным, кто говорил об общественных, политических и экономических проблемах, а также о целях возможной реформы, был Ота Шик. В ряде других выступлений можно найти откровенные и для того времени смелые критические замечания, но в них не было цельной политической концепции. Даже обретшие впоследствии ореол «прогрессивности» на январском пленуме не производили впечатление политиков, стремящихся ликвидировать тоталитарную систему и установить плюралистическую де-

мократию.

После того как Новотный, наконец, согласился подать в отставку, по итогам пленума было принято коммюнике, в котором нет даже намека на необходимость каких-то кардинальных перемен. Это коммюнике, естественно, не отражало всего того, что на самом деле происходило на пленуме, но очевидно было и то, что члены ЦК не отдавали себе полного отчета, к чему приведет свержение Новотного.

Как это ни парадоксально, но яснее всех это понял Новотный. В своем выступлении он подчеркнул, что его отставка будет означать далеко идущие политические и общественные изменения, он предостерегал против этих перемен, усматривая в них угрозу «интересам рабочего класса». Уже после отставки в кругу близких ему людей Новотный говорил: «Не беспокойтесь, все нормально. Дубчек слабак, он это дело не потянет, а у секретарей всегда сердце в пятках. Будет и на нашей улице праздник!» Из его пророчества не сбылось лишь последнее, а в целом оно было не столь уж нелепым, как казалось тогда многим романтикам и «прогрессивным» политикам.

До и после своего избрания первым секретарем Дубчек говорил, конечно, о необходимости демократических методов руководства. Но это был, скорее, его личный настрой, а не целостная, рациональная политическая программа. Он говорил о взаимоотношениях чехов и словаков в эпоху национального возрождения прошлого века, о литераторах того времени, о Божене Немцовой и Людовите Штуре, но отнюдь не о федерализации государства. Он рассказывал, как в свою бытность первым секретарем компартии в Словакии он не приказывал, а убеждал товарищей в правоте своей точки зрения. Он вспоминал, как Новотный исключал из партии не угодных ему людей. Так, например, когда историк Госиоровский написал, что интересам Словакии отвечает федеративное устройство государства, Новотный за это лишил его партбилета. Дубчек же, убежденный в том, что Госиоровский плохой коммунист и нечестный человек (в чем, я думаю, он был прав), не возражал против исключения, однако этого не принимала парторганизация, где работал Госиоровский. Дубчек терпеливо, месяц за месяцем уговаривал, разяснял, пока они не согласились. Обо всем этом Дубчек говорил на пленуме, обещая, что в том же духе он будет руководить всей пар-

тием. Его искренность не вызвала сомнений, но одновременно мало что давала для понимания, каковы его подходы к тому комплексу проблем, который ему придется решать на новой должности.

Немаловажно, что этого поста Дубчек в общем-то и не хотел. Его главным аргументом было то, что эта должность ему не по силам. Но все его убеждали, что он должен на это пойти, что ему «помогут». Дубчек оказался единственным приемлемым для большинства членов ЦК кандидатом, и это решило исход дела. После избрания на высший пост в стране Дубчек сразу поспешил вернуться в Братиславу, а там отправился на хоккей, который, видимо, он боялся пропустить. Дела могли подождать. Ему нужно было все спокойно обдумать, а затем не торопясь, постепенно и демократическими средствами все решать. А людям было лестно, что самый влиятельный в государстве человек сидит с ними на стадионе.

Я вспоминаю это не потому, что хочу представить Дубчека в виде наивного простачка. Такой взгляд на него действительно все еще довольно распространен, но на поверку это далеко от реальности. Почему? Об этом я еще скажу. Сейчас же лишь хочу отметить, что и Дубчек в первые дни и недели своего пребывания на посту первого секретаря ЦК КПЧ не подозревал, какую реакцию в обществе и аппарате вызовет его назначение.

Сохраняли спокойствие и такие прожженные партийные политики, как секретари ЦК Гендрих и Коуцкий. Как-то в феврале 1968 года Коуцкий мне сказал: «Вот видишь, на январском пленуме Новотный пророчил, чего только-де не произойдет, если его снимут, а ничего и не происходит». Я пытался возразить, указывая на отчетливые проявления далеко идущих перемен в обществе и в партии: это и дискуссии, развернувшиеся на страницах печати, и даже сама по себе усилившаяся изоляция секретариата. Коуцкий не принял моих аргументов, говорил, что я преувеличиваю. Но не прошло и двух месяцев, как сам Коуцкий вынужден был подать в отставку.

В середине февраля я как-то поздно вечером встретил в здании ЦК КПЧ Гендриха. Он, сияя от удовольствия, пояснил мне причины своей радости: «Я только что говорил с Эдом Гольдштюкером и разрешил выпуск «Литературки». Речь шла о еженедельнике Союза писателей, закрытом Новотным осенью 1967

года, «Литерарни новины» (позднее «Литерарни листы», а еще позднее, уже после августа 1968 года, просто «Листы») были символом критической журналистики во времена Новотного, а потому возобновление их издания могло быть расценено как ликвидация цензуры. Я пытался убедить Гендриха, что такой шаг до опубликования «Программы действий КПЧ» приведет к резкой радикализации прессы и ее невозможно будет удержать в русле политической линии КПЧ. «Этого не будет, — отвечал Гендрих. — Я обо всем с Гольдштюкером договорился, они не будут выступать против нас». Не прошло и месяца, как Гендриха сняли, и одним из оснований была как раз-таки критика его деятельности прессой, причем такой силы, что дальнейшее его пребывание в аппарате компрометировало бы дубчековское руководство.

До начала апреля 1968 года все новотновское руководство партии — Президиум и секретариат ЦК КПЧ — оставалось в прежнем составе, если не считать снятие с идеологии Гендриха. Правда, Президиум был расширен за счет нескольких новых членов, но и они, за исключением И.Шпачека, не привнесли новых политических веяний. Таким образом, первые три из восьми месяцев, от январского пленума до советского вторжения в августе, прошли практически впустую. За эти три месяца не было выдвинуто ни одной новой концепции. Напротив, руководство КПЧ проявляло нерешительность, колебалось, откладывая не только реформы, но и даже их программное провозглашение.

Дай бог, чтобы я был не прав, но боюсь, что я верно понимаю причины происходившего: на протяжении этих трех месяцев партийное руководство занималось распределением мест в верхушке партийного и государственного аппарата и именно потому не могло приступить к осуществлению продуманной политики реформ. Общественность же не могла ждать, пока закончится борьба за кресла министров и секретарей ЦК, и годами заглушаемые противоречия вырвались на поверхность. Концепции демократической реформы из-за отсутствия должной инициативы руководства КПЧ стали рождаться помимо его воли и влияния: в печати, на радио, телевидении, на различных митингах и собраниях.

До тех пор пока не были окончательно распределены кресла, все было подчинено борьбе за власть. Те, кто опасался за свои места ввиду того, что назначил их туда Новотный и они

совершили там массу недостойных поступков, надеялись, что смогут удержаться, если сейчас покажут себя истинными демократами. Именно поэтому Гендрих, например, отменил цензуру. А те, кто хотел получить высокий пост, выпячивали свой демократизм в надежде, что именно так они его добьются. Этим я совсем не хочу сказать, что демократическая ориентация высокопоставленных функционеров КПЧ диктовалась исключительно карьерными соображениями. О несправедливости подобных утверждений свидетельствует все то, что я говорил выше о развитии реформаторского течения в чехословацкой компартии. Я лишь хочу подчеркнуть, что в первые месяцы после отставки Новотного демократичность, «прогрессивность» функционеров имела налет конъюнктурности. На какое-то время это как бы сгладило различия в речах и делах истинных сторонников демократических реформ и тех, кто в первую очередь беспокоился о собственной карьере.

В «верхах» царил неуверенность. Не менее половины членов Президиума и ЦК опасалось за свои места. Таким же было положение в правительстве и парламенте. Подобные настроения передавались и среднему звену партийных кадров в областях и районах. Испытывали страх за свое будущее и работники аппарата. Они нервничали, не зная, как себя вести. Содержанием их повседневной деятельности до сих пор была разработка инструкций и указаний, принятие административных решений и контроль за их исполнением. После снятия Новотного и им стало ясно, что такие методы руководства не имеют перспективы, а потому предпочтение отдавалось бездействию.

Неуверенность «верхов» способствовала нарастанию критики «снизу». При этом пошатнувшаяся верхушка не решилась прибегнуть к прежним методам подавления критики и оппозиции, так как даже в обстановке всеобщей неопределенности было ясно, что уход Новотного с поста первого секретаря — это победа критически настроенных, оппозиционных течений в партии. Такое положение, однако, для проведения политической реформы оказалось довольно неблагоприятным. Чем дольше оно сохранялось, тем в большей мере сказывалось действие двух негативных факторов: усиление давления снизу при отсутствии официальной политической программы, а также связанный с этим страх, охвативший структуры власти, который вызывал ре-

акцию сопротивления реформам, а не желание способствовать им, столь необходимое для успеха.

Именно поэтому с февраля 1968 года я считал основной предпосылкой успешного осуществления реформ скорейшее прекращение безвременья. В своих открытых и закрытых выступлениях я прилагал все силы к тому, чтобы как можно раньше обнародовали «Программу действий КПЧ» в качестве политического документа реформы и чтобы как можно быстрее были проведены в соответствии с законодательством кадровые перестановки на всех уровнях политической системы. Я и сейчас считаю, что уже в то время для этого были необходимые предпосылки.

Текст «Программы действий» практически в том виде, в каком он был опубликован в апреле, был готов уже к концу февраля. Я предлагал утвердить его и обнародовать в первые дни марта, поскольку в марте должны были пройти очередные районные партконференции, на которых избирались районные партийные комитеты. Затем следовали областные конференции. Я считал, что на этих конференциях членов райкомов и обкомов следовало избирать, уже исходя из потребностей нового политического курса, но для этого партийные организации должны были из «Программы действий» хотя бы узнать, в чем он заключается. Одновременно партконференции могли бы избрать уже и делегатов на внеочередной съезд. Но для этого нужно было, чтобы ЦК принял решение о его созыве.

Если бы такое решение было принято в начале марта, съезд мог бы пройти уже в мае и тогда же сформировать новый ЦК. А выборы в местные органы власти и парламент, назначенные еще при Новотном соответственно на май и июль, можно было бы совместить и провести в июне. Так еще до начала лета можно было избрать новых людей в выборные органы государственной власти.

Такой подход представлялся мне оптимальным. Он давал возможность отреагировать на первую волну критики и недовольства демократической сменой кадров в партийных и государственных органах. Это давало возможность не только не сдерживать, а, напротив, поощрить острую критику в адрес отдельных политиков и всей политической системы, предъявив при этом результативность критики в виде избрания в новые орга-

ны тех, на кого прежде опирался тоталитарный режим. Выборы, проведенные в подобной атмосфере, дали бы новому руководству на всех уровнях необходимый авторитет как для реализации программы реформ, так и для эффективного отпора экстремистским силам, которые стремились не к постепенной демократизации всей системы, а к быстрому разрушению ее отдельных звеньев, игнорируя объективные условия.

Таким образом можно было предотвратить на первом этапе реформ выдвижение в качестве главного политического лозунга требование свободы оппозиционных политических партий. Выборы состоялись бы в столь сжатые сроки, что данное требование практически осуществить было бы просто нереально. А к следующим выборам уже появилась бы возможность подойти к этому вопросу более комплексно.

Кроме того, быстрая, но «законная» смена кадров лишила бы Москву всех козырей при попытках вмешаться во внутренние чехословацкие дела. Московские ставленники были бы смещены в соответствии с партийным уставом и по законам чехословацкого государства еще до того, как Москва успела бы что-то предпринять. Ведь в мае, несмотря на то что тоталитарная система в Чехословакии трещала под давлением «низов», получавшим свое отражение в прессе, приводившей Кремль в состояние невменяемости, сложившаяся в стране обстановка все же не давала достаточного повода для советского военного вторжения. А после съезда Москве уже не из кого было бы составлять законное «революционное рабоче-крестьянское правительство» или вряд ли удалось бы найти «группу деятелей», занимавших руководящие партийные и государственные посты, которые бы обратились за помощью «к союзным войскам для защиты социализма».

Такой ход политического развития считал оптимальным не я один. Многие парторганизации выступали с требованием скорейшего созыва чрезвычайного съезда КПЧ, две или три областные партийные организации даже в официальном порядке поставили данное требование перед ЦК партии. Однако все безрезультатно.

Против этого в первых рядах выступали сторонники радикальных демократических изменений политической системы. Им вскружила голову возможность свободно, без цензурных ограни-

чений декларировать свои идеи и политические концепции на многоярусных митингах, в печати, на радио и телевидении. Люди восторженно и заинтересованно слушали их и, естественно, аплодировали. Сторонники радикальных перемен — и коммунисты-реформаторы, и беспартийные — считали, что чем дольше продлится состояние «междоусобицы», чем дольше структуры власти будут испытывать неуверенность, тем больше уступок можно будет от них добиться, тем на большие реформы в состоянии страха они согласятся, что обеспечит хорошие перспективы. Напротив, они считали, что быстрая стабилизация структуры правящих партийных и государственных органов может поставить под угрозу процесс демократизации как таковой. Немедленные выборы в таком понимании оставили бы у власти слишком много консерваторов и особенно «центристов», которые тормозили бы реформы, и все, дескать, закончится как в Польше при Гомулке — на смену воодушевлению и эйфории потихоньку, через черный ход вернется старая тоталитарная система. Им казалось продуктивным последовательно и как можно дольше разрушать снизу эту систему и вытесненные ею кадры вытеснить из политической жизни полностью.

По иным соображениям против быстрых кадровых перестановок выступали те, кто понимал, что новые выборы — это конец их карьеры: сталинисты, консерваторы, ставленники Москвы, карьеристы, дискредитировавшие себя ревностной службой старому режиму. Эти люди видели в продлении состояния неопределенности спасительный остров надежды, рассчитывая, что обстановка в стране накалится до такой степени, что элементарный инстинкт самосохранения повернет правящие структуры против реформ, и тогда придет их час. Весной 1968 года даже самые отчаянные, однако, не возлагали надежды на помощь советской армии. Они рассчитывали скорее на политическое давление со стороны Москвы и на то, что в кризисной ситуации сам Дубчек вынужден будет на них опереться.

Третьей большой политической силой, которую также не устраивали резкие кадровые перетряски, была Москва. Там к чехословацким событиям относились неоднозначно, но подробнее об этом пойдет речь в следующей главе. Важно лишь, что для всех политических группировок в Кремле было приоритетным не только не ослабить в сравнении со временами Новотного

своего влияния на Прагу, но и усилить его. Чрезвычайный съезд партии и выборы нового ЦК в обстановке, когда Москва не чувствует себя «хозяином положения», советское руководство никак не могло поддержать и приветствовать. С его точки зрения было предпочтительнее выждать, укрепить свои позиции и съезд созвать в момент, когда заранее будет известно, чем он кончится, кто будет первым, вторым и т. д.

Столкнувшись с парадоксальным союзом этих трех сил, мой жалкий «центризм» не имел никаких шансов на победу. И действительно, с февраля до апреля развитие событий было далеко от оптимального, и именно эти два месяца предопределили многое, что произошло в последующее полугодие.

Ошибочно представлять, что Александр Дубчек был выше всего этого, выступал в роли святого, наивного демократа, подвергавшегося и справа, и слева нападкам со стороны матерых политических волков. В политбюро Дубчек находился уже с 1963 года, и его туда ввели не ангелы небесные: он попал туда после четырнадцати лет работы в партаппарате. Полагать, что он не имел понятия об этом аппарате и не знал, как с ним обращаться, значит выказывать политическую близорукость. Он хорошо знал его скрытые пружины и реалии взаимоотношений между Прагой и Москвой.

То, что я сейчас скажу, возможно, вызовет недоумение и даже возражения. Но я считаю, что отношение Дубчека к происходящему диктовалось не его убежденностью в необходимости немедленных и радикальных демократических перемен, а трезвым расчетом, основанном на оценке соотношения сил в чехословацком руководстве и позиции Москвы. Дубчек недооценил и не просчитал правильно перспективные последствия и широту размаха радикальной демократической критики, которой он в феврале и марте 1968 года дал вольный ход. Он хотел использовать критику в собственных целях, не имевших ничего общего с устремлениями отдельных лиц и общественных сил, которые с этой критикой выступали.

Вступая на пост первого секретаря партии, Дубчек хотя и обнялся символически с Новотным, но сам прекрасно понимал, что пока тот будет оставаться президентом и членом Президиума ЦК, ему не удастся спокойно проводить собственную политику и укрепить свое положение. Дубчек хорошо знал значение раз-

личных кланов и группировок в аппарате власти и то, что за Новотным стоит совершенно определенный, мощно окопавшийся клан. Политические и личные интересы Дубчека требовали устранения этой группировки от власти.

Для него действительно было не характерно проводить свои замыслы прямыми административными путями, силовыми, приказными методами. Он на самом деле стремился, как он сам говорил, «убеждать товарищей» в целесообразности своих решений, то есть создавать такую атмосферу, в которой его намерения выглядели объективно необходимыми. Таким же образом он предполагал избавиться от Новотного и всей его камарильи в аппарате. На руку этому была волна критики в адрес Новотного, все больше и больше поднимавшей вопрос, как он вообще может оставаться главой государства. Думается, что здесь усилия Дубчека не противоречили желаниям Брежнева, но и не были с ним согласованы.

При этом сам Дубчек никакой кампании против Новотного не вел. Он заседал с ним в политбюро, более того, постоянно высказывался в том духе, что Новотный ведь президент и разноголосия следует разрешать демократическими средствами. Однако на демонстрации по случаю двадцатой годовщины февраля 1948 года выступить Новотному уже не позволил. Он также не дал Новотному публично по телевидению отреагировать на обрушившуюся против него критику. Согласитесь, политически наивный человек так действовать не мог. Скорее здесь чувствуется продуманная тактика, способствовавшая созданию такой ситуации, при которой Новотному самому придется уйти. И это Дубчеку удалось, но только к концу марта.

Но он все же до конца не осознавал, чем чревата обстановка, к созданию которой он приложил руку, устраняя Новотного. Под огнем острой критики в средствах массовой информации вынуждены были подать в отставку еще ряд деятелей: министр внутренних дел И.Кудрна, генеральный прокурор И.Бартушка, председатель центрального совета профсоюзов М.Пастыржик и др. И это было на руку Дубчеку, ведь все они были людьми Новотного. Но Дубчек не понимал главного, что наряду с этим произошло нечто более значительное — сформировался механизм, способный заставить власти действовать под свою диктовку, механизм нажима снизу через свободу печати и путем свободного

выражения взглядов вне рамок официальных структур. Его можно было назвать чем-то вроде внепарламентской оппозиции, если бы парламент как демократический институт уже функционировал.

Когда позднее механизм этот окреп и перестал служить прямым интересам Дубчека, а оказывал нажим и по вопросам, для него совсем нежелательным, он поражался и расстраивался. Это могут подтвердить некоторые журналисты, приглашавшие им в мае и июне 1968 года на беседу, где он пытался убедить их, что печати не следует ставить ему палки в колеса, что она должна быть более дисциплинированной. На подобных встречах Дубчек был очень искренен, на его глаза наворачивались слезы. Но его мольбы ничего не дали. Я помню несколько бесед с ним на эту тему. «Почему они ведут себя так со мной? — жаловался Дубчек. — При Новотном они просто побоялись бы. Неужели они не понимают, что мне это вредит?»

Я неоднократно пытался довести до него свое видение проблемы, надеясь с помощью данного конкретного примера вызвать у него интерес к общим концептуальным вопросам и широким системным взаимосвязям в политическом механизме, дабы не сводить все лишь к личностному фактору. Но мои попытки были безрезультатны. Дубчек слушал меня, но при этом думал о другом — о неблагодарности журналистов. Мои идеи были слишком абстрактными для человека, мысли которого были поглощены отнюдь не вопросами системного порядка, который политические проблемы воспринимал эмоционально, даже патриархально (так же как и Брежнев). Как только боль, причиненная упрямыми «товарищами журналистами», утихла, он переключился мысленно на что-то иное и, неожиданно перебив меня, спросил о чем-то конкретном совершенно из другой области.

То, что в политических действиях Дубчека всем кажется наивным, я расцениваю как результат целого ряда факторов, формировавших личность Дубчека: проведенные в СССР детство и юность (в Средней Азии), политический опыт, приобретенный исключительно в недрах аппарата монополично правившей КПЧ, а жизненный — из практики политических перипетий в Словакии. Все это оказало влияние на Дубчека, человека сообразительного, но простого, честного, любящего людей, неавто-

ритарного и с искренней верой в высокие идеалы. Эти качества определили не только характер Дубчека, но и его особую роль в период Пражской весны 1968 года.

Было бы заблуждением представлять дело так, что он настолько верил в демократические идеалы, что считал необходимым в практической политике и борьбе за власть руководствоваться исключительно ими, то есть подозревать его в политической наивности. Ближе к истине утверждение, что Дубчек собственнно и не знал, что такое политическая демократия в жизни общества и правящей элиты. На собственном опыте он не познал демократию, а его склад ума противился осуществлению абстрактных принципов.

Для Дубчека идеи марксизма-ленинизма уже сами по себе были высокими идеалами, он верил в них и считал разделявших эту веру честными людьми. Если это считать наивностью, то Дубчек был наивен.

Но Дубчек хорошо знал, что в жизни эти «чистые идеи» тонут в массе других вещей, которые на практике все и определяют, от которых зависит успех или падение и коммунистического политика. Он прекрасно это осознал за годы работы в партийном аппарате. Поэтому он далеко не был наивным. Но поскольку практический опыт он приобрел главным образом в Словакии, он переоценивал значение личных взаимоотношений в политике. К тому же давление на правящую элиту снизу в Словакии всегда было слабее, чем в Чехии, гражданское общество — неременное условие и фундамент демократии — там и до войны было менее развито.

Заняв высший пост в стране, Дубчек наверняка считал необходимым провести демократические политические преобразования, изменить практиковавшийся прежде образ правления, но предпочтение он отдавал мерам, характерным как раз для старой системы власти. Исходя из опыта работника партаппарата, он считал главным отстранить от власти враждебную ему группировку и сформировать свою. Он знал также, что ему нужно заручиться поддержкой Москвы. Эти задачи были для него важнее, чем программные декларации и концепции реформы, важнее партийного съезда и выборов. Ведь традиционно съезд и выборы проводятся уже после того, как первый секретарь упрочил свое положение в аппарате и в глазах Москвы, а не до этого.

Приблизительно так же рассуждали в те дни и другие члены политбюро, или, по крайней мере, большинство из них. Из новых членов Президиума ЦК концептуальные вопросы волновали в то время лишь Йозефа Шпачека.

И тут в итоге мы сталкиваемся с историческим парадоксом: свобода печати, напор общественности, характерные для Пражской весны, приобрели масштабы, не сравнимые с демократизацией в других областях общественной жизни именно потому, что Дубчек вел себя так же, как в прошлые годы это делали другие лидеры аппаратных группировок в КПЧ.

Чего же добился Дубчек с января по апрель 1968 года? Ему удалось сформировать в аппарате группу, сосредоточившую в своих руках ключевые позиции. Это была троица: Дубчек, Черник и Кольдер. Они хорошо знали друг друга по прежней работе, доверяли друг другу и совместными усилиями вывели из политбюро людей, не внушавших им доверия. Из руководства Новотного остались только трое: Йозеф Ленарт, Антонин Капек и Мартин Вацулик, но все они имели статус только кандидатов в члены Президиума ЦК. Вацулик, сохранивший свой пост в руководстве в качестве секретаря пражского горкома КПЧ, уже в мае был заменен новым пражским секретарем Богумилом Шимоном, который в прошлом также был связан по работе с руководящей троицей, главным образом с Кольдером. Из других новых членов партийного руководства пятеро также были связаны личными узами с этой тройкой и непосредственно с Дубчеком: Васил Биляк (приятель Дубчека, которого он поставил вместо себя на пост первого секретаря в Словакии), Ян Пиллер (многие годы находился на руководящей хозяйственной работе, откуда и брали истоки его связи с Черником и Кольдером), Олдржих Швестка (главный редактор газеты «Руде право», еще при Новотном поддерживал Дубчека), Франтишек Барбирек и Эмиль Риго (они не являлись крупными политическими фигурами, но Дубчек считал их «своими людьми»).

Не по личной протекции новой правящей тройки в политбюро попали всего трое — Йозеф Шпачек, Йозеф Смирковский, Франтишек Кригель. Шпачека уже в январе выдвинула на этот пост брненская областная парторганизация, которую он возглавлял. Смирковский, завоевавший своей послеянварской политической деятельностью огромную популярность, был фактически

одним из основных кандидатов на пост президента и потому стал председателем парламента и членом политбюро. Кригель оказался там вследствие закулисных маневров различных внутрипартийных группировок. Ни вначале, ни позднее он не был другом Дубчека. Кригель опирался на пражскую партийную организацию, а не на аппарат ЦК. В конфликте с Новотным он встал на сторону Шика, Водослоня и Прхлика, то есть людей, которые не попали в число «избранных», приближенных к новой руководящей троице. Более того, Черник, Кольдер и Дубчек решительно противились введению в политбюро Оты Шика, имевшего между тем наиболее проработанную концепцию экономической реформы. Думается, что Черник и Кольдер были против Шика по карьерным соображениям.

Говоря о новом партийном руководстве, нельзя обойти вниманием и секретариат ЦК КПЧ. В него, кроме упомянутых трех членов Президиума ЦК — Дубчека, Кольдера и Ленарта, — вошло шесть новых функционеров: Алоис Индра (о его карьере я уже говорил, кроме того, замечу, что на протяжении многих лет он был близок по работе к Чернику и Кольдеру), Штефан Садовский (друг Дубчека), Олдржих Воленик (секретарь остравского обкома, откуда вышли также и Черник, и Кольдер), Честмир Цисарж, Вацлав Славик и я.

Путь к вершине Честмира Цисаржа был зигзагообразным и непростым. В 50-е годы он работал в аппарате ЦК КПЧ, занимался идеологией, был убежденным сталинистом, но человеком образованным. Он закончил гимназию с французским уклоном и незадолго до войны некоторое время учился в университете в Дижоне. За хвалебную рецензию на собрание сочинений Рудольфа Сланского, написанную незадолго до его ареста, Цисаржа сместили на нижние ступени партийного аппарата, но после 1956 года он снова стал подниматься вверх и получил пост главного редактора партийного теоретического журнала «Новая мысль». При Новотном из-под пера Цисаржа вышла книга под названием «С годами мы росли», где он в неплохом литературном стиле описал послевоенную историю Чехословакии как сплошную цепь успехов, в достижении которых решающую роль сыграл Новотный. Затем, сопровождая как-то Новотного в одной из зарубежных поездок, завоевал его личное расположение и в 1963 году был определен в секретари ЦК. В благоприятной ат-

мосфере того времени Цисарж зарекомендовал себя относительно либеральным политиком. Реформаторски настроенная пражская коммунистическая интеллигенция назвала месяцы работы Цисаржа в ЦК «милостивым летом». Потом он снова угодил в опалу и «скатился» на пост министра образования.

После того как в 1965 году дочь Цисаржа в рамках студенческой маевки приняла участие в молодежных «антипартийных демонстрациях», его сняли и с этого поста и направили послом в Румынию. Зато он приобрел популярность среди студентов, что обернулось в его пользу весной 1968-го, когда молодежь ходила по Праге и разрисовывала стены лозунгами «Цисаржа на Град». Так в глазах общественности он предстал в роли возможного кандидата на президентский пост. В верхах, правда, никто это всерьез не воспринимал, но благодаря своей популярности в молодежной среде и у части интеллигенции он все же стал секретарем ЦК.

Как и другие партийные функционеры тех лет, Цисарж представлял собой сплав веры в коммунистическую идеологию и карьеризма. После потери им министерского кресла и назначения в Румынию я случайно встретил его у здания ЦК, когда он выходил от Новотного. Он был бледен, взбудоражен, расстроен. «Это просто ужасно, — сказал он мне. — Я был у Новотного, раскрыл перед ним всю душу, а он мне в нее наплевал». Я ответил, что это ему урок: не стоит выворачивать душу наизнанку перед тем, кого она мало волнует. Цисарж посмотрел на меня как на человека, цинизм которого выходит за допустимые рамки, и ушел. А в октябре 1968 года, когда уже стало ясно, что мы на своих местах долго теперь не продержимся, я завел с ним речь о будущем. «Ну да, — сказал он, — а куда теперь подашься? На оклад меньше десяти тысяч в месяц я ведь не пойду». На сей раз уже я посмотрел на него как на человека, уронившего достоинство ниже допустимого уровня. На том разговор и завершился.

Избрание Вацлава Славика в секретариат ЦК также не было связано исключительно с хорошими взаимоотношениями с правящей троицей. Хотя у него и был хороший личный контакт с Дубчеком, его восхождению способствовал ряд других обстоятельств. Как и Смрковский, Славик принадлежал к тем членам ЦК, кто после падения Новотного содействовал подъему внутри партии критической волны в поддержку реформ. Он много про-

работал в партаппарате. Сначала в редакции «Руде право», затем в Бухаресте в журнале «За прочный мир, за народную демократию». С конца 50-х годов заведовал идеологическим отделом ЦК КПЧ и какое-то время был секретарем ЦК. После этого ему дали место заместителя главного редактора международного коммунистического журнала «Проблемы мира и социализма», а с 1966 года он стал директором Института политических наук при ЦК КПЧ, который поддерживал деловые контакты с нашей научной группой в академии наук.

За период своей разносторонней деятельности в аппарате он проделал немало идеологических и политических кульбитов. Но к концу 60-х годов он, по-моему, стал искренним приверженцем реформ. Славик, несомненно, стремился к большему политическому весу и ответственной должности, но карьеристом он не был. Ему, скромному, честному человеку, доверяли самые разные группировки и кланы партаппарата. И, видимо, именно эти разнообразные контакты с людьми, придерживавшимися порой прямо противоположных взглядов, способствовали тому, что он вошел в дубчековский секретариат ЦК КПЧ. В бурном 1968 году он выполнял роль посредника, достигал компромиссов в стычках и на переговорах, особенно между центром и Пражской парторганизацией. Он был близок к Дубчеку и Кригелю, ко многим людям из числа радикальной партийной интеллигенции и к работникам партаппарата.

Я стал членом секретариата ЦК КПЧ в апреле 1968 года. Это было неожиданно и для меня, и для других. Во-первых, я не входил в ЦК, а действовал лишь в кулуарах аппарата. Для должности секретаря юридической комиссии ЦК КПЧ членство в ЦК не являлось обязательным условием. А вот секретарем ЦК мог быть избран при нормальных обстоятельствах лишь член ЦК. Если меня и причисляли к какому-то клану, то скорее всего к группе Коуцкого и Гендриха, звезда которых, однако, в апреле 1968-го стала быстро закатываться (если не считать рост О. Швестки). С Дубчеком я тогда совсем не был знаком. Черника знал шапочно. Разве что с Кольдером знакомство было более близким, но наши отношения никак нельзя было назвать тесными или дружескими.

Правда, я был одним из авторов «Программы действий КПЧ», в некотором смысле даже основным автором. Это усили-

вало мои позиции в коридорах власти, но я не ожидал, что на этом основании могу получить официальную должность. При формировании нового партийного и государственного руководства в конце марта мне предложили должность генерального прокурора. Но я отказался, желая продолжить концептуальную политико-теоретическую работу. Из предложения к тому же было ясно, какой уровень работы для меня отводят новые власти, и потому никаких высоких партийных постов для себя я не ждал. Вместе с другими членами «рабочей группы», разрабатывавшей «Программу действий», я был приглашен на апрельский пленум ЦК, где предстояло ее принять. Такого рода приглашения практиковались еще при Новотном, что было своеобразным «моральным поощрением» работавших за кулисами политической сцены. В данном конкретном случае я еще и хотел сам прокомментировать представленный проект, пояснить принципиальные вопросы. Я попросил на пленуме слова и выступил. Правда, предпоследним, но это в итоге как раз придало делу политическую окраску: самым последним выступающим оказался Антонин Новотный. Наши выступления представляли собой совершенно противоположные точки зрения, что получилось в общем-то случайно, но это сразу же привлекло внимание. В частности, я в заключение своего выступления сделал критическое замечание в адрес дубчековского руководства за то, что оно теряет инициативу, плетется в хвосте событий вместо того, чтобы политически направлять и руководить происходящим в обществе. Я открыто высказал предостережение, что реформа может оказаться под угрозой, «процесс возрождения» может вылиться в события, подобные венгерским 1956 года. Это высказывание О.Швестка тогда из текста в «Руде право» изънял, но члены ЦК на него обратили внимание. Подобные слова тешили слух и консервативной, сталинской части партийного руководства.

В ходе дискуссии по проекту «Программы действий» Йозеф Гавлин, ставший позже, при Гусаке, секретарем ЦК, а в то время — сдающий полномочия заведомо, курировавшимся Коуцким, высказался за избрание меня секретарем ЦК. В перерыве меня разыскал Дубчек и действительно предложил этот пост, с тем чтобы я вместе с Цисаржем отвечал за идеологию. Я сказал, что должен подумать, но руководство идеологией меня не очень привлекает, поскольку я интересуюсь теоретическими и

практическими вопросами реформы политической системы, и мне бы хотелось иметь возможность оказывать влияние на деятельность государственных органов и общественных организаций, а не идеологических учреждений. Это, в свою очередь, не очень устраивало Дубчека, поскольку на этот участок уже решено было посадить А.Индру. Мы в конце концов договорились, что в следующий перерыв я сообщу свое окончательное решение.

Взвесив общую ситуацию и мое личное положение, я решил, что для меня наиболее целесообразным было бы продолжить в академии наук работу над концепцией политической реформы, но при этом получить должность члена секретариата ЦК КПЧ, а на этом основании и председателя юридической комиссии. Я подумал и о том, что по примеру партийных изданий по экономике, которые стали выходить с началом хозяйственной реформы, для реформирования политической системы также было бы полезным выпускать партийный журнал по политологическим вопросам. В этой ситуации я бы предпочел также стать редактором подобного журнала. Дубчек с моими соображениями согласился, и 5 апреля 1968 года меня избрали членом секретариата ЦК КПЧ, но без «портфеля» секретаря.

А два месяца спустя, когда я получил практическое представление о работе в Президиуме и секретариате ЦК, я сам попросил дать мне должность секретаря. К тому времени я понял, что разговоры на совещаниях руководства ничего не решают, а главную роль играют позиции в структуре власти. Секретарем ЦК КПЧ я был избран 1 июня 1968 года.

Тогда же членом секретариата стал Эвжен Эрбан. До 1948 года он был функционером социал-демократической партии Чехословакии, и его введение в секретариат было призвано продемонстрировать, что бывшим социал-демократам дана зеленая улица, а потому восстанавливать их партию нет необходимости. Однако для тех, кто стремился возобновить деятельность социал-демократии, назначение Эрбана не могло иметь, да и не имело никакого значения. Тем не менее, Эрбан одновременно был назначен секретарем Национального фронта. Там его роль заключалась, скорее, в противодействии Франтишеку Кругелю, его председателю, чем он завоевал благосклонность «нормализаторов», одаривших его после 1968 года за верную службу мало-значительным, но хорошо оплачиваемым местом председателя

Чешского национального совета.

Так в результате закулисных столкновений и компромиссов в недрах аппарата власти, а частично и под влиянием нарастающего демократического движения в партии и в обществе сложилось новое, дубчеховское руководство КПЧ. Оно достаточно адекватно отражало существовавшее соотношение сил в верхах. Но учитывая серьезные политические проблемы, поджигавшие уже в ближайшее время это руководство, являвшееся конгломератом слишком разнородных сил, оно, можно сказать, было заранее обречено увязнуть во внутренних конфликтах. Это само по себе является доказательством того, что руководящая триада — Дубчек, Черник, Кольдер — не сумели правильно предвидеть возможные перспективы и недооценили всю серьезность ситуации в стране.

Наряду с новым партийным руководством сильные мира сего возвели на трон нового президента и новое правительство. Президентский пост тогда в партийном руководстве единодушно рассматривался как нечто имеющее символическое, морально-политическое значение, а не как институт высшей государственной власти. Поэтому на пост президента подыскивалась личность, которая пользовалась бы авторитетом и среди широких слоев населения, и в партии. Этот пост уже не должен был совмещаться с высокими партийными должностями. Партийное руководство инстинктивно внутренне желало иметь «надпартийного» президента для создания хотя бы малейшего впечатления преемственности по отношению к президентам довоенной республики и в то же самое время не хотело, чтобы им стал беспартийный. «Вот бы какого-нибудь профессора», — угодив в самую точку, сказал как-то Кольдер. «Эх, если бы только был жив Неедлый», — добавил затем он уже менее «удачно», видимо, не упуская разницы между Неедлым и президентом Масариком. Стремление отыскать «какого-нибудь профессора» привело к тому, что среди кандидатур появилось и имя президента академии наук Франтишека Шорма. Но в итоге без особых возражений все, от кого зависел выбор президента, сошлись на генерале Людвике Свободе. Он, казалось, отвечал всем чаяниям и 30 марта 1968 года был избран. После акта избрания он возложил венок на могилу Масарика, что с 1948 года было делом невиданным.

Новое правительство, которое возглавил Черник, в профессиональном отношении было более подготовленным, чем партийное руководство. Многие его члены были квалифицированными, разносторонне мыслящими людьми и в большей степени ориентировались в концептуальных проблемах реформы. В определенной мере высокие профессиональные качества правительства были заложены еще при Новотном. Йозеф Ленарт, тогдашний премьер, сам был человеком рациональным и подбирал для работы в правительстве более квалифицированных людей, чем Новотный для партаппарата. Ленарт в молодости прошел школу заводов Бати, и это давало о себе знать. В феврале 1967 года я писал для него доклад о национальных комитетах, и мы поздно вечером с глазу на глаз обсуждали его текст. Ленарт тогда мне сказал: «Ты умный человек, что ты все время толчешься в бараке (бараком на партийном жаргоне называли ЦК)? Держись правительства. Здесь работают, а там только болтают».

В те времена и он мог поплатиться за такие слова. Но Ленарт не только вел крамольные разговоры. У него в правительстве и аппарате действительно были стоящие, способные люди, среди которых можно назвать и министров, отвечавших за экономику, Франтишека Власака и Богумила Сухарду. Хотя хозяйственная реформа 60-х годов и была освящена партийными решениями, но в практическом плане для ее реализации много сделало именно правительство Ленарта.

Таким образом, у Черника было на что опереться. Кроме того, в правительство был «задвинут» ряд способных людей, не попавших в партийное руководство, например Ота Шик, Любомир Штроугал, но и Густав Гусак. Последующие события показали, что способностями Гусака и Штроугала воспользовались впоследствии антиреформаторы, восстанавливавшие по приказу Москвы тоталитарный режим, но все-таки нельзя не признать, что эти люди были гораздо квалифицированнее, чем Биляк и Капек. Последние также «украшали» весной 1968 года дубчековское руководство, а затем стали активными проводниками «нормализации». Некоторые новые министры, например министр иностранных дел Иржи Гаек, министр образования Иржи Кадлец, министр культуры Мирослав Галушка, были не только знающими профессионалами, но и убежденными сторонниками реформ.

Правительственные кадры в большей мере отвечали потребностям реформ, чем кадры партаппарата.

Не случайно 22 августа, на следующий день после советского вторжения в Чехословакию, девять членов дубчековского партийного руководства были уже готовы сформировать коллаборационистское «революционное рабоче-крестьянское правительство» и «революционный трибунал», перед которым наверняка предстали бы Дубчек, Смирковский, Кригель, Черник и другие, а из правительства недостойно повел себя лишь один министр — О.Павловский. Советскую интервенцию изнутри готовил ряд высокопоставленных партийных функционеров, а из правительственных чиновников до этого унизились только начальник управления связи К.Гофман и заместитель министра внутренних дел В.Шалгович. К тому же и Павловского и Шалговича назначал на эти должности не сам Черник. Первого, как я уже говорил, ему навязал А.Индра, а второго — лично Дубчек. Министром внутренних дел в правительстве Черника был Йозеф Павел, кандидатуру которого выдвинул я. В конце марта 1968 года меня вызвали в ЦК, где обсуждался состав нового правительства. Именно тогда Коуцкий предлагал мне должность генерального прокурора, сказав при этом, что пока не ясно, кто будет министром внутренних дел. Кандидатов было несколько, но все они отказывались идти на этот участок. Коуцкий, в частности, называл Олдржиха Воленика, секретаря обкома партии из Остравы. Мы оба прекрасно понимали, что в этой ситуации не найдется никого, кто бы сам рвался на пост министра внутренних дел. Коуцкий спросил, нет ли у меня каких-то соображений на этот счет. Я ответил, что министром внутренних дел должен быть человек, не только знающий это ведомство, но и способный последовательно провести очищение всего аппарата, выставить тех, кто несет там ответственность за нарушение законности в прошлом и не допустить злоупотреблений в будущем. Найти такого человека было нелегко, но я обещал подумать. Коуцкий отправился на заседание политбюро, а я перебирал мысленно различные варианты, пока не остановился на Йозефе Павеле.

Павел вступил в партию еще до войны, командовал в Испании интербригадами, затем воевал в чехословацких частях в Англии, после войны заведовал отделом безопасности ЦК КПЧ, затем стал заместителем министра внутренних дел. В 1951 году

его арестовали. Павел принадлежал к тем немногим, кто, несмотря на бесчеловечные методы допросов, не признал приписываемые ему обвинения, а потому его не смогли использовать ни на одном из инсценированных политических процессов. На совести Павела были, конечно, нарушения законности в период с февраля 1948 года до ареста. Но зато Павел хорошо знал аппарат госбезопасности и его методы, так что провести его было невозможно. Я был уверен, что сама жизнь послужила ему уроком и что многие свои взгляды он изменил не только на словах, но и на деле.

Я попросил вызвать Коуцкого из зала заседания и назвал ему кандидатуру Павела. Коуцкий сказал, что предложит ее на Президиуме. Как дальше проходило обсуждение, предлагал ли Павела еще кто-либо, кто был за, кто против, мне не известно. Но Павел был назначен министром. Он так и остался лично не связанным с Дубчеком, Черником и Кольдером, притом он не обладал необходимой «квалификацией» с точки зрения Москвы — не принадлежал к числу советских ставленников в Чехословакии. На этом посту Павелу было непросто. Но насколько мне известно, он вел себя именно так, как я предполагал: основательно взялся за очищение аппарата госбезопасности и строго соблюдал законность. В этом он был настолько последовательным, что даже мне иногда казалось, что он перегибает палку.

Так, после переговоров Президиума ЦК КПЧ с Политбюро ЦК КПСС 1 августа 1968 года в Чиерне-над-Тисой я стал свидетелем того, как Черник поздно вечером по телефону добивался от Павела, чтобы тот отдал приказ конфисковать весь тираж последнего номера журнала «Репортер». В номере, который к утру должен был появиться в киосках, была какая-то карикатура, разгневавшая Брежнева (ему уже доложили). А ведь именно в Чиерне чехословацкое руководство пообещало «прекратить полемику». Йозеф Павел отказался выполнить указание Черника, сославшись на отсутствие соответствующего закона. Черник было возмутился, но Павел спокойно отреагировал: «Тогда, товарищ председатель, тебе придется найти другого министра внутренних дел». И положил трубку.

Я сказал тогда Павелу, что в такой ситуации можно было бы и выполнить указание Черника. «Может быть, — отпарировал Павел, — тогда ты сам и посылай туда каких-нибудь товарищей,

но не полицию. Если я уступлю раз, уступлю другой, то мы вернемся к тому, что уже было. Тогда тоже все начиналось «в виде исключения», а потом вошло в норму». И я вспомнил, как сам двенадцать лет назад отказался выполнить противоречившее закону указание генерального прокурора, и то, чем это тогда кончилось. Я рассказал об этом Павелу и добавил, что сейчас такой финал в его случае не принес бы ничего хорошего, что ему не стоило бы рисковать собой из-за упрямства в частностях. «Ничего не поделаешь, — твердил он, — пусть тогда это делает кто-то другой». И не уступил.

Среди тех, кого Павел намеревался устранить из безопасности за нарушения законности, было немало людей Москвы. Не удивительно, что вскоре Кремль начал нажимать на Дубчека, чтобы тот остановил чистку в министерстве внутренних дел. Чтобы выйти из положения, кто-то предложил вывести органы госбезопасности из министерства внутренних дел, что поддержал и Дубчек. Так партийное руководство навязало Павелу в качестве заместителя по вопросам госбезопасности Вилиама Шалговича. То, что Шалгович еще с войны являлся сотрудником КГБ, знали все. Кто-то даже обратил на это внимание (я, к сожалению, не помню кто) при обсуждении его кандидатуры на пост заместителя министра. Но Дубчек настоял на его назначении. Возможно, он исходил из того, что на этой должности ему все равно придется держать человека Москвы, и он предпочитал, чтобы им был его товарищ, на которого он сам, как ошибочно казалось Дубчеку, может положиться.

Почему, однако, Дубчек, хорошо знавший советские правила политической игры и старавшийся идти Москве на уступки, все-таки с первых дней своего руководства наталкивался на трудности, недоверие и противодействие со стороны Кремля? Думаю, не из-за политической наивности Дубчека, если под ней понимать то, что Дубчек надеялся на поддержку демократической реформы с советской стороны. Этого Дубчек и не мог ожидать. Напротив, он прекрасно понимал, по каким вопросам и почему в Москве, Варшаве и Берлине с ним не согласятся.

Мне кажется, что в отношениях с Брежневым Дубчек применял ту же тактику, что и в самой Чехословакии: он пытался создать условия, в которых Кремль будет вынужден принять его планы и именно в нем будет видеть гаранта советских интере-

сов, признав, что действия Дубчека диктуются объективно сложившейся внутри страны обстановкой. Дубчек надеялся, что в этом отношении ему послужит широкое демократическое движение: в Москве оно вызовет опасения и в то же время оно заставит Брежнева признать, что без Дубчека возникшие в Чехословакии проблемы и с точки зрения советских интересов разрешить невозможно.

Дубчек и не помышлял о разрыве с Москвой, В таком исходе он видел угрозу чехословацкому социализму. Предполагалось, что деклариовавшиеся им принципы внешней политики и проведенные Дубчеком кадровые перестановки убедительно демонстрируют Москве, что на него можно полностью положиться. Дубчек надеялся, что такая позиция даст ему более широкое поле для самостоятельной политики на первоочередных, по его представлениям, направлениях. Именно поэтому он предпринимал самостоятельные шаги в решении некоторых программных и персональных вопросов. В докладах позволял себе высказывания, которых, как ему было заведомо известно, Брежнев либо вообще бы не делал, либо формулировал бы совсем по-другому. Назначал на должности без согласования с Москвой. Но как только он чувствовал, что назревает серьезный конфликт, тут же делал шаги навстречу скрытым или явным пожеланиям Москвы, надеясь таким образом «убедить товарищей».

Почему же тактика Дубчека не увенчалась успехом? Об этом подробнее в следующей главе.

* * *

Что тогда происходило вне правящих структур, где в первые месяцы Пражской весны шла в основном дележка кресел? Что представляли собой уже упомянутые нажим и давление общественности, с которыми, наконец, были связаны и некоторые кадровые перестановки в коридорах власти? Я уже говорил, что этот нажим осуществлялся в формах, не благоприятствовавших реализации курса на постепенную демократизацию, намеченного в «Программе действий КПЧ». То же можно сказать и о некоторых политических лозунгах и конкретных требованиях, выдвигавшихся мощной демократической волной. Они были направле-

ны на конфронтацию с правящей КПЧ.

Сюда относятся попытки восстановить социал-демократическую партию и преобразовать в новоявленную политическую партию вне Национального фронта Клуб активных беспартийных (КАН). Следует, однако, отметить, что значение такого рода тенденций в период Пражской весны преувеличивалось главным образом политиками, представлявшими крайние течения и справа, и слева. На самом деле не эти тенденции определяли главное содержание широкого демократического движения «низов».

Людей интересовали в первую очередь не политические формы и механизмы демократии, а существо отношений между ними и политической властью. Сначала они лишь несмело надеялись, а затем в процессе Пражской весны поверили, что власть и правительство действительно могли бы стать их властью и правительством и что их мысли, взгляды, дела могут иметь реальный вес. Решающим фактором политической жизни постепенно становилось нечто такое, на что профессионалы-политики, разрабатывавшие концепцию политической реформы, не рассчитывали: вера народа в гуманные, демократические идеалы, надежда, что коммунисты-реформаторы будут ими руководствоваться на практике.

Сразу после смещения Новотного в январе 1968 года люди по большей части лишь с любопытством ожидали, что «там» произойдет дальше. Мало кто верил, что случится нечто значительное в личной жизни каждого, тем более что наступит настоящий переворот только потому, что «наверху» снова затеяли какую-то возню и потасовку. Среди членов партии перемены в руководстве вызвали большой резонанс, но и они, рядовые коммунисты на предприятиях, в низовых организациях, не осознавали полностью значения происходивших событий. Правда, убеждение, что ничего, собственно, не произошло, в котором секретарь ЦК КПЧ В. Коуцкий пребывал вплоть до марта, народ разделял только в январе.

Но всего через несколько недель положение стало резко меняться. В печати, по радио, телевидению стали звучать непривычно свободололюбивые речи. Вначале люди выжидали, чем это кончится. Но цензура не вмешивалась. ЦК КПЧ не принимал мер, не наказывал лихих журналистов, не комментировал их

действия как недопустимые с точки зрения «народа и рабочего класса». Напротив, Дубчек выступил на съезде работников сельскохозяйственной кооперации и говорил там не только об улучшениях, производительности труда, кукурузе и поголовье скота, но и о «самореализации человека». Началась открытая критика не только предприятий сферы обслуживания и их администрации, но и методов работы КПЧ, профсоюзов, органов госбезопасности и юстиции, и, как следствие, сняли с постов ряд секретарей ЦК, руководителей центрального совета профсоюзов, министра внутренних дел и генерального прокурора. На открытых партийных собраниях люди все чаще просили слова не для имитации «единства партии и народа», а чтобы высказать собственную точку зрения, поспорить, что-то предложить. На одном из массовых митингов было выдвинуто требование об отставке Новотного с президентского поста. И манифестантов не разогнала полиция, их не клеймила «Руде право», более того, все это передавалось по радио. Но самым невероятным было то, что через восемь дней Новотный действительно заявил о своем уходе.

Случилось это символично — в первый по-настоящему весенний день 21 марта 1968 года. В этот год весна в Праге началась не только по астрономическому календарю и не только в смысле политической оттепели, но и в смысле человеческих надежд. У людей пробуждалась вера в собственную значимость, в то, что их судьба в их собственных руках, что они сами могут управлять своими делами и делами всего общества.

Все чаще в общественной жизни стали появляться настроения, которые в прошлом были характерны лишь для судьбоносных моментов истории народа, таких, как октябрь 1918 года и май 1945 года. Многолетнее отчаяние сменили ликование, радость, упоение первыми днями свободы, надежда, что возврат к старому невозможен. Это не было связано с чистой политикой, тем более определенными политическими концепциями, восприятием конкретных форм и механизмов демократического устройства. Просто люди почувствовали, что жизнь их меняется и перемены эти к лучшему.

Пока «наверху» коммунисты-реформаторы и демократы вели борьбу с коммунистами, мысли и чувства которых были скованы догмами тоталитарного режима, а также с советскими

ставленниками в партийном аппарате, Пражская весна — независимо от ее сценаристов — дала толчок к росту новых мощных побегов, пробудила веру народа в предоставляемый историей шанс. Именно этот фактор с марта по июнь занимает все большее место в общественной и личной жизни людей. Это время было своеобразной ярмаркой надежд и желаний, где личное переплеталось с общественным, создавая особую атмосферу праздника. Ради лучшего завтра, которое, собственно, уже наступало, народ был готов великодушно отпустить старые грехи.

При всей пестроте, калейдоскопичности надежд и желаний можно было все же разглядеть экономические, общественные и политические интересы различных слоев и социальных групп. Интерес рабочих и других слоев трудящихся состоял в повышении уровня жизни. Для них надежда на более полное удовлетворение материальных потребностей была важнейшим побудительным мотивом, указывающим на то, что Чехословакия вступила в потребительскую стадию развития общества. Различные общественные слои, руководствуясь групповыми интересами, стремились к расширению своего участия в процессе принятия политических решений. И рабочие, и интеллигенция не были удовлетворены степенью своего влияния на ход общественных дел при Новотном. В этих устремлениях социальных групп прежние классовые противоречия и антагонизмы роли практически уже не играли. Люди исходили из новых политических реалий, сложившихся за период после 1948 года. В первую очередь выдвигались требования соблюдения гражданских и политических прав, как это принято в правовых государствах, основанных на принципах плюралистической демократии. Все было так, но тогда уже действовали и другие факторы.

Государство оставалось тем же, что и прежде. В его руководстве произошли персональные перестановки, но парламент по-прежнему оставался органом, который фактически никто не избирал, ибо выборы были только формальным, ритуальным актом. Сохранялся тот же бюрократический аппарат управления, органы государственной безопасности и дискредитировавшие себя судебные власти. Тем не менее люди сдавали в «золотой фонд» этого государства обручальные кольца и фамильные драгоценности. Почему? КПЧ оставалась партией, монопольно, дик-

таторски правившей в стране на протяжении двадцати лет. К руководству, правда, пришли новые люди, но большинство их несколько месяцев назад в восприятии населения почти ничем не отличалось от других партийных деятелей. Партия выступила с новой программой, но сколько программ уже принималось до этого? Если бы всего полгода тому назад были проведены действительно свободные выборы, то компартия не могла бы рассчитывать даже на голоса собственных членов. А сейчас совершенно объективные опросы общественного мнения показывали, что политику партии поддерживает 75 % населения, причем 25 % — безоговорочно. Чем же все это объяснить?

Социализм для чехов и словаков был не абстрактным понятием, а тем самым строем, при котором они жили на протяжении долгого периода в двадцать лет и завершение которого приветствовали с надеждой. И все же 80 % населения высказывалось за социализм. Правда, преимущественно под этим подразумевалась уверенность в завтрашнем дне, забота государства о насущных нуждах людей и т. д. Да, но куда вдруг исчезло недовольство массой конкретных неудобств повседневной жизни, которые у людей также ассоциировались с «социализмом»? И наконец, эти же самые люди совершенно иначе вели себя всего полгода назад. Ведь не подменили же чехословацкий народ. Ведь это те же самые люди, которые еще недавно по команде сверху, как один, украшали кумачом окна в дни официальных праздников, ходили на демонстрации, поднимали руки на собраниях, от имени которых что-то запрещалось, осуждалось и которые при этом в действительности пеклись в основном о своих личных делах, старались из всего извлечь для себя выгоду, обвести партию и государство вокруг пальца, думали одно, а говорили то, что от них требовалось. И это тот самый народ, который уже через два года снова будет вести себя точно так же, но об этом в период Пражской весны никто даже не подозревал. Как объяснить все это?

Мне думается, что здесь возможен только один ответ: поверив своим надеждам, люди встали на сторону гуманизма и демократии, которые на протяжении многих поколений вызревали в формировались в народе как ценности не столько политические, сколько нравственные. Эти ценности вдохновляли деятелей национального возрождения в прошлом веке, ковались в борьбе

за национальную независимость с Австро-Венгрией, культивировались Т.Г.Масариком. Они получили свое дальнейшее развитие в культуре и политике первой Чехословацкой республики, потом были насильственно подавлены в период нацистской оккупации и возродились снова в 1945 году. Пришедший к власти после 1948 года тоталитарный режим, диктатура КПЧ также пытались задушить их, бессовестно на них паразитировали, но все безуспешно, весной 1968 года они с новой силой проявились в политической жизни.

Как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, годы сталинизма в Чехословакии лишь укрепили в национальном сознании те идеалы, которые власть всячески пыталась искоренить. Диктатура наглядно показала, к чему приводит их забвение, и это подтолкнуло на путь реформ даже «идейно убежденных» сталинистов. В сознании народа ценности демократии и гуманизма были реабилитированы задолго до 1968 года. Внутренне большинство руководствовалось именно ими. Правда, очень немногие отваживались открыто заявлять об этом, жить по совести, когда это было небезопасно. Но все знали, что это следствие человеческой слабости, страха, который посеяла в душах людей диктатура.

Жить в страхе, действуя по указке, а не так, как в глубине души считаешь правильным, достойным, — тяжелое бремя и для отдельного человека, и для социальной группы, и для всего народа. Поэтому избавление от такого страха приветствуется как воскрешение. А тот, кто помог избавиться от страха, завоевывает доверие и поддержку. Ключ к пониманию успеха коммунистов-реформаторов в период Пражской весны, ореола легендарности вокруг имени Александра Дубчека именно в этом, а не в самой программе реформ и не в каких-то качествах политиков.

Пражская весна в одночасье освободила чехов и словаков от страха, ведь это было возможно и без комплексного преобразования политической системы. Для этого не нужно было ни программных концепций, ни немедленных широкомасштабных и последовательных кадровых перемен. Хватило встряски структур власти и замены нескольких ключевых фигур в руководстве, чтобы диктатура на время оказалась парализованной. Достаточно было лишь позволить свободно высказываться на собраниях, в печати, по радио и телевидению. Уже одно это избавило людей

от страха.

Освободившись от страха, демократическое сознание народа стало главным фактором Пражской весны. С апреля по июнь уже это играло определяющую роль. В июле, однако, зазвучали новые голоса — партия Кремля в сопровождении хора Варшавского Договора. Возникла опасность, что освобождение от страха может оказаться недолговечным, что страх готовится к наступлению. Это сознавал не только народ, но и коммунисты-реформаторы, являвшиеся его частью. За прошедшие месяцы они стали единым целым и все яснее понимали это. Постепенно доверие народа к коммунистам-реформаторам как бы наделило их максимальными полномочиями, как тогда говорили, предоставило им мандат.

Становилось все более очевидным, что одного избавления от страха, при всей значимости этого процесса, в мире власти и насилия недостаточно, что оно само по себе не может уберечь от опасностей, подстерегающих на пути к демократии и свободе. Создавшаяся драматическая ситуация угрожала вылиться в новую трагедию. Но время для переделки сценария и замены слабых актеров было упущено. Как все это сказалось на поведении власть имущих?

В компартии происходила все большая дифференциация. Это касалось не только коммунистов-реформаторов и консерваторов в «верхах». Рядовые члены партии тоже определяли свою позицию по отношению к тому, что требовал народ. Главной линией водораздела стал отказ или принятие гуманистических демократических ценностей как основы социалистического общества. Проблема приобрела морально-политический характер, даже в большей степени моральный, чем политический. Коммунисты — часть народа, и всенародное движение захватило их, как и всех остальных. На суд их совести была вынесена коммунистическая идеология и их политическое прошлое. Речь шла не о рациональном политическом расчете, на передний план выступили чисто человеческие, глубоко личные ценности.

Реформа тоталитарного режима, начатая самими коммунистами, вылилась в широкое общественное движение с мощным нравственным зарядом. Перед лицом этого движения коммунисты, часто независимо от своего прошлого, разделились на два основных лагеря. Большинство внутренне слилось с всена-

родным движением, признало его нравственную силу, встало ему на службу. Многих из них позднее, в атмосфере вновь вернувшегося страха удалось сломить, как, впрочем, и миллионы беспартийных. Некоторые, тоже не только коммунисты, даже приложили руку к «нормализации». Но во время Пражской весны лишь незначительная часть коммунистов полностью дистанцировалась от всенародного движения. И поскольку в столь остром нравственно-политическом конфликте нейтральным быть невозможно, эта группа встала на откровенно враждебные позиции. То, что ярко обнажилось в дни советской интервенции, вызревало с мая по июль 1968 года. Военное вторжение привнесло лишь небольшие дополнительные штрихи в этот процесс, ничего не меняя по существу. Незначительное меньшинство, о котором идет речь, составляли люди, запродавшие по различным причинам свою душу самодержавному сталинизму. Все это были советские ставленники в Чехословакии, и не столь уж важно, сотрудничали ли они непосредственно с советским посольством в Праге, с КГБ или нет. Среди них были и беспартийные — люди известные (как отец Плойгар) и малоизвестные.

Конечно, не все, кто руководствовался в эти месяцы демократическими принципами, навсегда сохранили им верность. Предполагать это было бы иллюзией, и многие позднее против этих же принципов активно выступали. Но все-таки, когда народ избавили от страха, подавляющее большинство попутчиков не могло идти против течения. Эти месяцы стали «моментом истины»: они показали готовность народа принять социализм, но лишь как строй демократический и гуманный, и решительно отвергнуть его, если он представал в обличье тоталитарного режима, диктатуры. На этих же позициях стояло и большинство тогдашних членов правящей партии. В глазах Москвы, разумеется, такая ситуация представлялась настоящей катастрофой, в этом смысле военная интервенция была шагом вполне логичным.

* * *

Перед дубчековским руководством, как и перед всей пар-

тием, встал вопрос об отношении к тому, что стихийно происходило в «низах». Каждому предстояло определиться, как реагировать на общенародное движение, требования, выдвигавшиеся, как тогда говорили, «процессом возрождения». А поскольку на первых этапах главными были вопросы не столько политического, сколько нравственного порядка, то и в «верхах» выбор позиции обуславливался не в последнюю очередь личными качествами человека, они, таким образом, приобретали особое значение. Но когда потребовалось приступить к конкретным шагам по реализации политических реформ, именно это стало играть противоречивую роль, зачастую осложняя ситуацию.

В апреле — мае под воздействием новой атмосферы в обществе распалась тройка — Дубчек, Черник и Кольдер.

Политический вес Александра Дубчека за эти месяцы возрос с головокружительной быстротой, что было неожиданным и для него самого, и для его окружения, и, несомненно, для Кремля. И действительно, было чему удивляться: первый секретарь компартии, которая на протяжении двадцати лет проводила в стране диктаторскую политику, стал харизматическим лидером народного движения за демократию и гуманизм. Такого еще не было в истории коммунистического движения.

Нетрудно, однако, привести ряд рациональных, далеких от сентиментальной восторженности доводов, объясняющих причины столь высокого авторитета Дубчека. Весомая причина состояла в том, что для представителей самых различных течений — как противников, так и сторонников демократических реформ — было политически более выгодным демонстрировать свою личную преданность Дубчеку. Своей неопределенностью это было удобнее, чем декларировать приверженность «Программе действий», это не связывало рук в конкретных политических вопросах, было даже модным и отвечало стихийному желанию людей отождествлять политическую программу с определенной личностью. Поэтому на авторитет Дубчека работали представители противоположных взглядов в надежде, что именно им удастся использовать его в своих целях.

Но это объяснение все же недостаточно для полного понимания роли, которую играл Дубчек во время Пражской весны. Исчерпывающих объяснений не найти и в выступлениях самого Дубчека. Они были довольно оригинальны по форме, по манере

изложения, но по содержанию мало чем отличались от речей других политиков. Ведь доклады Дубчека, как и выступления руководителей до и после него, писали и пишут помощники, «рабочие группы» или другие политические работники (многие речи были написаны мной). Поскольку в «рабочие группы» стремились попасть представители различных течений, в текстах, которые получал Дубчек, с самого начала разные точки зрения были более или менее сбалансированы.

Быть может, росту популярности Дубчека способствовало то, что печать и телевидение освещали его личную жизнь, показывая, например, как он прыгает с вышки в бассейн? Быть может, людей очаровала его улыбка? Все это, конечно, играло определенную роль. Ведь на протяжении многих лет руководители представляли перед людьми лишь в подобии безликих, напыщенных истуканов. И все же главным было не это. Если бы все дело было в улыбке, то самым большим любимцем публики стал бы Честмир Цисарж. Он улыбался, как для рекламы зубной пасты, причем делал это при каждом удобном случае и так замечательно, что, пожалуй, мог бы не без успеха участвовать в кампании по выборам в американский конгресс. Но вряд ли этого ему было бы достаточно, чтобы претендовать на ту роль, которую в Пражской весне играл Дубчек.

Я усматриваю причину, по которой народ оказывал поддержку Дубчеку, в другом — он верил в свои идеалы. Дубчек был «верующим» правителем, и в момент, когда народу нужна была вера, все это безошибочно почувствовали. О том, что народ обрел веру, знал, в свою очередь, и Дубчек. Он верил в людей, верил глубоко и искренне. И они ему платили тем же. Во что в той или иной ситуации верил Дубчек, а во что народ, было не так важно, как сам факт веры. После десятилетий господства цинизма и лицемерия искренность Дубчека была особенно притягательной в глазах народа, для которого чистая человеческая вера являлась ценностью уже сама по себе.

Лишь в сочетании с этим феноменом могли иметь значение другие обстоятельства и личные качества Дубчека. Он не был авторитарной личностью, и это проявлялось буквально на каждом шагу. Выступая перед массовой аудиторией, он не чувствовал себя уверенно, волновался, но от этого еще больше росли симпатии к нему. Он не был оратором, способным увле-

кать массы, однако в узком кругу из нескольких человек все оказывались полностью в его власти. Дубчек умел и слушать. Он выслушивал других всегда с неподдельным интересом, был открыт любым идеям. Даже если он оставался при своей точке зрения, что случалось довольно часто, поскольку переубедить его было нелегко, то не акцентировал и не афишировал этого, продвигал свои идеи тихо и неброско. Дубчек был наименее авторитарной фигурой, но он отнюдь не был очень податливым или лишенным упрямства.

Личные качества Дубчека проявились и в его отношении к власти. Она не вскружила, ему голову, он не злоупотреблял ею ради собственной выгоды и — что, пожалуй, самое важное — не считал власть наиболее подходящим средством осуществления исповедовавшихся им коммунистических идеалов. Дубчек искренне верил в коммунизм и считал себя убежденным марксистом-ленинцем, но он отрицал насилие и авторитарную власть. Соглашаясь со многими изложенными в брошюрах по марксизму-ленинизму тезисами о классовой борьбе внутри страны и в мировом масштабе, Дубчек считал допустимым насилие только в целях защиты коммунистических идеалов от посягательств открыто враждебных сил, но отвергал его как средство достижения политических целей.

Если бы кто-нибудь сказал Дубчеку, что он действует не по-ленински, а по-масариковски, он наверняка бы стал решительно возражать. Отчасти обоснованно, поскольку Дубчек действительно не был гуманистом масариковского типа. И все же в конкретной ситуации абстрактные идеологические установки человека не имеют существенного значения, важнее его практические действия. Отношение же Дубчека, в его практическом преломлении, к насильственным, диктаторским методам руководства полностью отвечало национальным демократическим, гуманистическим традициям, антидиктаторской философской концепции Масарика.

Дубчек не случайно стал символом Пражской весны: его лидерство предопределили его человеческие и политические качества. В этом смысле избрание Дубчека первым секретарем ЦК КПЧ было большой удачей, поскольку популярность политики реформ подкреплялась его личным авторитетом, какого не было у других партийных руководителей. С иных точек зрения его роль

была менее благоприятной, а иногда просто отрицательной.

Сам Дубчек, по-моему, до конца не понимал своей собственной роли. В этом-то и была первая из проблем. Он не видел всех взаимосвязей своей популярности, полагал, что она означает всеобщую поддержку и его политических концепций. Другими словами, Дубчек не ошибался в том, что народ ему верил, но он заблуждался, считая, что, так же как и он, народ верен «марксизму-ленинизму», готов поддержать любые практические шаги Дубчека. По мере роста популярности и личного авторитета он стал переоценивать свои реальные политические возможности. Ему казалось, что, опираясь на огромную популярность, он сможет преодолеть любые трудности, хотя на деле это требовало не только его доброй воли, но и продуманных политических шагов. Неоправданная переоценка собственных возможностей в конфликте с Кремлем была также порождена уверенностью, что всеобщая его популярность будет и для Брежнева достаточным доказательством отсутствия в Чехословакии угрозы «контрреволюции».

Дубчек обладал не только положительными качествами, но и рядом недостатков. В первую очередь, его отличала нерешительность, проявлявшаяся в затягивании решений даже тогда, когда нужна была незамедлительная реакция. Это качество было обратной стороной того самого в общем-то положительного стремления «убедить товарищей» не принимать авторитарных мер. В ряде случаев, когда уже были налицо все «за» и «против» и когда развязка зависела только от него, Дубчек все еще колебался и колебался. В результате зачастую решения фактически принимались помимо его воли и не те, которые бы он сам предпочел. Ему же не оставалось ничего другого, как принять свершившееся к сведению и смириться уже с данной ситуацией.

Дубчек являлся символом великих идеалов демократического социализма. Но внутри партийного руководства он был главой могущественного политического аппарата, в недрах которого он в общем-то старыми методами проводил довольно ограниченную политику, нерешительно маневрируя между различными группировками в КПЧ и в конфликтных отношениях с Москвой. И все же популярность Дубчека в народе была настолько велика, что даже противники не отваживались открыто выступить против него, а, напротив, всячески старались перетянуть

его на свою сторону.

Васил Биляк постоянно на заседаниях Президиума ЦК пытался раскрыть Дубчеку глаза на то, что он-де становится жертвой «антисоциалистических сил», что эти силы пытаются его провести, прибегая к тактике «с Дубчеком против Дубчека», тогда как его настоящий единомышленник он, Биляк. Со временем на эти позиции встал также Кольдер. Когда оказалось, что такие приемы результата не имеют, в ход пошла критика. Эмиль Риго — «представитель трудящихся» в политбюро (он был секретарем парткома металлургического комбината в Восточной Словакии) стал заявлять, что «простые люди» уже поговаривают о «культе личности» Дубчека. К этой критике осторожно подключились и другие, главным образом все те же Биляк и Кольдер.

Дубчек, однако, не был настолько наивен, чтобы считать подобные выпады «товарищеской подсказкой», и пропускал их мимо ушей.

Второй представитель вначале единой тройки, Олдржих Черник, в отличие от Дубчека не был харизматическим лидером. Не подходил он и на роль политического трибуна, каким был Йозеф Смирковский. Но за апрель-май 1968 года и он вырос в глазах общественности в весьма популярного политика. Он был прагматиком, не идеологом, не агитатором, а практиком. Черник также сумел завоевать доверие, но не верой и открытостью, а деловитостью и отточенностью выступлений. Черник был способен с успехом возглавить любое правительство, кроме тоталитарного, исключаяющего именно рациональность, прагматизм и деловитость. Не удивительно, что при тоталитарном режиме Новотного Черник примкнул к сторонникам Демократических реформ.

Он ратовал за демократию, потому что считал демократическую систему более рациональной и эффективной. Он был умным и талантливым организатором и понимал, что только в этой системе способный человек будет стремиться проявить себя. Именно это определяло его отношение к демократии и гражданским правам.

Но было бы ошибкой считать приверженность Черника демократическим реформам 1968 года исключительно конъюнктурным расчетом технократа, которого сама по себе демократия, собственно, не волнует. Черник встал на сторону демократиче-

ских перемен, поскольку понимал, какой нравственной силой заряжено всенародное демократическое движение. А так как нравственные аспекты играли важнейшую роль в политической жизни страны, Черник вел себя сообразно этому, что позволило ему еще больше сблизиться с Дубчеком. В политическом плане это было на руку Чернику — ведь на него таким образом падал отблеск славы харизматической фигуры Дубчека. Но действия Черника диктовались не только этим. В тот период он уже целиком и полностью разделял концепцию реформ.

В июне 1968 года как-то по пути из Братиславы в Брно мы с Черником заехали посмотреть замок Леднице в Южной Моравии. Был воскресный день, в парке вокруг замка было многолюдно. Многие здоровались с нами, иногда мы с кем-то заговаривали, Черник подал мяч ребенку — ну, просто сцены для кинохроники. Черник расчувствовался, ему было приятно. Но вел он себя совсем не так, как Дубчек в подобных ситуациях. Тот в такие минуты просто развлекался, общался с людьми, что называется, без задней мысли. Черник же подсознательно держал в уме, что такого рода контакты с народом будут полезны для его политической репутации, хотя, конечно, доброжелательность людей и просто по-человечески доставляла ему удовольствие.

Когда мы свернули с людной дороги и остались наедине, Черник неожиданно пустился в рассуждения:

«Вот взгляни, все, что здесь находится, это наследие феодалов, эксплуататоров. И тем не менее представляет собой немалую ценность для народа. Владельцы этих замков как бы продолжают жить в них. Как ты думаешь, после нас останется что-нибудь?»

Как объяснить столь лирические чувства к феодалам и бывшим собственникам замков? Мне кажется, что Черник на этой воскресной прогулке невольно выдал сокровенные ощущения, которые им тогда владели — ощущения правителя среди подданных. Это характеризует и своеобразие его демократизма: то был демократизм рациональный, в какой-то мере даже аристократический, а потому сентиментальный и уж совсем не бескорыстный.

За годы работы и восхождения вверх в политических структурах аппарата Черник достаточно хорошо научился тому, как следует вести себя в мире сильных, чтобы достигать успеха.

И он в период Пражской весны вел свою игру, расставлял близких себе людей на разные посты, и у него в этом деле лучше была набита рука, чем у Дубчека. Черник был более решительным, он быстрее занимал четкие и жесткие позиции, зато иногда действовал просто авторитарно. Мне думается, что Черник, как и Дубчек, не упивался доставшейся ему властью. Он воспринимал ее так же деловито и рационально, как средство достижения определенной цели. Не был он и идеологическим фанатиком, стремившимся осчастливить людей против их воли. В то же время он готов был употреблять власть не только чаще, чем Дубчек, но и в таких случаях, когда тот либо колебался, либо вообще отказывался прибегать к ней. Черник не верил в действенность добрых помыслов и уговоров, а потому мог разглядеть угрозу своим интересам в самом ее зародыше, когда Дубчек все еще питал надежду, что ему удастся «убедить товарищей».

Дубчек с Черником могли составить удачный тандем политиков. К сожалению, их партнерство не выдержало испытания советской интервенцией, но об этом рассказ еще впереди. Однако даже в то время, когда Дубчек с Черником действовали сообща, Черник не мог полностью уравновесить недостатки Дубчека, так как, будучи главой правительственного, а не партийного аппарата, он не мог непосредственно вмешиваться в конфликты, возникавшие в партийных структурах власти.

Третий член триумvirата, Драгомир Кольдер, к апрелю — маю 1968 года оказался на совершенно иной политической платформе, чем Дубчек и Черник. Всенародное демократическое движение буквально выбило у него почву из-под ног. Кольдер понял, что его перспективы в «верхах» при таком развитии событий туманны, а потому он сделал другой выбор.

Кольдер, в прошлом остравский рабочий, в двадцать три года попал в партаппарат, в 1961 году стал членом политбюро, некоторое время ему оказывал протекцию сам Новотный. Кольдер во многих отношениях был близок к Новотному, поскольку он принадлежал к той категории партработников, которым «партия дала все». Кольдер получил лишь партийно-политическое образование (курсы партпросвещения), свое общественное положение он приобрел исключительно за счет преданности партии. Многие годы работы в аппарате Кольдер занимался экономическими вопросами, хотя не имел для этого соответствующих зна-

ний и квалификации. Его положение больше зависело от того, насколько успешно ему удавалось сориентироваться в скрытых пружинах внутрипартийных конфликтов.

Я познакомился с Кольдером задолго до 1968 года. По-своему он был искренним человеком и в рамках собственной шкалы ценностей — честным. Когда он приходил к заключению, что в чем-то политика партии ошибочна и вредна, он мог занять принципиальную позицию и отстаивать ее, как бульдог, схвативший кость такой мертвой хваткой, что вырвать ее у него выше человеческих сил. Нравственному складу Кольдера противоречили, например, инсценированные политические процессы 50-х годов. Поэтому, став при Новотном (в 1963 г.) председателем очередной «комиссии по реабилитации», Кольдер сделал многое, чтобы продвинуть как можно дальше решение этой болезненной для Новотного проблемы. С тех времен известны случаи, когда Кольдер лично помогал многим репрессированным, в том числе тем, кого тогда, в начале 60-х годов, продолжали незаконно держать в заключении.

Кольдера нельзя было назвать не только масариковским гуманистом, но даже просто демократом. Он был типичным плебеем. Грубое, примитивное простолюдинство Кольдера не было позой, для него на самом деле человеческие потребности сводились прежде всего к материальным. Что же касается духовных ценностей, то Кольдер признавал лишь те, что были ему доступны и понятны, а таких было совсем уж немного. К тому, что выходило за эти рамки, он относился нетерпимо и никогда не отличался смирением, свойственным простым, необразованным, но не грубым людям.

Как-то еще при Новотном во главе делегации КПЧ Кольдер поехал во Францию. Самое большое впечатление на него произвел огромный парижский универмаг, где он последовательно обошел все отделы. Вечером в резиденции чехословацкого посла Кольдер заливал свой шок коньяком и наконец откровенно заявил: «Это просто ужасно, чего мы лишили наших людей! Разве они не заслуживают того же?»

Именно такого рода мотивы, а не теоретические выкладки Шика сыграли главную роль в решении Кольдера поддержать экономическую реформу.

В историческую ночь, когда советские военные самолеты

кружили над зданием ЦК КПЧ, а политбюро спорило о том, какую занять позицию в отношении вторжения, Кольдер выпалил нечто совершенно невероятное: «Мы здесь болтаем, решаем, какими словами их осудить, а в Острове наши бабы давно уже забавляются с ними!» Кольдер наверняка именно так тогда и думал. Он не понимал, что в ту ночь даже самая последняя девка в Чехословакии не пошла бы с русским солдатом, потому что ее нравственные принципы были выше морали члена политбюро Кольдера. Правда, ей были недоступны принципы «пролетарского интернационализма», с которым Кольдер, вероятно, и связывал свои опасения. В отличие от Якеша и, по всей вероятности, Биляка, Индры и других Кольдер не был советским ставленником в КПЧ. Он перешел на сторону контрреформаторов и на службу Москве, исходя не только из политических убеждений, но и в силу чисто человеческих качеств.

Распространено мнение, что люди типа Кольдера выступили против демократической реформы из-за скоррumpированности привилегиями, большой зарплатой и т. п. Мне думается, что этим всего не объяснить. Ведь власть развращала всю верхушку, а против реформ выступили, опасаясь потерять привилегии, немногие.

Привилегии, которыми обладало высшее руководство, были значительными. Я знал об этом и в общих чертах, и в некоторых деталях уже давно. И все же меня поразили будни привилегированной жизни на Олимпе, когда я взошел на него летом 1968 года в качестве секретаря ЦК КПЧ.

Если говорить о чисто финансовой стороне дела, то я как секретарь ЦК получал 14 тысяч крон в месяц (из них 8 тысяч — зарплата, подлежащая по закону налогообложению, а 6 тысяч — специальный, не облагаемый налогами фонд на личные расходы, связанные с выполнением служебных обязанностей). Эта сумма приблизительно в десять раз превышала среднюю зарплату по стране и была приблизительно в три раза выше моего заработка в академии наук. Такую зарплату, какую я получал в академии, в ЦК КПЧ имели мои помощники. При этом моя ставка была ниже зарплаты тех секретарей, которые были еще и членами политбюро. Первый секретарь ЦК КПЧ, председатель правительства и председатель Национального собрания получали в месяц по 25 тысяч крон.

Вначале я думал, что суммы, предназначенные на расходы, связанные с выполнением служебных обязанностей, я и должен использовать по их прямому назначению. Это оказалось, однако, не так. Закуски, напитки, сигареты, подававшиеся на совещаниях в моем кабинете, оплачивались из других фондов, специально выделенных на эти цели. Что же касается транспортных расходов, то таковых, собственно, у меня вообще не было, поскольку все секретари ЦК имели в своем распоряжении служебные машины, которыми в соответствии с внутренними правилами можно было беспрепятственно пользоваться и в личных целях.

Когда я в моей новой должности первый раз приехал на завод (кажется, это было в городе Брно), то, уезжая, обнаружил на заднем сиденье какие-то свертки. Я по своей наивности подумал, что водитель, дожидаясь меня, сделал для себя покупки, и спросил, что это там хорошего продавалось в городе. Шофер с некоторым изумлением в голосе ответил, что это мол все мое — подарки от директора завода. В коробках была деревянная статуэтка олени и что-то из стекла — знаки внимания, рассчитанные на стандартные по тем временам пристрастия высокого начальства к социалистическому реализму и охоте. Эти сувениры, очевидно, также оплачивались из «фонда на расходы, связанные с исполнением служебных обязанностей», но уже директорского. И это было правилом.

Постепенно передо мною все больше открывались тайны повседневной жизни элиты. Достаточно было утром дать знать помощнику или секретарше обо всем, что требовалось устроить — купить костюм или что-то, что можно достать только в Париже. Остальное было делом либо директора пражского «Дома моды», либо чехословацких послов в различных странах мира. За заказанные товары, правда, нужно было платить, но и тут существовал ряд возможностей, как предоставить привилегированным еще большие выгоды. Директора предприятий, например, считали за честь презентовать свое изделие «товарищу секретарю». Качество таких товаров было исключительно высоким, а цена предельно низкой, не выше себестоимости. Естественно, те, кто обеспечивал «товарищей секретарей» товарами, доставали одновременно что-то и для себя на тех же условиях.

Жил я в обычном многоквартирном доме, отказавшись переезжать в особняк. Поэтому я платил за квартиру, как и все. Но можно было переехать в дом, принадлежащий ЦК, где квартплата была уже чисто символической, также «по себестоимости». Все остальные расходы по содержанию дома возмещались из партийной кассы. Как секретарю ЦК мне была положена дача. Особняк располагался у замка Орлик на огороженной и охраняемой территории. Это стоило, как мне помнится, 290 крон в квартал, то есть приблизительно столько, сколько рядовой гражданин платил в то время за двухнедельное проживание в небольшом лесном домике с досками вместо кровати, без воды и туалета.

Это только наиболее бросавшиеся в глаза материальные и финансовые льготы. Но кроме того, существовало еще нечто неосязаемое, играючи устранявшее, однако, тысячи вполне осязаемых препятствий, для преодоления которых простому человеку приходилось ежедневно изрядно попотеть. Власть имущие не страдали, например, от изъятий социалистического здравоохранения — они обслуживались в специальной больнице, где секретарям ЦК предоставлялись апартаменты с приемной, телевизором, другими удобствами. К ним привозили медицинских светил отовсюду, лечили недоступными другим иностранными лекарствами. Эти льготы распространялись и на членов семей.

Благами пользовались все, кто попадал на вершину власти, даже если они к этому целенаправленно не стремились. Что же говорить о тех, для кого привилегии превращались в самоцель? Привилегии сохранялись и при Дубчеке, при самом демократичном в истории КПЧ руководстве. Правда, зарплата стала ниже, чем при Новотном. Кроме того, Дубчек отменил систему раздачи так называемых «конвертов» — Новотный регулярно по своему личному усмотрению одаривал «за верную службу» членов политбюро и секретарей дополнительными суммами в десятки тысяч крон.

На сбережения, накопленные за полгода с секретарской зарплаты, я смог относительно безбедно прожить целых три года, когда с января 1969 года стал работать в Национальном музее, где получал чуть больше 2 тысяч крон в месяц. А что же тогда говорить о тех, кто получал такую зарплату не месяцы, а годы? До сих пор я не могу понять, куда они эти деньги девали. Ведь в Чехословакии нельзя было заниматься предпринима-

тельством, вкладывать деньги в производство, то есть обратить их в капитал. Многие, правда, купив себе особняк, машину, предметы роскоши, принимались обеспечивать тем же детей и родственников. И этот паразитический образ жизни становился смыслом существования лидеров коммунистической партии!

Не вызывает сомнений, что люди, привыкшие к столь благополучной жизни, боятся потерять свое положение, а это, в свою очередь, сказывается на их политических действиях. Я по собственному опыту знаю, как быстро, всего за шесть месяцев я сжился с некоторыми привилегиями и стал воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Это не значит, что ради их сохранения я мог отречься от своих взглядов, но сам бы я уже не ставил вопрос, например, об упразднении правительственных больниц, хотя и считал их одной из форм коррупции власть имущих. Развращающе действуют любые привилегии, тем более когда они сочетаются с властью. Но в какой мере тот или иной человек развращается привилегиями, зависит уже от его нравственных устоев, сложившихся еще до того, как он попадает в мир сильных.

Среди партийных руководителей я встречал два типа людей, коррумпированность которых не знала предела. К первой группе относились люди рациональные, знавшие, что такое мораль, и то, что они сами уже перешли границу допустимого, став откровенными циниками. Ко второй группе относились люди совершенно иного типа — простолюдины. Таких привилегии пленяли полностью, и поскольку их нравственные критерии были просто убогими, они отдавались коррупции совершенно естественно, без угрызений совести, но и без цинизма. Они даже не понимали, что они коррумпированы. Напротив, были искренне убеждены, что ведут себя честно. В КПЧ простолюдины преобладали больше среди коммунистов старшего поколения. А среди политиков, активно действовавших в 1968 году, преобладали циники. Но вот Кольдер принадлежал как раз к категории простолюдинов.

Для него материальные привилегии, бесспорно, имели большое значение, но не сами по себе. Власть, должность, привилегии он воспринимал как подтверждение собственной значимости в жизни. Кольдер принадлежал к числу тех, кто мог возвыситься только за счет политической власти. Без власти он ска-

тился бы на дно. У таких людей точки опоры находятся вне их самих, у них нет внутренних устоев. И когда Кольдер столкнулся с опасностью лишиться внешней опоры, он обратился к единственной ценности, которую он исповедовал, — к тоталитарному режиму, маскируемому «интересами рабочего класса».

Кольдер испытывал к этому внутреннее тяготение и не скрывал его, в том числе и тогда, когда это требовало определенного личного мужества. Так, на пленуме ЦК КПЧ в июле 1968 года, когда было принято решение, что делегация КПЧ не примет участия в Варшавской встрече, несмотря на ультимативное требование Брежнева и лидеров пяти других стран советского блока, из всех членов ЦК только Кольдер открыто заявил, что, подчиняясь большинству, он тем не менее заявляет, что не согласен с его решением, и считает, что прав Брежнев.

Роль, которую Кольдер играл в политике, изменилась в результате перемен во внешних факторах. Его подвергали все большей публичной критике, от которой он уже не мог отбиваться. Вначале Кольдер был за политику реформ, в пределах собственного понимания готов был ее поддерживать. Он переметнулся в другой лагерь не потому, что был в принципе не в состоянии принять реформы. Этим он отличался, например, от В.Биляка, который органически отвергал любые перемены. Причина состояла в страхе за свою судьбу, за свое положение в новой политической ситуации. То же можно сказать и о другом члене политбюро, Олдржихе Швестке.

Может возникнуть вопрос, как же после всего рассказанного мною о Кольдере я могу серьезно говорить о некой его позитивной роли в демократической реформе. Разве человек типа Кольдера способен помочь становлению демократии? И даже если способен, стоит ли добиваться поддержки таких людей?

В политике это вопросы немаловажные, и я отвечаю на них утвердительно. Да, Кольдер мог быть полезен, да, стоило привлекать его на сторону реформы. Если бы у меня было другое мнение, я не стал бы заниматься политикой в Чехословакии ни в 1958, ни в 1968 году. Политика и нравственность, вне всякого сомнения, взаимосвязаны. В определенной ситуации нравственность может даже играть главную роль. В то же время политика — это сфера, в которой поступки важнее, чем личные качества или намерения. Политика — это сфера действий, значи-

мость которых определяется их практическими последствиями. Связывать же воедино функциональные обязанности людей и их человеческие, моральные качества значит создавать тупиковую ситуацию. Из людей типа Кольдера или Швестки никогда бы не могли получиться высоконравственные политики, способные играть достойные роли. Но для целей демократической реформы в этом не было необходимости, от них такой трансформации и не требовалось. Люди типа Кольдера могли помочь уже тем, что не мешали.

Разумеется, было бы идеально, если бы все важнейшие политические роли играли нравственно зрелые и демократически мыслящие люди. Но разве всегда это возможно? Разве это было возможно в обстановке, сложившейся после двадцати лет тоталитарного режима? Кто на первом, да и на последующих этапах Пражской весны мог занять высокие политические посты? Лишь те, кто уже до этого стояли на таких ступеньках пирамиды власти, с которых могли сравнительно легко переступить на самый верх. А кто в прошлом стоял на верхних ступеньках? Как показала Пражская весна — самые разные по складу люди, причем у некоторых приверженность переменам выявилась совершенно неожиданно. Но далеко не все, разумеется, представляли собой удачный сплав политического искусства с высокими моральными качествами.

Даже в условиях зрелой демократии, не связанной с тоталитарным прошлым, положение в этом смысле далеко от идеального. Разве при Масарике лидеры политических партий — от аграрной до партии чешских социалистов — представляли из себя идеальное сочетание политических и человеческих качеств? Разве среди них не было карьеристов, непорядочных и коррумпированных людей? Наверняка были. Но, выполняя свои политические роли, они были обязаны подчиняться демократическим нормам. Политическая система, а не нравственная чистота политических деятелей является гарантией демократии. И в той мере, в какой политика вообще способна на это влиять, — гарантией воплощения идеалов гуманизма.

Я считал и продолжаю считать, что важнейшим нравственным предназначением «процесса возрождения» в Чехословакии 1968 года была стабилизация основ демократической системы, а не преследование отдельных руководителей в

надежде, что, устранив от власти карьеристов и дискредитированных политиков, можно будет назначить на их места достойных. В моем понимании коммунисты-реформаторы, вставшие на этот второй путь, оказались незаметно для себя большими большевиками, чем кто бы то ни было другой. Ведь это была все та же революционная иллюзия, что нравственность на земле можно утвердить средствами политики и политической власти.

Взглянем поближе, как в 1968 году общественность оценивала отдельных политиков. Многие считали неприемлемым сохранение в реформаторском политбюро Кольдера и Швестки и полагали, что по праву вместо них там должен восседать Гусак. А что устроил Гусак, попав в политбюро? А вот другой пример. В июле 1968 года на пражской городской партийной конференции один из выступавших обвинил Алоиса Индру, что тот в бытность свою секретарем КПЧ в Готвальдове в начале 50-х годов входил в состав «пятерки», которые тогда подменяли суды, отправляли людей за решетку, а в отдельных случаях выносили и смертные приговоры. Самого Индры на конференции не было. Я же там был в качестве члена делегации ЦК КПЧ. Я знал, что это обвинение по адресу Индры лишено оснований. Когда он работал в Готвальдове, «пятерок» уже вообще не было. Я попросил слова и сказал об этом собравшимся. В то время, надо сказать, я не питал никаких иллюзий в отношении Индры и его политических взглядов — он был открытым противником реформ, руководствовавшимся исключительно московскими директивами. Вечером того же дня Радован Рихта предложил мне подумать, могу ли я, защищая Индру, оставаться на своей должности. Если так будет, уверял меня Рихта, «прогрессивное крыло» в партии откажет мне в поддержке.

Среди «прогрессивных» Рихта был тогда заметной фигурой. Он был идеологом светлого будущего коммунизма, научно-технической революции и, по существу, автором формулы «социализм с человеческим лицом». Именно Рихта вложил эти слова в уста Дубчека и включил их в текст «Программы действий КПЧ». Мне известно, что тогда многие коммунисты-реформаторы без малейших сомнений готовы были ввести Рихту в политбюро — и не только вместо Швестки или Индры, но и вместо меня, «центриста». А как себя повел Радован Рихта после 1969 года? Он не просто испугался, он бесстыдно сподличал. Рихта предал

людей, которые на протяжении многих лет были его ближайшими друзьями и которые выхаживали его, как брата, когда он болел туберкулезом, не имел никакого политического веса и считался безнадежным.

Рассказывают, что в начале 70-х годов Рихта взялся подвезти на своей машине незнакомую девушку, голосовавшую на дороге. Когда они по пути обогнали колонну советских военных грузовиков с солдатами, девушка плюнула в них через окно. Рихта же остановился и велел девушке выйти. Он прекрасно знал, что через несколько минут на этом месте будут те самые советские солдаты, в которых она плюнула. Кольдер, я уверен, так бы не поступил. Возможно, он вообще не стал бы подвозить незнакомую девушку. Но если бы произошло нечто подобное, Кольдер просто прочел бы ей проповедь о принципах пролетарского интернационализма. Он был способен «пригласить» советские войска в Чехословакию, но на откровенную человеческую подлость он способен не был. В отличие от автора популярного тезиса о человеческом лице социализма, Кольдер не был трусом.

Узел нравственных и политических проблем 1968 года был невероятно запутанным. Я не буду останавливаться на характеристиках других членов партийного руководства, а обрисую общую атмосферу, царившую в партийных верхах.

* * *

Министра иностранных дел Иржи Гаека однажды пригласили на заседание Президиума и секретариата ЦК КПЧ, где рассматривался вопрос о предстоящей встрече с Политбюро ЦК КПСС в Чиерне-над-Тисой. В перерыве после двухчасовой дискуссии Гаек отозвал меня в сторону и шепотом спросил: «Если это — партийное руководство, то как я мог стать министром иностранных дел?» — «Не обращай внимания, — ответил я ему. — Я вот тут тоже секретарь ЦК и ничего, так что не переживай».

Почему Гаек задал мне такой вопрос? Заседание партийного руководства представляло собой серию монологов об общих политических и идеологических проблемах, рассказов из жизни, мнений, высказанных кем-то или где-то напечатанных. На стороннего наблюдателя такие совещания производили впечат-

ление диспутов по мировоззренческим проблемам, во время которых речь шла о событиях, начиная с Октябрьской революции и кончая второй мировой войной, XX съездом КПСС и «Программой действий КПЧ». А еще больше это было похоже на заседание редколлегии какого-то журнала или на собрание с повесткой дня: о чем говорят в народе за кружкой пива. Сторонний наблюдатель ждал, когда же начнется обсуждение актуальных принципиальных вопросов. Иржи Гаек, например, не мог дожждаться, когда, наконец, пойдет предметный разговор о подготовке встречи с советским политбюро. Когда начнут обсуждать, на чем следует сосредоточить особое внимание, как обосновывать собственную позицию и какие аргументы может выдвинуть другая сторона, какие компромиссы допустимы, а в каких вопросах уступать нельзя, на какие варианты можно в итоге рассчитывать и как нужно будет действовать при первом, втором или третьем варианте.

Ничего Гаек так и не дождался. Но зато он узнал, что Антонин Капек за Советский Союз всем сердцем и всей душой и что его позиции непоколебимы. Что для Басила Биляка здание чехословацкого социализма представляется просто совершенным и задача лишь в том, чтобы его украсить, решить куда поставить цветы или повесить картину, тогда как «некоторые» хотят это здание просто разрушить и начать зачем-то возводить нечто новое. Ян Пиллер в свою очередь сообщил, что на активе районных парторганизаций один из выступавших рассказывал, как на собрании организации бывших политзаключенных К-231 раздавались призывы вешать коммунистов и что это уж открытый антикоммунизм. Но при этом Пиллер подчеркивал, что процесс возрождения — здоровый процесс, и это обязательно нужно разъяснить советским товарищам. Честмир Цисарж выступил на тему о свободе печати. Он говорил, что она необходима в здоровом социалистическом обществе, а потому нельзя допустить, чтобы критика отдельных передержек в печати вылилась в догматическую критику свободы слова как таковой. Эмиль Риго рассказал, что партийные активисты на его заводе с опасением ждут, чем все это кончится. Он привел несколько конкретных высказываний. Алоис Индра ничего не говорил, но все прилежно записывал в блокнот с пронумерованными страницами, прошитыми красно-бело-синим шнуром. В таких тетрадах в Че-

хословакии делались секретные записи. Я никаких заметок не делал (о чем потом иногда жалел), так что Алоис Индра мог бы легко уличить меня в том, что приведенные мною высказывания шли не в той последовательности или что это говорилось на другом заседании. Но он обязательно в том или ином виде нашел бы в своих записях все эти высказывания, так как сам дух совещаний дубчековского руководства был именно таким.

Весь этот винегрет высказываний внимательно выслушивал сидевший во главе стола Дубчек. Он, как истинный демократ, ждал, пока товарищи выговорятся. Когда же становилось ясно, что ничего нового они уже не скажут, Дубчек, как правило, завершал дискуссию провозглашением собственного кредо: нужно прежде всего направить усилия на решение позитивных задач, активизировать конструктивную деятельность и тем самым нейтрализовать негативные явления. Трудящиеся поддерживают нашу политику, и, опираясь на них, мы не можем не победить.

Этим я вовсе не хочу сказать, что в период Пражской весны партийное руководство совсем не принимало конкретных, своевременных и важных политических решений. Известен целый ряд таких решений, они зафиксированы документально, отражены в печати, хранятся в архивах, и по ним историки будут оценивать достоинства и просчеты дубчековского руководства. Но процесс принятия таких решений был далек от демократического. Это и дает ответ на вопрос, как вообще стало возможным, что партийное руководство, значительная часть которого была настроена против реформы и даже рассчитывала на советское военное вмешательство, принимало прогрессивные постановления.

Президиум и секретариат ЦК КПЧ работали, по существу, так же, как и во времена Новотного. На каждое заседание выносилось очень много вопросов и около килограмма рабочих материалов. Я намеренно привожу их вес, поскольку для членов партийного руководства, за день-два до заседания получавших пакеты с бумагами, главным был именно их вес и объем. Никто, даже при большом желании, не был в состоянии прочитать все это. Пакет попадал к помощникам, сотрудникам аппарата, и они писали по некоторым материалам замечания. Содержавшиеся в пакете документы также составляли помощники и члены «рабочих групп», иногда те же, кто потом изобретал к ним замечания.

На утверждение партийных органов выносилось такое же множество мелких вопросов, как и при Новотном, а то и еще больше, поскольку в беспокойное время все чувствовали себя неуверенно и предпочитали на каждую инициативу получить «добро» руководства. Многие вынесенные на обсуждение вопросы вообще не интересовали присутствующих, но на них все равно уходила масса времени.

Не будет преувеличением сказать, что не более четверти вопросов, включенных в повестку дня, имели принципиальное политическое значение. Проекты документов составляли, как и при Новотном, сотрудники «рабочих групп», аппарата и помощники партийных руководителей. Среди них сторонники реформ еще до 1968 года имели прочные позиции, а весной 1968-го они еще более укрепились. Здесь были люди, не только разрабатывавшие политические концепции, но и способные переложить их на язык конкретных действий и проектов. В результате партийное руководство принимало некоторые продуктивные и четко сформулированные решения, чем они разительно отличались от пустых дебатов, происходивших на заседаниях.

Когда высшим партийным органам приходилось вырабатывать решения по незапланированным вопросам, то есть когда не было материалов, подготовленных армией помощников, тогда выбирались два-три человека, умеющих быстро составить проект постановления, которым это и поручалось, в то время как другие в привычной манере продолжали вести дебаты. Затем вокруг подготовленного проекта разгорались новые продолжительные дискуссии, как обычно, с отклонениями от темы, пока, наконец, уставшие и оупевшие руководители не принимали проект в том виде, в каком он был представлен несколько часов назад.

Чаще всего составление проектов в подобных случаях поручали мне и Честмиру Цисаржу. Мы, в частности, составили два широко известных документа того времени — заявление Президиума ЦК КПЧ в связи с воззванием «Две тысячи слов» и заявление Президиума по поводу письма лидеров коммунистических и рабочих партий, собиравшихся в Варшаве, за которым последовали переговоры в Чиерне-над-Тисой.

История с воззванием «Две тысячи слов» наиболее ярко характеризовала сложившуюся тогда в верхах обстановку. Я

остановлюсь на этом подробнее. Автор «Двух тысяч слов» был писатель Людвик Вацулик, что само по себе гарантировало действенность воззвания. Оно было написано таким языком, что полемика с ним в привычном стиле партийных постановлений была заведомо обречена на провал. «Две тысячи слов» были опубликованы 27 июня в канун районных партийных конференций, которые должны были избрать делегатов на партийный съезд, в «Литерарних новинах» и еще в трех ежедневных газетах. Под воззванием поставили свои подписи представители интеллигенции, спортсмены, популярные артисты. Среди подписавшихся были коммунисты-реформаторы и беспартийные активные поборники Пражской весны, а также те, кто особой активностью не отличался.

Содержание «Двух тысяч слов» не было каким-то «радикальным», из ряда вон выходящим. В то время довольно часто в статьях, в выступлениях по радио и телевидению в различных вариантах говорилось почти то же, что и в этом обращении. Правда, идея Вацулика о демократизации политической системы посредством «гражданских комиссий и комитетов» прежде ни разу не формулировалась в таком виде. Автор, несомненно, высказал в этом документе распространенные среди интеллигенции опасения, что «процесс возрождения» может быть заторможен или вообще окажется под угрозой из-за того, что на руководящих постах в КПЧ и государственном аппарате все еще много консерваторов, сторонников тоталитарного режима, которые к тому же опираются на поддержку извне. Об этом, как и об опасности советской интервенции, в «Двух тысячах слов» говорилось открыто. Проблемы политические были роковым образом переплетены в воззвании с проблемами нравственными, человеческими. И это было типичным для атмосферы тех месяцев. Но сформулированные таким образом проблемы не имели своего политического решения. В этом и заключалось основное противоречие — поднятые в «Двух тысячах слов» фундаментальные человеческие и нравственные проблемы, к которым Вацулик в первую очередь хотел привлечь внимание, невозможно было решить предлагавшимися им политическими средствами. Если бы Вацулик опубликовал этот текст только за одной своей подписью, «Две тысячи слов» не внесли бы особой напряженности в политическую ситуацию. Документ просто расценивали бы как

довольно оригинальную, но исключительно личную позицию автора по некоторым актуальным вопросам.

Текст этот, однако, приобрел характер призыва, своего рода манифеста. Его подписало немалое число людей, разделявших эту позицию, и он содержал обращение к другим последовать их примеру. Текст был намеренно помещен одновременно в нескольких газетах, чтобы послужить основой для широких дискуссий о насущных проблемах сегодняшнего дня. Воззвание, таким образом, могло оказать серьезное воздействие на ход подготовки предстоящего съезда партии. В центре внимания вдруг оказалась не «Программа действий» с ее проектом демократической реформы, а «Две тысячи слов» с иным пониманием ситуации в стране. Ничего предосудительного в этом, естественно, не было. Ведь в нормальных демократических условиях считается обычным явлением, когда определенная группа граждан заявляет о своих взглядах, стремится привлечь других на свою сторону и тем самым не только воздействует на общественность, но и оказывает давление на власть.

Однако в конце июня 1968 года таких демократических условий в Чехословакии не существовало. В стране не было плюралистической политической системы, для которой выявление различных интересов и взглядов в такой форме является нормой, а потому не может ни повредить системе, ни тем более поставить ее под угрозу. Для демократического общества выступления различных групп — дело привычное, и в них не усматривается ни попыток произвести государственный переворот, ни стремления высказывающих собственную точку зрения занять министерские кресла. В Чехословакии же все было совсем по-другому. Там все еще сохранялась тоталитарная политическая система, которую только намеревались демократизировать. Пока же перемены были лишь на бумаге, за единственным исключением — в стране реально существовала свобода слова. Ни «низы», ни «верхи» не знали, что такое демократия на практике, в результате чего «Две тысячи слов» получили чрезмерный резонанс. В «низах» документу было придано большее значение, чем того заслуживало его содержание, а в «верхах» больше, чем следовало, были им напуганы.

Для партийного руководства летом 1968 года один из важнейших вопросов заключался в том, удастся ли объединить

большинство коммунистов на официальной платформе демократической реформы, на платформе «Программы действий КПЧ». Появление в такой момент своего рода антипрограммы угрожало сорвать процесс консолидации. Нельзя также забывать и о Москве. «Две тысячи слов» вышли недели за две до того, как из Варшавы было направлено ультимативное письмо пяти коммунистических партий. Предупреждения подобного рода раздавались и до этого письма, о чем открыто говорилось и в воззвании «Две тысячи слов». Теперь же становилось очевидным, что выступившие с манифестом провозглашали более радикальную программу и выражали поддержку более радикальным силам, чем те, которые представляло руководство страны.

«Две тысячи слов», бесспорно, представляли собой попытку радикального крыла коммунистов-реформаторов, в первую очередь из рядов интеллигенции, оказать давление на партийное руководство с целью его радикализации. Но в каком направлении? Замысел был в том, чтобы устранить с руководящих постов тех, кто сопротивлялся реформе именно потому, что и без того уже боялся за свое положение. Но в какой момент? Когда эти люди и без того через два месяца на съезде партии были бы сняты со своих должностей. Зачем же тогда оказывалось такое давление? Потому что радикальное крыло опасалось, что могут уйти не все. Однако при этом не замечались более серьезные опасности, грозящие реформе.

Я считал публикацию «Двух тысяч слов» крупной политической проблемой и даже, в данный момент, по указанным причинам угрозой делу реформы. Не из-за опасности стихийного массового возникновения «гражданских комиссий и комитетов», к чему призывал Людвик Вацулик, а из-за того, что за этим я увидел решимость ряда влиятельных коммунистов-реформаторов поставить на карту весь свой авторитет, который зачастую превосходил авторитет партийного руководства. Я опасался, что в результате документ вызовет в «верхах» серьезный конфликт, дестабилизирует процесс реформ и усилит нажим на руководство со стороны Кремля. Именно такими последствиями было чревато появление «Двух тысяч слов», и это были серьезные, небезобидные последствия.

Как же реагировало на «Две тысячи слов» партийное руководство? 27 июня во второй половине дня было срочно созвано

чрезвычайное заседание Президиума и секретариата ЦК КПЧ. Участвовали, по-моему, лишь те, кто жил в Праге, остальные просто не смогли так скоро приехать. Если не ошибаюсь, большинство присутствовавших не знало, о чем пойдет речь. Газеты в те дни мы читали редко — не было времени. Партийные руководители знакомились лишь с информационными сводками, а туда «Две тысячи слов» еще не попали. Так что вначале обсуждение шло вяло. Многие из присутствовавших исподтишка, как школьники шпаргалку, штудировали крамольный текст.

Первыми выступили те, кто в «Двух тысячах слов» усмотрел что-то вроде объявления войны Советскому Союзу. Они говорили об антисоветской провокации, о Будапеште 1956 года, о гражданской войне, об освобождении Чехословакии в 1945-м и т. п. Такие ассоциации «Две тысячи слов» могли вызвать лишь у людей с буйной фантазией. Совсем неожиданно прозвучало выступление Йозефа Сморковского, который тогда только что вернулся из Москвы. По всей вероятности, под влиянием московских переговоров, проникшись тамошней атмосферой, он посчитал уместным также высказаться о танках и возможной гражданской войне. «Я не могу брать на себя ответственность, — заявил он тогда, — за ситуацию, когда наши проблемы придется решать с помощью танков».

В такой обстановке не имело смысла что-либо предлагать. Свое слово, как обычно, должно было сказать время. И действительно, когда час спустя эта тема исчерпала себя, на передний план выплыла другая — личные мотивы авторов «Двух тысяч слов» и подписавшихся. Имен было немало, так что разбирались долго: кто что имел в виду, кому что известно о прошлом того или иного из подписавшихся, какие он проступки совершил, и наоборот, что известно о нем хорошего и т. п. В числе подписавших воззвание были не только рядовые коммунисты, но и члены ЦК, а потому дискуссия пошла и об уставе партии, ленинских принципах демократического централизма. На это ушло еще не менее часа.

Обычно через несколько часов объявлялся перерыв. Перерывы разряжали атмосферу, после них зачастую начиналось обсуждение новых вопросов, а иногда как ни в чем не бывало все начиналось сначала. Сморковский, побывавший еще и на сессии парламента, к концу перерыва вернулся и проинформи-

ровал о ходе обсуждения данного вопроса депутатами. Оно велось в том же духе, с повторением тех же аргументов. Кто-то, кажется, тот же Смрковский, предложил, чтобы по обсуждаемому вопросу высказалось и правительство. Это уже непосредственно затрагивало Черника, заинтересованного, в свою очередь, в том, чтобы сначала свою позицию все же сформулировало политбюро — в противном случае, чем руководствоваться правительству? Потом обсуждение приняло иной оборот. Нужно было решить, что записать в постановление. Дискуссия вышла на новый виток. Каждый стремился протащить в постановление свое мнение. Теперь в обсуждение активно включились и реформаторы. Время шло, но дискуссия по-прежнему протекала в русле самых общих проблем: «Программа действий», конструктивная работа, положительные стороны демократизации, свобода печати — привычный набор тезисов.

Наконец прозвучало предложение, чтобы кто-то составил проект постановления. Поручили Млынаржу и Цисаржу. Такой поворот я предвидел заранее и кое-что подготовил, с тем чтобы сразу вынести свои соображения на обсуждение и при составлении проекта на них опереться. Затем мы с Цисаржем разошлись по своим кабинетам и взялись за составление своих вариантов документа. Я приблизительно знал, о чем будет писать он, а он также в общих чертах предполагал, что могу написать я. Потом мы все свели в общий текст, оставляя иногда альтернативные формулировки. По моей инициативе это делалось в тех случаях, когда я предполагал, что Президиум ЦК отдаст предпочтение моему варианту. Так же поступал и Цисарж. Так что в итоге, хотя бы мы вдвоем занимались делом, в то время как на заседании то ли наступила пауза, то ли продолжались бесконечные и бессмысленные дебаты, когда заранее было известно, кто что скажет.

На улице уже давно стемнело, обычные граждане сидели у телевизоров, а партийное руководство все заседало. О том, что передали по телевидению в этот вечер, оно узнает только утром из специальных сводок. Тогда, может быть, придется по какому-то новому поводу созвать еще одно совещание. Перед зданием ЦК во тьме стояли черные правительственные «татры», ночной мрак пронизывал яркий свет из окон зала заседаний, и некоторые прохожие, охваченные всеобщей политической лихорадкой,

может быть, с почтительностью отмечали, что дубчековское политбюро непрерывно, не зная сна, направляет «процесс возрождения». Свет горел еще в нескольких окнах. В кабинетах членов политбюро и секретарей непременно сидели секретарша, помощник и шофер, а вдруг секретарю ЦК понадобится уточнить что-то, продиктовать или куда-нибудь поехать. В ожидании сотрудники аппарата проводили время каждый по-своему: кто читал, кто вязал, кто пил кофе.

Между тем обсуждение шло своим чередом. В какой-то момент мы с Цисаржем принесли проект постановления. Началось не только внесение в него изменений и поправок, но и в очередной раз опять повторялось все то, что уже неоднократно высказывалось. Черник уехал, он созвал правительство на ночное заседание. Зато пришел Пиллер. Он был заметно навеселе. Когда зашла речь о том, следует ли отметить в постановлении, что «у нас нет оснований сомневаться в добрых намерениях» авторов «Двух тысяч слов», Пиллер стал всех заверять, что командование рабочей милиции его области поддерживает Дубчека и готово свести счеты с каждым, на кого тот укажет пальцем. Заседание продолжалось, но замечаний поубавилось, особых изменений проект не претерпел. Так в муках родилось постановление высшего органа политической власти в стране.

Зал заседаний был жутко прокурен. Йозеф Ленарт открыл окно. На улице светало. «Товарищи, опомнитесь, — сказал Ленарт, — за окном уже птицы поют». На мгновение все стихли. Слова никто больше не просил — ни консерваторы, ни прогрессисты, ни центристы. Из расстилавшегося напротив Летенского парка действительно доносилось громкое, радостное, аполитичное пение дроздов. Александр Дубчек всех поблагодарил за работу и закрыл заседание. Историческое постановление Президиума ЦК КПЧ по поводу манифеста «Две тысячи слов» было утверждено.

Но вернемся к политике. К чему приводил такой стиль работы партийного руководства? Отдельные его члены отнюдь не считали, что записанное в постановлении тождественно их точке зрения и к чему-то обязывает. Усмотревшие в «Двух тысячах слов» призрак танков и гражданской войны не настаивали на том, чтобы их опасения были зафиксированы документально, но своего мнения не изменили. Также и сторонники радикального

крыла своих оценок в текст постановления не включили, но и не отказались от них. И хотя и те, и другие выразили согласие с постановлением, с тем, что необходимо сосредоточиться на реализации «Программы действий» и объединить усилия коммунистов на данной платформе, это не повлияло на характер практических действий ни тех, ни других: каждая из группировок продолжала действовать, руководствуясь теми же принципами, что и до принятия постановления.

Алоис Индра, например, разослал областным комитетам партии внутренний циркуляр, в котором создававшаяся обстановка расценивалась как канун контрреволюционного путча, и дал указания принять какие-то меры мобилизационного характера. Билляк, Кольдер, Швестка и Якеш, выступая на партийных собраниях, говорили то же самое, что и раньше. С другой стороны, Кригель и Смрковский в своих публичных выступлениях призывали больше к примирению и высказывались в том духе, что в общем-то ничего особенного не произошло, главное, что у всех исключительно благие намерения. В таком же ключе проходила встреча с подписавшими обращение «Две тысячи слов» с участием Дубчека, Черника, Смрковского, Славика и др.

Я уже писал в начале этой главы об отсутствии у меня уверенности, что демократическая реформа в Чехословакии была бы спасена, если бы весной и летом все проходило в соответствии с моими представлениями. Весьма возможно, что и в этом случае советской интервенции избежать бы не удалось. Тогда, конечно, лучше, что «Две тысячи слов» появились на свет. Абстрагируясь от политической тактики, нельзя не признать за этим манифестом огромного позитивного значения. Он показал людям, что, какими бы ни были интересы и возможности политической власти, они могут вести себя как свободные граждане. «Две тысячи слов» были актом протеста против деспотизма, вдохновляющим примером на перспективу. Девять лет спустя после манифеста Вацулика в Праге появился новый документ, в какой-то степени напоминавший «Две тысячи слов», — «Хартия 77». И под ним поставили свои подписи Людвик Вацулик и многие другие, подписавшие в свое время «Две тысячи слов». Но под «Хартией 77» стоит и мое имя, и имена некоторых из тех, кто, будучи в 1968 году в руководстве КПЧ, принимал официальное постановление, осуждавшее «Две тысячи слов», — Франти-

шека Кригеля, Богумила Шимона, Вацлава Славика.

Изменились ли взгляды этих людей или произошли какие-то другие перемены к тому времени? Нет сомнения, что и взгляды изменились. Но главное — в Чехословакии был восстановлен тоталитарный режим, не только не помышлявший о реформе, а, напротив, всячески стремившийся укрепиться в качестве деспотии. Тем же, кто не желал жить на коленях, не оставалось ничего другого, как вести себя свободно в несвободе, независимо от того, какие проблемы это создавало властям. Я описал в этой главе все свои тогдашние соображения и надеюсь, что сторонники демократии не расценят их как упрямство бывшего представителя власти, пытающегося доказать, что его рецепты были спасительны. Я не только к этому не стремлюсь, но, напротив, повторяю, что сейчас совсем не уверен в правильности своей альтернативы.

Но тогда, летом 1968 года, я был убежден, что демократия может быть восстановлена только в результате осторожной реформы политической системы и что политические течения, выходящие за рамки этой осторожной, постепенной реформы, вредят ей.

Внутриполитические условия, которые сложились в Чехословакии летом 1968 года, подтверждали реальность моей концепции. Партийные конференции, на которых в июне — июле избирали делегатов на съезд партии, наглядно продемонстрировали, что наибольшим влиянием в партии пользовалось течение «центристов». Среди делегатов его представители составляли около восьмидесяти процентов, оставшиеся двадцать равными долями приходились на радикалов и сторонников тоталитарной системы. Можно предположить, что таким же было бы соотношение сил в новых ЦК и политбюро.

Я считал также, что после XIV съезда постепенно спадет волна всенародной эйфории, и люди снова начнут испытывать неудовлетворенность, усилятся трудности и противоречия. Но все же были основания полагать, что большинство граждан поддерживает рациональную политику постепенной реформы. Правда, если бы в новом партийном руководстве в большинстве оказались сторонники моей позиции, то неизбежно произошел бы конфликт с представителями радикального крыла коммунистов-реформаторов. Но я считал, что в условиях демократии такой

конфликт не страшен. В данных условиях конфликты с крайними течениями — как справа, так и слева — неизбежны, но они и решаются демократическим путем.

Однако решение, касавшееся не только моих идей, но и судьбы всего народа, было принято не в процессе демократических дискуссий и внутриполитических столкновений, а бесцеремонным росчерком пера в Кремле.

ГЛАВА 3

ПЕРЕД СУДОМ КРЕМЛЯ

Во время заседания Президиума ЦК КПЧ 20 августа 1968 года, затянувшегося до полуночи, Черника пригласили к телефону. Ему звонил министр обороны Дзур, который сообщил, что войска Советского Союза и четырех других государств Варшавского Договора вторглись в пределы Чехословакии. В этот момент я испытал потрясение, сопоставимое лишь с тем, какое я пережил в свое время, попав в автомобильную аварию.

В моем сознании промелькнула целая череда сцен, как будто из какого-то абсурдного кино. Все смешалось — картины конца войны, баррикады, танки, убитые и раненые на улицах, лица моих близких, пейзажи Южной Чехии, зловещая громада здания Московского университета. Я просто физически ощущал, что это полный крах моей жизни как коммуниста. Потом на мгновение мне показалось, что все вдруг потеряло смысл — и мысли, и действия. Лишь через некоторое время я пришел в себя. Все вокруг было невероятно, до боли реально. Тот же зал заседаний, те же люди. И все же мир за несколько мгновений стал совершенно иным.

Я смотрел на происходящее вокруг как на театральное действо: Черник подробно рассказывал, как министр обороны Дзур был фактически арестован в своем кабинете двумя советскими офицерами, что ему разрешили позвонить, с тем чтобы сообщить о случившемся председателю правительства, но ничего другого Дзур предпринять не может. В таком же положении, очевидно, находились и все другие представители высшего армейского командования. Затем подал голос Дубчек: «Так все-таки они пошли на это. Как они могли так поступить со мной!» Голоса враз смешались. Кто-то, кажется Кригель, говорил об измене народу, кто-то предлагал незамедлительно вызвать на заседание президента Свободу. Васил Биляк встал, нервно зашагал вдоль ряда кресел и воскликнул: «Что же вы меня не линчуете, убейте меня!» Никто на это не отреагировал, никто, наверное, и не слышал его слов, как, впрочем, и всего другого. Каждый был погружен в свои мысли. Этот момент даже для тех, кто, как Биляк, знал об интервенции заранее, ждал ее, был роковым. Для

них это не было неожиданностью, шоком, зато наступила резкая разрядка внутреннего напряжения, и на какое-то время их действия стали бессознательными, бесконтрольными.

Мои же думы все больше заполняло осознание, что рухнуло все, чему я посвятил свою жизнь, что пришел конец моей политической деятельности. Советское военное вторжение полностью опрокидывало наши политические устремления и надежды, программа реформ стала теперь ненужной и бессмысленной.

Когда я снова обрел дар речи, я заявил, что подаю в отставку, поскольку в сложившейся ситуации заниматься тем, чему были отданы все мои силы, я не могу. С таким же заявлением выступил и Дубчек. Для него интервенция означала личное поражение. Это сквозило в его словах и интонации. Он попытался даже встать в благородную позу чехословацкого Робин Гуда: если, мол, у них какие-то претензии ко мне, то почему они не разобрались непосредственно со мной? Пусть хоть вздернут меня на дыбу, я сам за все отвечу!

Заявление Дубчека всех отрезвило. Стали говорить, что никто не имеет права на отставку, напротив, все члены законно сформированных органов должны остаться на своих местах, необходимо воспрепятствовать попыткам учредить новые органы власти или провести кадровые перестановки под давлением извне. К этому моменту в зале уже появился и Людвик Свобода. Он был бледен, внешне невозмутим, но чувствовалось, что он очень взволнован. Много он не говорил, но если мне не изменяет память, однозначно настаивал на том, чтобы никто не подавал в отставку.

Как это ни трагикомично, но даже в такой обстановке владела привычная рутина: решили принять постановление, а подготовить проект поручили Млынаржу (кажется, это предложил Дубчек). Было решено также созвать пленум ЦК, заседание правительства, парламента. Затрагивался и вопрос о недопустимости вооруженного сопротивления. Дискуссии, собственно, никакой не было, это констатировалось как факт. Обороняться никто не предлагал, приводились лишь различные аргументы, почему этого делать нельзя.

Почему так? Для тех, кто не принадлежал к руководству, отказ от сопротивления не казался бесспорным тогда и не кажется таковым сейчас. Почему же руководство приняло такое

решение единогласно? Прежде всего я приведу аргументы по существу.

Во-первых, чехословацкая армия, как и армии других стран советского блока, не имела самостоятельности. Ключевые позиции в ней находились под контролем советских офицеров. Советскому командованию были хорошо известны и контролировались им и степень вооруженности, и система управления войсками (связь, шифры и т. д.). Дислокация чехословацких частей делала совершенно невозможной защиту страны от нападения стран-«союзиц» по Варшавскому Договору. Нельзя также не учитывать, что ряд чехословацких командиров мог встать на сторону советской армии. Так что защитить Чехословакию от стран советского блока было невозможно, даже если не принимать во внимание военное превосходство агрессора. Единственное, чего можно было достичь, это задержать продвижение войск на какое-то время.

Нужно еще добавить и то, что проведенные Дубчеком кадровые изменения в чехословацкой армии опирались исключительно на личную привязанность и симпатии. Министр обороны и начальник главного политического управления хотя и были «людьми Дубчека», но имели и других приятелей. Дзур еще в мае обрисовывал командующему войсками Варшавского Договора маршалу Якубовскому положение в чехословацкой армии в весьма мрачных тонах, указывая на слабую боеспособность. Якубовский тогда обнял его и тепло сказал: «Друг всегда понимает друга!» Что это означало? А то, что Мартин Дзур подпевал аргументам советских военных в пользу присутствия в Чехословакии советских войск с целью обеспечения «обороноспособности социалистического содружества», смысл которых сводился к тому, что в случае «нападения империалистических государств» на чехословацкую армию рассчитывать нельзя. Начальником главного политического управления при Дубчеке стал генерал Бедржих. Они были друзьями детства — вместе росли в советской Средней Азии. Бедржих отличался полной бездарностью и принадлежал к консерваторам. И наоборот, генерал Прхлик, который в согласии с буквой Варшавского Договора стремился добиться хотя бы относительной самостоятельности чехословацкой армии, был по настоянию Москвы смещен с должности заведующего оборонным отделом ЦК, куда его назначили только в

январе 1968 года вместо сталиниста М.Мамулы. С июля этот отдел курировал сам Дубчек, вернее, там дела шли сами по себе.

Вооруженное сопротивление в виде локальных столкновений с политической точки зрения, несомненно, было бы только на руку интервентам. Так сложилась бы обстановка, воспроизводящая венгерские события 1956 года, — перестрелки, вооруженные стычки и человеческие жертвы служили бы доказательством наличия в Чехословакии «контрреволюционных сил», готовых развязать гражданскую войну. Вооруженное же насилие над страной, где не раздалось ни одного выстрела, наглядно показало всему миру, кто здесь выступал в роли агрессора.

Имелись также соображения идеологического и психологического характера. Политическая концепция дубчеховского руководства исходила из тезиса, что демократическая реформа не противоречит обязательствам Чехословакии по Варшавскому Договору. Это не было пустой фразой. Разрыва с Советским Союзом типа югославского варианта 1948 года никто из руководящих политических деятелей Чехословакии искренне не желал. Руководство КПЧ считало исключительно важным на практике доказать совместимость самобытной внутренней политики с союзом с остальными странами советского блока.

И наконец, психологически чехословацкое руководство не могло допустить развязывания вооруженной борьбы. Мне трудно, конечно, говорить за других, но лично я не хотел иметь на своей совести ни одной человеческой жизни, которая была бы потеряна в результате вооруженного сопротивления, поскольку то, чего можно было этим добиться, не стоило этой жертвы. В ту ночь я впервые был в ситуации, когда от моей политической позиции могли зависеть жизнь или смерть тысяч людей. Это были уже не отвлеченные рассуждения о том, что правильно, принципиально и нравственно, рассуждения, которые ничем никому не грозят. Я хорошо понимал президента Свободу, который постоянно говорил о возможных жертвах, и я не могу относиться к его позиции с высокомерным презрением, как это делали задним числом публицисты, не познавшие бремени прямой ответственности за человеческие жизни.

На заседании политбюро в ночь 20 августа речь шла, однако, лишь о политических аспектах вопроса и об ответственно-

сти за жизнь людей. Все остальные мотивы, о которых я упоминал, присутствовали в подсознании, но вслух не высказывались. Что же касается тех, кто действовал в интересах Москвы, то для них вопрос о сопротивлении вообще не вставал.

Между тем Дубчек вдруг сообщил, что три дня назад он получил письмо от Брежнева и сейчас зачитает его. Дубчек очень волновался и, читая текст, запинаясь больше, чем обычно. В письме было стандартное, для Москвы словоблудие — сколько антисоветских и антисоциалистических статей напечатано в газете «Литерарни новины» и в журнале «Репортер» и насколько они противоречат договоренностям, достигнутым в Чиевне и Братиславе. Может, это кто-то еще и слушал, но в целом на глазах разыгрывался настоящий театр абсурда. Одни со страхом представляли, что будет с народом и с ними самими, боялись ареста и депортации. Другие предпочли бы уже находиться в советском посольстве и заняться составлением нового правительства. Но и те, и другие молча сидели вместе за одним столом, ушедшие целиком в свои мысли, а Дубчек, запинаясь, читал строчки, писавшиеся уже после того, как решение о вооруженной агрессии было принято.

Многие выходили позвонить, скорее всего домой. Я тоже хотел позвонить своим, но никак не мог — лихорадочно стряпал проект заявления. Дубчек закончил. Кто-то из тех, кто был в сговоре с Москвой, попытался, правда безуспешно, развернуть дискуссию, делая упор на то, какую серьезную ошибку допустил Дубчек, ничего не сказав раньше о письме. Кто-то предложил связаться с Брежневым по телефону. Дубчек по-робингудовски отказался и добавил уже без пафоса: «Да они сами меня найдут».

Я представил проект заявления, вернее, воззвания «К народу Чехословацкой Социалистической Республики». По ходу обсуждения из него вычеркнули предложение, разъясняющее, почему мы не можем оказать вооруженного сопротивления. Партийные руководители считали опасным любое упоминание о сопротивлении. Однако следующая фраза, начинающаяся словами: «Поэтому наша армия не получила приказа по защите страны», — осталась без изменений. Не было только разъяснений, почему. Никто этого тогда не заметил, и до сих пор во всех трудах о Пражской весне, где цитируется данное воззвание, на этот

факт не обращается внимания. Наверное потому, что в партийных документах часто встречаются и большие несуразицы.

Бурная дискуссия затем вспыхнула вокруг того, следует ли политбюро осудить интервенцию и тем самым поддержать невооруженное, политическое и моральное сопротивление ей. Речь шла о следующей фразе: «Президиум ЦК КПЧ считает этот акт противоречащим не только всем принципам отношений между социалистическими государствами, но и попирающим фундаментальные нормы международного права». Из имевших право голоса против этого предложения выступили Биляк, Кольдер, Швестка и Риго. Из тех, у кого права голоса не было, их поддерживали Индра, Капек и Якеш. Но и у них не хватило смелости заявить, что интервенция не противоречит международному праву, они только указывали, что такая формулировка лишь осложнит положение. Речь идет о конфликте между коммунистическими партиями, а потому не следует выносить сор из избы. Об обоснованности интервенции не говорили даже они, лишь сетовали, что и мы виноваты, так как недооценивали опасность ситуации. В ту ночь никто из них не произносил слов, которые позднее они склоняли во всех падежах: «братская интернациональная помощь», «необходимость защиты социализма в Чехословакии» и т. п.

После того как Кригель и Сморковский заявили, что смириться с интервенцией — значит предать свой народ, началась перебранка, потом голосование по проекту. Из членов политбюро с правом голоса за утверждение были: Сморковский, Кригель, Шпачек, Черник, Пиллер и Барбирек. «За» высказались также, помимо меня, Шимон, Цисарж, Славик и Садовский, не имевшие права решающего голоса. Не помню, как повел себя тогда Ленарт, но, кажется, он не поддержал группу Биляка (после написания этой книги я узнал, что Ленарт по болезни вообще отсутствовал — З.М.). Дубчека смущала лишь фраза о попрании международного права. Но когда Сморковский стал опрашивать каждого из членов политбюро в отдельности, Дубчек решился и сказал: «Ну, а что, ведь это же правда!» — и проголосовал «за». Приглашенный на заседание Людвик Свобода не имел права голоса, и я не помню, чтобы он как-то вмешивался в ход обсуждения.

Была почти половина второго 21 августа 1968 года, Дубчек

закрыв заседание с тем, что все должны разойтись «по своим рабочим местам», но все осознали то, что все это время пронизывало и мое сознание — нашей реформе конец. Промосковская группа с облегчением удалась, остался только Якеш. Не исключено, что ему поручили следить за остальными. Черник отправился в правительство. Ушел и Цисарж. Мы же, остальные, остались.

* * *

О том, как складывались отношения между Президиумом ЦК КПЧ и Политбюро ЦК КПСС до вторжения, написано много. От встречи к встрече нарастало напряжение между чехословацкими руководителями, с одной стороны, и представителями Советского Союза и других стран советского блока, в особенности Польши и ГДР — с другой. Я имею в виду совещание в Дрездене 23-24 марта, переговоры в Москве 3-4 мая и в Чиерне-над-Тисой 28 июля-1 августа 1968 года. Ни на одной из этих встреч меня не было. А вот на совещании представителей шести коммунистических партий стран советского блока в Братиславе 3 августа 1968 года я не только присутствовал, но и участвовал в выработке принятого там «Заявления коммунистических и рабочих партий социалистических стран». На обсуждении этого документа каждая страна была представлена первым секретарем компартии и главой правительства, плюс помощники и переводчики.

Переговоры шли следующим образом. Брежнев от имени советской делегации предложил текст заявления, который затем в течение нескольких часов обсуждался предложением за предложением. Замечания по тексту высказывала в основном только делегация КПЧ. Текст заявления содержит набор фраз, обычно используемых в советских передовицах, так что у непосвященного может возникнуть вопрос, что же на протяжении нескольких часов обсуждали первые лица партий и правительств стран советского блока. Но обсуждение действительно было продолжительным.

Договоренность о проведении встречи в Братиславе была достигнута еще на переговорах в Чиерне-над-Тисой. Тогда совместное заседание Политбюро ЦК КПСС и Президиума ЦК КПЧ

закончилось, по существу, скандалом из-за выступления П.Шелеста, огульно обвинившего чехословацкую делегацию в самых страшных грехах, в том числе и в том, что Чехословакия-де хочет оторвать от Советского Союза Закарпатскую Украину, и заявившего, что «галицийский еврей» Кригель для него не партнер. Дубчек с делегацией покинул зал. Советская сторона потом принесла извинения, но после этого переговоры велись уже в небольших группах. Утром 1 августа Дубчек встретился с Брежневым, и тогда родилась идея совещания представителей шести партий в Братиславе.

Насколько мне известно, Дубчек вынес из разговора с Брежневым впечатление, что тот был искренне заинтересован найти такой выход из положения, который успокоил бы «ястребов» в советском политбюро (за которыми стояли военные старой закваски), Ульбрихта и Гомулку, действовавших в одной упряжке, накалявших атмосферу и делавших ставку на открытый конфликт для оправдания военной интервенции против Чехословакии. В кулуарах они уже не использовали в качестве аргументов цитаты из «Литерарних новин» (это было уделом пропаганды), а упирали на то, что под угрозой находится безопасность всего советского блока.

Брежневу и Дубчеку в одном вопросе все же удалось найти общий язык. Брежневу нужно было продемонстрировать сплоченность блока, и это устраивало Дубчека, поскольку для этого было совсем не обязательно обсуждать чехословацкие внутриполитические проблемы. Можно было ограничиться закреплением определенных обязательств Чехословакии перед блоком и на такой основе достичь приемлемого для всех соглашения. На этих условиях Дубчек был готов встретиться с представителями компартий пяти стран, собиравшихся в Варшаве. Брежнев согласился не обсуждать на этой встрече внутреннее положение в Чехословакии. Не возражая против подтверждения в любой форме принадлежности Чехословакии к советскому блоку, Дубчек надеялся нейтрализовать нажим «ястребов» и предотвратить советскую интервенцию. Это соответствовало и внутренней логике Дубчека: он не допускал даже мысли о разрыве с Советским Союзом. Дубчек был убежден, что Брежнев военного решения не хотел. К тому же тот пообещал Дубчеку, что на совещании не позволит никому (то есть, Ульбрихту и Гомулке) критиковать

Чехословакию.

Несмотря на все это, советский проект заявления косвенно затрагивал внутренние чехословацкие дела, в нем упоминалось об обоснованности критики, высказанной в Варшаве. Фразы, которые на первый взгляд выглядели заезженными газетными штампами, таили в себе скрытый, далеко не безобидный смысл. Это-то и вызвало многочасовую дискуссию.

Оглядываясь назад с высоты августовских событий 1968 года, я вижу, насколько ничего не значившими и смехотворными были те изменения в тексте заявления, которые тогда казались нам победой. Так, например, после продолжительной дискуссии по настоянию чехословацкой делегации была смягчена формулировка об обострении международного положения, опасности конфликта с империалистическими государствами и о ситуации в Германии. В другом месте, где подчеркивалась важность «общих закономерностей строительства социалистического общества», делегация КПЧ вытребовала, чтобы была внесена фраза: «При этом каждая братская партия, творчески решая вопросы дальнейшего социалистического развития, учитывает национальные особенности и условия».

В братиславском заявлении есть также фраза, которую сторонники «нормализации» выдавали за доказательство легитимности военной интервенции, они утверждали, что Дубчек, подписав документ, как бы заранее с ней согласился. С небольшими изменениями эта формулировка вошла в чехословацко-советский договор 1970 года. В ней заключено основное содержание так называемой доктрины Брежнева — ограниченность суверенитета стран советского блока, что выражалось словами: «Поддержка, укрепление и защита этих завоеваний, доставшихся ценой героических усилий, самоотверженного труда каждого народа, является общим интернациональным долгом всех социалистических стран».

Вокруг этой фразы в Братиславе действительно шли длительные дискуссии. Я уверен, что никто из членов делегации КПЧ даже представить себе не мог, что настанет день, когда эту фразу будут трактовать как заранее данное согласие на военную интервенцию. Но все же она вызывала некоторые опасения. Из текста проекта заявления было видно, что советские политики вставили это предложение не просто так, поскольку далее сле-

довало: «Таково единодушное мнение всех участников совещания». Это наводило на мысль, что Советский Союз явно заинтересован в получении от КПЧ такого согласия. Поэтому я предложил дополнить это предложение словами «при одновременном уважении суверенитета и национальной независимости каждого государства». Я предлагал дописать это через тире и лишь в конце всей фразы поставить точку.

В обсуждение тут же вмешался сам Брежнев с оригинальным заявлением, что в данном случае тире не вписывается в нормы русского языка. Затем также по соображениям чистоты русского языка были отвергнуты и запятая, и точка с запятой — знаки препинания, обозначающие, что последующая фраза является составной частью первого предложения. Брежнев упирал на то, что о суверенитете и национальной независимости прямо говорится двумя абзацами ниже, как, собственно, и о равноправии, территориальной целостности и братском сотрудничестве. Зачем-де упоминать об этом в каждом предложении? Ведь другие, столь же фундаментальные принципы в тексте не повторяются, текст должен быть кратким и т. п.

Столь энергичная реакция Брежнева усиливала подозрение, что в этом предложении заложен скрытый смысл. Тем более что и Ульбрихт, и Гомулка, и Живков поддерживали заботы Брежнева о сохранении чистоты русского языка в тексте, который на деле от первого до последнего слова был образчиком партийного лексикона, звучавшего одинаково убого на всех языках, что на русском, что на венгерском. Кстати, Кадар, насколько я помню, не поддерживал Брежнева в его языковых упражнениях, более того, по ходу дискуссии не раз вставал на сторону КПЧ.

Знал ли Брежнев уже тогда, что эта фраза должна была послужить обоснованием военной интервенции? Может быть, и знал, но в Братиславе, думается, решение о том, что советские войска через семнадцать дней войдут в Чехословакию, принято еще не было.

Дубчек в Братиславе попытался вообще отсрочить принятие заявления и добиться более благоприятного соотношения сил, дав понять, что значимость этого документа стала бы большей, если бы его подписали представители Румынии, Югославии и Албании. Он даже был согласен стать посредником в организации встреч с Тито и Чаушеску, а заявление предложил пока не

публиковать. На это другая сторона реагировала, как бык на красную тряпку, и предложение Дубчека было отброшено.

Совещание в Братиславе завершилось протокольным обедом, торжественной церемонией подписания заявления, объятиями и лобзаниями на вокзале. Это была первая встреча «на высшем уровне», где мне довелось принять участие, и она оставила у меня совершенно жуткое впечатление.

Вальтер Ульбрихт и Владислав Гомулка представляли тогда собой злобных, тщеславных, выживших из ума стариков, С первого взгляда было ясно, что им не дано разобраться в проблемах не только соседних, но и собственных стран. Это не мешало обоим самодовольно сиять и наслаждаться властью.

Мне довелось быть свидетелем разговора Ульбрихта с Дубчеком, и я слышал, как Ульбрихт говорил с упреком: «Мне казалось, что это я прилетел к вам в гости, а на аэродроме я различал только слова «Дубчек, Дубчек». Или это лишь следствие моего незнания чешского?» Для Ульбрихта это было еще одним доказательством отхода Чехословакии от принципов интернационализма. Он без зазрения совести требовал славословий в свой адрес, и если бы Дубчек отдал распоряжение, чтобы солдаты и школьники скандировали «Ульбрихт, Ульбрихт», он считал бы это проявлением дружбы по отношению к народу ГДР.

Даже в неофициальных беседах Гомулка и Ульбрихт постоянно отпускали едкие замечания по поводу ситуации в Чехословакии. Здесь проявлялись не только политические разногласия, но и злость, негодование, ненависть к тому, перед чем они испытывали страх и чувство беспомощности и у себя дома.

Живкову тогда было всего 55 лет, но зато он отличался исключительной тупостью. У меня был немалый опыт общения с партийными и государственными деятелями высокого ранга, и я знал, что к ним не следует предъявлять слишком высоких требований. И все же Живков являл собой особый случай. Когда он слушал выступления других, лицо его выражало такое напряжение, что было видно — ему стоит нечеловеческих усилий уловить, о чем идет речь. В ход обсуждения он вмешался всего дважды и каждый раз, желая поддержать Брежнева, только портил дело. Происходило это потому, что Живков совершенно не улавливал нить дискуссии и с жаром возражал против поправок, с которыми Брежнев между тем уже согласился. Потом Брежнев

стал делать вид, что не замечает поднятой руки Живкова, и наконец просто подал ему знак больше в обсуждение не вмешиваться.

Кадар, конечно, был на голову выше всей этой компании и как политик, и как человек. Из разных источников мы знали, что отношение Кадара к Пражской весне значительно отличалось от позиции других лидеров стран советского блока. Встреча в Братиславе подтвердила не только это, но и то, что Кадар был вообще неординарным человеком, что 1956 год оказал влияние не только на проводимую им политику, но и оставил глубокие следы в его совести.

Задержавшись после обеда с Дубчеком и со мной, Кадар решил подробно изложить нам свою точку зрения на ситуацию. В его понимании перед чехословацким руководством стояла альтернатива: либо самим прибегнуть в какой-то мере к насилию и остановить развитие некоторых политических тенденций в стране, либо Чехословакия будет подвергнута насилию извне. Он остерегался открыто говорить о советской интервенции, но, проводя все время аналогию с Будапештом 1956 года, ясно давал понять, что он имеет в виду. Кадар говорил и о том, что успех чехословацкой реформы открывал бы определенные надежды и для Венгрии. Не скрывал, как ему лично было тяжело, прежде всего морально, руководить страной после советской интервенции. Кадар настойчиво объяснял Дубчеку, что его положение было намного сложнее, чем у Дубчека, остававшегося пока хозяином положения. О Кадаре у меня тогда сложилось впечатление как о политике, который энергично стремится отстоять хотя бы минимум национальных интересов, которого власть не развратила, потому что он всегда видел перед собой главную цель.

Известно, что 17 августа по инициативе Кадара в пограничном городке Комарно состоялась его встреча с Дубчеком. Исходя из сложившихся у меня впечатлений о Кадаре и того, что я слышал об этой встрече от Дубчека, я считаю, что Кадар пытался предостеречь Дубчека, когда ему уже было известно о решении Москвы ввести войска в Чехословакию. После вторжения Дубчек сам признавал, что именно так можно было расценить некоторые высказывания Кадара. Когда они прощались на перроне, Кадар с нотками отчаяния в голосе спросил: «Вы правда не

понимаете, с кем имеете дело?»

В этот же день Брежнев направил в Прагу то письмо, которое Дубчек зачитывал членам Президиума ЦК КПЧ в ночь советского вторжения. Из этого письма Дубчек, очевидно, сделал вывод, что в настроениях Москвы произошел новый неблагоприятный поворот и военная интервенция стала реальной угрозой. Дубчек же, очевидно, не смог решиться ни на какие практические действия и, как он часто поступал в таких ситуациях, предпочел отложить все до полного прояснения положения дел. Когда, однако, через три дня все стало ясно, от него уже ничего не зависело.

После 21 августа неоднократно вставал вопрос, могли ли Дубчек и руководство КПЧ каким-либо образом предотвратить вторжение, точнее, можно ли было предпринять какие-то меры, которые бы произвели на Москву такое впечатление, что она не стала бы прибегать к интервенции для сохранения своей гегемонии. Представители части чехословацкого руководства, которые сами желали интервенции ради укрепления собственного положения, позднее вместе с другими «нормализаторами» утверждали, что такая возможность была. Они ставили в вину Дубчеку то, что он не проинформировал политбюро о содержании переговоров в Дрездене и в Москве, что он «скрыл» последнее послание Брежнева и т. п. Все эти обвинения — очевидная бессмыслица. Для аргументированного ответа на этот вопрос нужно выявить причины, приведшие советское руководство к решению о военном вторжении.

Я полагаю, что решение предопределили два фактора: с одной стороны, великодержавный характер политики СССР, а с другой — столкновение в схватке за власть различных группировок в советском руководстве. Аналогичные обстоятельства привели к устранению Хрущева в 1964 году. Именно тогда в Москве развернулась борьба вокруг принципиальных политических вопросов, которая вылилась в августе 1968 года в интервенцию против Чехословакии.

Успехи хрущевской политики с точки зрения глобальных интересов СССР можно было оценивать по-разному, в зависимости от того, что считалось наиболее полезным для их обеспечения. Эра Хрущева знаменовала отход от «холодной войны», уменьшение опасности военной конфронтации с Западом, раз-

блокирование путей к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству СССР с другими государствами. Это позволило Советскому Союзу обеспечить свое присутствие в различных регионах мира, прежде всего в развивающихся государствах, с помощью методов, отличавшихся от тех, что применялись при Сталине. В этом смысле Хрущев, несомненно, укрепил позиции Советского Союза как сверхдержавы. Однако Хрущев в то же время «потерял» Китай и Албанию и не сумел «вернуть в лагерь» Югославию. При Хрущеве советская армия вышла из Австрии. Проводившаяся Хрущевым десталинизация расшатала Польшу, Венгрию и Чехословакию, непослушание стала проявлять Румыния. Коммунистическое движение в странах вне советской сферы влияния стало заметно терять свой вес в качестве политического тыла Москвы. В этом смысле Хрущев, бесспорно, ослабил имперские позиции Советского Союза.

Но что важнее? Ослабление напряженности в отношениях с Соединенными Штатами или превращение Китая в антисоветски настроенную державу? Укрепление советского влияния в некоторых государствах Африки и Латинской Америки, далеко от собственных границ, или осложнение с точки зрения Кремля внутривнутриполитической обстановки в странах Восточной и Центральной Европы, входящих в империю? Все зависит от того, под каким углом военной и политической стратегии эти вопросы рассматривать. При этом государственные интересы непосредственно переплетались с интересами различных групп советской элиты, оценивавших государственные приоритеты с диаметрально противоположных позиций.

После второй мировой войны в отличие от довоенного периода, когда основную роль играла дипломатия и Коммунистический Интернационал, главным проводником великодержавных интересов СССР стала армия. На закате хрущевской эры огромное влияние в советских армейских кругах все еще сохраняли маршалы, выдвинувшиеся во время войны. Это поколение маршалов было привержено сталинской стратегической концепции. Упрощенно она выражалась тезисом: что наше, то наше. Именно так смотрел на вещи сам Сталин, идеологически оформивший свою концепцию в виде теории о победе социализма в одной стране в условиях капиталистического окружения. Основную цель Сталин видел в превращении контролируемой им сферы в

мощный военно-промышленный комплекс. Через призму этой теории социалистический регион рассматривался как «социализм в одной стране», и неважно, что эта «одна страна» представляла собой несколько формально независимых государств. По отношению к внешнему миру, то есть к «капиталистическому окружению», «социализм в одной стране» проводил изоляционистскую политику. Его опорой выступало направляемое из Москвы международное коммунистическое движение, превратившееся в политическую и идеологическую агентуру Советского Союза.

С позиции последователей такой стратегии хрущевский период представлялся цепью провалов: «социализм в одной стране» фактически рассыпался. Более того, Китай на глазах приобретал черты врага, перед которым всегда дрожали русские правители. Это была угроза с Востока, из Азии, воскрешавшая призрак Чингисхана и монгольского ига. Для советских военных старшего поколения, которые мыслили категориями обычных вооружений, Китай казался более опасным, чем заокеанский «американский империализм», оснащенный средствами поражения, каких прошлые войны не знали.

Я убежден, что философия советских маршалов старой закваски явилась одним из главных факторов, приведших к свержению Хрущева и вторжению в Чехословакию. В одной упряжке с этими маршалами действовали влиятельные группировки в партийном, государственном и полицейском аппарате, люди, прошедшие школу сталинских времен, видевшие в хрущевской политике причину разложения сталинской дисциплины в России и ее внешней империи.

Хрущевская политика, однако, не была детищем одного лишь Хрущева, и у нее в верхах были влиятельные сторонники. Сюда можно причислить также группы военных, имевших отношение к передовым отраслям оборонной промышленности (ракетные войска и т. п.), а также дипломатические круги, специалистов-международников. Понимание этими людьми интересов Советского Союза было шире и современнее. Сторонники Хрущева считали, что советские интересы можно более эффективно реализовать при помощи методов, применявшихся для расширения своего международного влияния Соединенными Штатами: оснащения современным оружием, экономического, политиче-

ского и военного присутствия в удаленных, но стратегически важных регионах, активной дипломатии, обеспечивающей широкую международную поддержку.

Сторонники этой концепции оценивали хрущевскую эру более положительно, поскольку при Хрущеве Советский Союз энергично проводил политику в русле изложенной выше стратегии. Но в последние годы руководства Хрущева даже представители этой группы в нем разочаровались. Хрущев был слишком импульсивен, он допускал много невзвешенных решений, имевших неблагоприятные последствия и вызвавших сопротивление значительной части советской бюрократии. В результате влияние ортодоксальных сталинистов усиливалось, что ставило под угрозу интересы тех групп, которые в новом ключе видели стратегические цели Советского Союза. Сторонники новой линии не могли не признать также серьезных просчетов Хрущева, самым крупным из которых был разрыв с Китаем.

К тем, кто исповедовал новую внешнеполитическую концепцию, примыкали влиятельные группы советского партийного истеблишмента. Это были сторонники рациональных, технократических методов управления как в сфере экономики, так и политики.

Борьба между представителями этих двух тенденций происходила на всех уровнях власти, вплоть до политбюро. Ее итогом стало падение Хрущева и возвышение Брежнева в октябре 1964 года. В последующие три года, вплоть до свержения Новотного, в Москве политическая борьба еще не завершилась. Леонид Брежнев, казалось бы, самая могущественная фигура в СССР, все еще был правителем по милости других, так как ни одна из соперничавших группировок не обладала достаточной силой, и потому все поддерживали на вершине власти Брежнева. Он не располагал еще своим политбюро, ни один из тогдашних членов партийного руководства не был обязан своим положением Брежневу, напротив он был всем обязан им. Только после 1970 года Брежнев начал постепенно заменять прежних членов политбюро своими людьми, зависевшими уже от него.

Как же оценить Пражскую весну с учетом происходившего в Москве?

Снятие Новотного имело определенную связь с политической ситуацией в Советском Союзе. Судьба Новотного совер-

шенно не волновала Брежнева по двум причинам. Во-первых, поскольку Новотный был пережитком эры Хрущева, они с Брежневым не очень любили друг друга. Во-вторых, с лета 1967 года Новотный стал ориентироваться на советских военных, но и с ними отношения складывались непросто из-за того, что Новотный все время противился размещению в Чехословакии советских войск, чего Москва требовала с 1966 года. Новотный был готов дать согласие на размещение в ЧССР стратегического оружия и специалистов по его обслуживанию (в количестве около 8 тысяч человек), но отказывался предоставлять Советскому Союзу базы для обычных видов вооружений и значительного военного контингента. Вполне вероятно, что Новотный считал положение Брежнева нестабильным, а его возвышение — временным и потому не хотел связывать с ним свою политическую судьбу.

Брежнев надеялся, что после устранения Новотного укрепится его личное влияние в Чехословакии. Советские «ястребы» считали отставку Новотного своим проигрышем и открыто поставили в вину Брежневу последовавший за этой отставкой процесс демократизации политической жизни в Чехословакии. С «ястребами» тесные связи поддерживали Ульбрихт и Гомулка. Было видно, что их критика Пражской весны носила координированный характер. Действия Ульбрихта и Гомулки диктовались прежде всего внутривнутриполитическими интересами — их режимы личной власти были в не меньшем кризисе, а тут еще в соседнем государстве запылал пожар демократии.

Советские ставленники в Чехословакии (в компартии, армии, органах безопасности) также были связаны с советскими «ястребами». К числу «ястребов», похоже, принадлежало и руководство советского посольства в Праге (Червоненко, Удальцов). Поэтому вся информация, направлявшаяся в Москву из посольства, подавалась целенаправленно в обоснование позиции ортодоксов.

Таким образом, борьба за влияние в Чехословакии, а тем самым и за то, какая интерпретация событий будет признана в качестве официальной, была не только следствием идеологического догматизма, но и составной частью внутреннего соперничества групп советской политической элиты. Причем с самого начала чехословацкая проблема затрагивала личные интересы

Брежнева.

26 августа 1968 года на переговорах в Кремле Брежнев как бы нечаянно обронил, что решение о возможности военной интервенции в Чехословакию как об одном из вариантов было принято в мае 1968 года. То есть, не сразу после принятия «Программы действий КПЧ» и проведенных в начале апреля кадровых перестановок, однако еще до утверждения ЦК КПЧ постановления о созыве чрезвычайного съезда и до появления манифеста «Две тысячи слов». Можно предположить, что решение о военной интервенции как о возможном, хотя и не единственном варианте было принято до майского пленума ЦК КПЧ, проходившего с 29 мая по 1 июня, поскольку, упомянув о майском решении, Брежнев заметил: «Потом нам показалось, что нужды в этом все-таки не будет. Появилась первая ласточка — майский пленум». 4 мая 1968 года в Москве находилась делегация КПЧ в составе: Дубчек, Черник, Смирковский и Биляк. И хотя здесь им были высказаны претензии в более жестких тонах, чем на совещании в Дрездене, решение об интервенции в те дни еще принято не было. Содержание переговоров и идеологическая кампания, развернувшаяся в советской печати, говорили о том, что тогда Кремль все еще надеялся изменить курс Чехословакии средствами политического и экономического давления.

Решение о приемлемости интервенции, как мне кажется, было принято где-то между 5 и 29 мая 1968 года. 8 мая в Москве состоялось секретное совещание партийных руководителей пяти стран, принявших впоследствии участие в августовской акции. КПЧ, а также компартия Румынии приглашены не были. На этой встрече Ульбрихт и Гомулка наверняка настояли на обсуждении вопроса о возможности военной интервенции. Но последнее слово все же было произнесено позднее, после возвращения из Праги маршала Гречко (он находился в Чехословакии во главе военной делегации с 17 по 22 мая) и Алексея Косыгина, который с 17 по 25 мая «лечился» в Карловых Варах. Потом еще представители обеих группировок — и военных, и технократов — предприняли ряд «инспекционных» поездок в Прагу, по результатам которых был вынесен компромиссный вердикт: интервенция возможна, но лишь как крайняя мера. На практике советское руководство все еще продолжало предпринимать попытки вернуть Чехословакию на путь истинный.

Что же удерживало сторонников более рациональной хрущевской политики от поддержки советских «ястребов» в вопросе о военном вмешательстве в чехословацкие события? Они наверняка не считали «социализм с человеческим лицом», чехословацкие демократические реформы шансом для социализма и будущего Советского Союза. Противились же они интервенции из-за опасений, что военное вторжение в Чехословакию поставит под угрозу все завоевания хрущевской политики на международной арене: разрядку отношений с западными государствами и перспективы развития экономических и политических связей, ослабит их собственные позиции в Советском Союзе и, напротив, укрепит положение ортодоксальных сталинистов.

В ноябре 1968 года на торжествах в Москве по поводу Октябрьской революции Брежнев в довольно откровенной беседе с Богумилом Шимоном, возглавлявшим делегацию КПЧ, сказал: «Вы решили, что раз в ваших руках власть, то вы можете поступать, как вам заблагорассудится. Но ведь даже я не могу себе этого позволить, даже мне удастся реализовать свои замыслы в лучшем случае на треть. Что бы было, если бы при голосовании в политбюро я не поднял бы руки за ввод войск? Наверняка тебя бы здесь сейчас не было. Но, возможно, не было бы здесь и меня».

Я верю, что Брежнев говорил это не в шутку, поэтому я отношусь к его словам вполне серьезно. Они подтверждают мои догадки относительно сложившейся тогда ситуации. Кремлевским «ястребам» удалось сделать из чехословацкой проблемы ключевой вопрос внутривнутриполитического конфликта в Советском Союзе. «Ястребы» увидели в чехословацкой реформе удачный повод для сведения счетов, считая, что Чехословакия ставит сторонников хрущевской политики в затруднительное положение. И они были правы.

Вернувшись в конце мая 1968 года из Праги, маршал Гречко наверняка привез с собой достаточное количество аргументов в пользу политической линии военных. Но с чем тогда вернулся Косыгин? Мне думается, что Косыгин после визита в Чехословакию пришел к такому заключению: поставить на карту судьбу сторонников хрущевской политики, оказав поддержку Дубчеку и его реформе, чрезвычайно рискованно и опасно. Они могли бы лишиться своих позиций в «верхах». И если сторонники хрущев-

ской линии не проголосуют за аргументы «ястребов», причем тогда это еще не означало окончательного согласия на военную интервенцию, то больше они своих представителей в политбюро иметь не будут.

Почему? Потому, что в Чехословакии возникла «угроза социализму», опасность гражданской войны? Потому, что там действовали силы, стремившиеся к «реставрации капитализма»? Потому, что руководство КПЧ было намерено оторвать Чехословакию от Советского Союза? Нет. Ничего подобного, Косыгин прекрасно понимал, что всё это — пропагандистская болтовня, идеологические ризы, которые набрасываются на реальное положение вещей.

Косыгин, воспринимавший чехословацкие события совсем не так, как престарелые советские маршалы, все же судил о них с позиций великодержавных интересов Москвы. На чем он основывал свои соображения? Обширную информацию он получил еще в Москве, а дополнительную — в Чехословакии. Там Косыгин встречался с некоторыми членами партийного руководства, в том числе с теми, кого он прежде не знал, например с Честмиром Цисаржем. Несколько дней Косыгин дышал воздухом Пражской весны, но все, что он узнал и с чем столкнулся, привело его к заключениям, мало чем отличавшимся от выводов «ястребов».

Косыгин понял, что чехословацкая тоталитарная система переживает глубокий кризис, что эту систему стремятся изменить как «низы», так и «верхи». Он увидел, что те рычаги управления, которые во всех странах советского блока обеспечивали власть партийной бюрократии, в Чехословакии выведены из строя. Поэтому положение чехословацких властей он оценивал как нестабильное. Косыгин не разделял веры Дубчека в возможность претворения в жизнь идеалов «марксизма-ленинизма» ненасильственными средствами, был глубоко равнодушен к приверженности чехословацкого народа идеям демократии и гуманизма. Косыгин не допускал и мысли, что компартия, которая должна обеспечивать интересы Москвы, может осуществлять власть на демократических основах. Не нужно забывать, что советская бюрократия свергла Хрущева за менее смелые и рискованные для советской империи эксперименты, чем чехословацкая реформа.

Ряд моментов неприятно задел личные чувства Косыгина.

Чехословацкие руководители не смогли оградить его, вторую фигуру империи, от навязчивых журналистов: во время прогулки по Карловым Барам, когда Косыгин попивал прописанную ему порцию минеральной воды, они на него накинулись, и по телевизору было показано, как Косыгин уклонялся от ответов на неприятные вопросы. Сомнения лишь укрепила и беседа с секретарем ЦК КПЧ Цисаржем. Высказывания последнего в докладе по случаю юбилея Маркса вызвали у Косыгина неприятие, особенно в части, касавшейся непригодности многого в ленинизме для других стран. В восприятии кремлевских правителей Цисарж представлялся недорослем, который, похоже, не знает, что говорит. Он упорно отстаивал свои взгляды, не понимая, что Косыгин экзаменирует его на пригодность быть в числе наместников одной из подвластных губерний. А когда Цисарж понял это, было уже поздно. Он мне потом как-то жаловался, что всему виной была одна-единственная неудачная формулировка, допущенная им из-за несовершенного владения русским языком. Дурное впечатление, оставшееся у Косыгина, Цисарж впоследствии очень старался загладить, особенно после августа 1968-го. Но все безуспешно. Видимо, ему повредило и плохое знание русской литературы. Он должен был помнить, как один из чеховских персонажей не к месту чихнул в присутствии его высокоблагородия, а затем слишком назойливо извинялся, что закончилось и вовсе плачевно.

Во время своей майской поездки в Чехословакию Косыгин лично убедился, что в дубчековском руководстве нет единства, что в нем есть и немало приспешников московских «ястребов». Это, бесспорно, было принято во внимание со всей серьезностью, ибо указывало на то, что «ястребы» могут провести свою линию, невзирая на позицию более умеренного крыла советского руководства. Все это, как мне кажется, и привело к тому, что в конце мая советское руководство приняло военную интервенцию в качестве возможного варианта решения чехословацкой проблемы. Предотвратить военное вторжение, таким образом, могло лишь усиление умеренной кремлевской группы настолько, чтобы она не опасалась за исход конфликта с «ястребами» по вопросу Чехословакии.

Ничего подобного, однако, не произошло — ни внутри СССР, ни на международной арене, ни в самой Чехословакии.

Напротив, весь последующий ход событий лишь приближал интервенцию. Важные последствия имело принятое майским пленумом ЦК КПЧ решение о созыве 9 сентября 1968 года чрезвычайного съезда. То, что этот пленум конкретизировал политические и временные рамки демократической реформы, побудило ее противников перейти в наступление, которое началось в середине июня 1968 года.

До сих пор в исследованиях по Пражской весне преобладает точка зрения, что решения майского пленума ЦК КПЧ были победой консервативных сил. Делается акцент на то, что в резолюции этого пленума «правые силы» называются главной опасностью. Это, однако, не соответствует действительности. Я лично составлял текст резолюции и очень внимательно следил за тем, чтобы курс против правого и левого экстремизма не был подменен односторонней формулировкой.

В резолюции также более конкретно, чем в программе, говорится о системе рабочего самоуправления на предприятиях как о реальной практической задаче, о необходимости не выходить за политические рамки «Программы действий» во взаимоотношениях внутри Национального фронта, в средствах массовой информации. Как раз это и вызвало обостренную реакцию радикального крыла коммунистов-реформаторов, для которых «Программа действий» была недостаточно далеко идущей, потому и резолюция майского пленума представлялась им победой консервативных сил. В действительности же майская резолюция отражала позицию «центристского» течения, она подкрепляла положения «Программы действий КПЧ», рамки которой ограничивали как консерваторов, так и радикальных реформаторов.

Однако правда и то, что консервативные силы, в их числе и советские ставленники в Чехословакии, воспринимали майскую резолюцию исключительно как критику радикальных элементов и старались воспользоваться этой резолюцией в своих целях. Представители же радикалов атаковали консерваторов не с позиций «Программы действий», а, скорее, с позиций, близких к манифесту «Две тысячи слов». Таким образом, радикалы и консерваторы на протяжении июня, вместо того чтобы консолидировать максимум политических сил на платформе майской резолюции, вели ожесточенную борьбу между собой. Поскольку радикалы занимали преобладающие позиции в средствах массо-

вой информации, то и борьба велась у всех на виду, публично, и создавалось впечатление, что в ней и есть стержень внутривнутриполитической жизни Чехословакии. В действительности же, как отмечалось выше, преобладающим в КПЧ было «центристское» течение. Но советские «ястребы» и противники реформы в Чехословакии считали и то, и другое своим поражением — радикальные реформаторы перешли в открытое наступление, а в целом в партии победили «центристы». Это и подвигло консерваторов на контрнаступление. Поводом, разумеется, служили публичные выступления радикалов, на деле же удар был направлен против реформы как таковой и против партийного «центра». В том самом варшавском письме носителями «контрреволюционной угрозы» названы подписавшие «Две тысячи слов». Но вот 21 августа 1968 года советские солдаты и люди Шалговича не бросились на поиски автора «Двух тысяч слов» Людвига Вацулика или кого-то из подписавших этот манифест, а арестовали в здании ЦК КПЧ Дубчека, Черника, Смирковского, Кригеля, Шпачека и Шимона.

Как только московские «ястребы», военные, Гомулка и Ульбрихт получили в мае 1968 года, еще до принятия майской резолюции ЦК КПЧ, «добро» на то, чтобы рассматривать военную интервенцию в качестве альтернативного решения чехословацкой проблемы, они решили ни в коем случае свой шанс не упускать. Давление сторонников интервенции нарастало. Выигрышной для них стала встреча в Варшаве, на которую КПЧ «пригласили» таким образом что она вынуждена была отказаться, в результате чего отношения между партиями обострились до крайней степени.

Могло ли чехословацкое руководство принять это «приглашение»? Конечно, могло, но ценой таких внутривнутриполитических конфликтов, которые давали бы сторонникам интервенции бесчисленные дополнительные аргументы. В Варшаве и речи не могло быть ни о каком обсуждении или согласии. Компартию Чехословакии, по существу, вызывали на трибунал, приговор которого был заранее предрешен. Вскоре он был опубликован в форме письма пяти партий. Согласиться с варшавской оценкой политической ситуации в Чехословакии означало отказаться от реформ, что подорвало бы доверие народа к руководству, вызвало бы взрыв массового недовольства и сопротивления. По-

ехать же в Варшаву и не согласиться с приговором означало бы открытый разрыв с Москвой и с четырьмя другими соседними государствами, что было бы использовано сторонниками интервенции в качестве нового доказательства ее необходимости.

Решение руководства КПЧ не ездить в Варшаву и одно-временное предложение провести двусторонние переговоры было, вероятно, единственным политически приемлемым выходом из ситуации. Дало оно, однако, лишь короткую передышку. «Ястребы» вскоре снова перешли в наступление, а у чехословацких руководителей уже не было возможности сопротивляться. Почему? Это, как мне кажется, совершенно не зависело от Дубчека.

Варшавская встреча пяти партий была для «ястребов» тем рубежом, отступление за который уже было невозможным, так как оно означало бы серьезное политическое поражение. У них не было иного выбора — либо продолжать свою линию, довести дело до интервенции, либо потерять свои позиции в правящей элите. После перипетий, связанных с переговорами в Чиерненад-Тисой и Братиславе, «ястребы» начали где-то в первой декаде августа розыгрыш последнего акта своего сценария.

В начале августа, после встречи в Братиславе, члены советского политбюро взяли отпуска. Отсутствие высшего руководства традиционно благоприятствует проведению — успешному или безуспешному — дворцовых переворотов. У меня нет никаких фактических доказательств, но мне думается, что в районе 10 августа был заключен своего рода союз между «ястребами» и некоторыми лицами из числа колебавшихся. Залогом для такого союза должно было стать нечто серьезное — не исключено, что кому-то был предложен пост Генерального вместо Брежнева. На такое место кандидаты всегда находятся, несомненно, их было в достатке и тогда. Не знаю, кому было сделано это предложение. Но мне думается, что ставкой в игре был именно этот пост и что в подготовке дворцового переворота принимали участие те, кого позже Брежнев вывел из состава политбюро и партийного руководства.

С военной точки зрения маршалы успешно все подготовили. Начальником штаба Организации Варшавского Договора неожиданно был назначен генерал Штеменко, откровенный сталинист. До середины августа в среде военных наблюдалась по-

вышенная активность. Маршалы летали с Украины в ГДР и Польшу, шло передвижение крупных воинских частей. Около 15 августа члены политбюро прервали отдых и возвратились в Москву. Вслед за этим прошло два заседания политбюро, на которых, вероятно, присутствовали и другие руководящие партийные и государственные деятели. На этих заседаниях 17 и 18 августа было принято окончательное решение о вторжении в Чехословакию.

Я считаю вполне возможным, что Брежнев и умеренное крыло советского политбюро сорвали кремлевский путч, взяв инициативу в свои руки и договорившись с «ястребами» об интервенции. Тем самым они выбили козыри из рук противников. Разумеется, при таком повороте событий все, что бы ни предпринял Дубчек после братиславской встречи, было бесполезно и ничто не могло помешать вторжению.

Предотвратить интервенцию в августовские дни 1968 года могло лишь одно — опасение, что она выльется в серьезный военный конфликт. По причинам, уже описанным выше, чехословацкая армия такой угрозы собой, однако, не представляла. Следовательно, угроза конфликта могла исходить только от Запада. Но чехословацкие события не подрывали статус-кво в Европе, не затрагивали непосредственных интересов ни западноевропейских государств, ни Соединенных Штатов. Позиция США, в частности, стала доподлинно известна Брежневу 18 августа 1968 года (подробнее я расскажу об этом ниже). Так что и с этой стороны Москва от неприятностей была застрахована.

На ком же тогда лежит вина за интервенцию?

Бесспорно, на Советском Союзе, его политическом руководстве, избравшем военное вторжение в качестве средства обеспечения своих интересов в Чехословакии. Разногласия между отдельными представителями и группировками в советском руководстве были на время улажены за счет демократических реформ в Чехословакии, которые были задушены. Разные группировки в советском руководстве несут различную долю вины, но в целом это их общая вина, ведь все они составляли ту силу, которая не способна была отстоять свою гегемонию в многонациональной империи иначе, как путем насилия. Другого ответа о вине за август 1968 года быть не может, с какой стороны эту проблему ни рассматривать — с политической или нрав-

ственной.

Анализируя ход событий, уместно, однако, поставить вопрос не только о вине, но и о том, было ли единственно возможной альтернативой решение об интервенции с точки зрения обеспечения великодержавных интересов СССР? Можно ли было оказать влияние на процесс выработки этого решения и заставить советских руководителей отказаться от интервенции — по причине отсутствия согласия на этот счет или потому, что интервенция могла бы поставить под угрозу внешнеполитические приоритеты Советского Союза? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Любой ответ может быть лишь гипотетическим, лишь попыткой проанализировать варианты, без шансов на их практическую проверку.

Понимая это, я все же считаю, что чехословацкие коммунисты могли и были обязаны сделать гораздо больше, чтобы помешать установлению в советском руководстве единства по вопросу об интервенции в Чехословакию, делая акцент на последствиях, которыми такая интервенция могла быть чревата.

Я уже отмечал в предыдущей главе, что решающим в Пражской весне был период с января по май. Этот период оказался решающим и для московских «ястребов». Если бы ситуация в Чехословакии стабилизировалась, если бы чрезвычайный съезд КПЧ состоялся уже в мае, возможно, появились бы шансы ослабить единство советского руководства по вопросу о военной интервенции. Можно, конечно, возразить, что в таком случае Пражская весна, вероятно, не переросла бы во всенародное демократическое движение, поскольку реформа «сверху», разрушающая тоталитарную систему, проводилась бы постепенно. Не было бы в стране такого всплеска надежды и воодушевления, но, возможно, не наступили бы и такие отчаяние, разочарование и апатия. Не исключено, однако, что и постепенные реформы в Чехословакии натолкнулись бы на яростное сопротивление Москвы, в результате чего оказалось бы невозможным в полной мере осуществить даже то, что предусматривалось «Программой действий».

В период с июня до августа объективно, независимо от внутривнутриполитической обстановки в Чехословакии, оставалось несравнимо меньше шансов предотвратить интервенцию, чем в период с января по май. Определяющими были уже другие фак-

торы. Те или иные события в ЧССР использовались для пропагандистского прикрытия, для обоснования необходимости военного вмешательства. Поскольку истинные мотивы ввода войск лежали в иной плоскости, едва ли имеют основания предположения, что если бы, например, «Две тысячи слов» не были бы опубликованы, то силы, жаждавшие интервенции, не нашли бы для нее других оправданий.

В этот период советские ставленники в Чехословакии (в сотрудничестве с органами госбезопасности ГДР) все чаще фабриковали такого рода «аргументы» сами. Можно привести ряд примеров: у шоссе под Соколовом был обнаружен склад «американского оружия», подбрасывались разного рода листовки и т. п. Спровоцирована была кампания по сбору подписей с требованием распустить рабочую милицию. У меня был разговор на эту тему тогда с министром внутренних дел Павелом, и мы оба пришли к выводу, что нужно хорошенько проверить, что за публика собирала эти подписи. Направленные Павелом сотрудники безопасности без труда выявили, что среди активных агитаторов за ликвидацию рабочей милиции было не меньше пятидесяти работников из их собственного ведомства. Это была провокация, организованная советскими ставленниками, окопавшимися в чехословацких органах госбезопасности. Известное «Письмо 99», вышедшее из-под пера рабочих предприятия «Авиа-Прага», также было организовано по заказу Москвы. Такие акции оперативно, в обличительных и демагогических тонах широко освещались в советской печати.

После встречи представителей пяти партий в Варшаве промосковская группа — Биляк, Индра, Якеш, Кольдер, Швестка — уже не очень-то выступала в поддержку мер по умиротворению Москвы. Еще до переговоров в Чиерне-над-Тисой я представил в Президиум ЦК КПЧ два конкретных предложения: первое — решением правительства на три месяца приостановить выпуск печатных органов, в которых появлялись материалы, осложнявшие отношения Чехословакии с другими странами, и второе — проект закона о Национальном фронте как о единственной законной платформе, на которой могут создаваться новые политические партии. Мною двигало сознание того, что в Чиерне-над-Тисой делегации КПЧ неизбежно придется пойти на подобного рода уступки, а потому в интересах реформы лучше

было принять соответствующие меры до встречи с советским политбюро, тем более что мои предложения укладывались в концепцию «Программы действий».

Но наше политбюро эти предложения не приняло. Против них высказались радикалы, что подействовало и на других членов партийного руководства. Дубчек, Черник и Смирковский тоже не поддерживали мои предложения, хотя этот вопрос я с ними предварительно согласовывал. Но особенно примечательно, что меры эти не получили поддержки и со стороны промосковской группы, хотя ее представители в последнее время не упускали ни одного случая покритиковать на политбюро прессу и активность различных организаций вне рамок Национального фронта, усматривая в ней угрозу социализму. Так что, если бы вопрос обсуждался до совещания в Варшаве, они заняли бы именно такую позицию. Объяснить перемену в их поведении можно только тем, что они, делая ставку на советскую военную интервенцию, старались подыграть московским «ястребам» и потому намеренно не хотели вести к улаживанию конфликтов, выплеснувшихся на поверхность перед встречей в Чиерне-над-Тисой.

Я тогда упрекал политиков радикального крыла в близорукости и в том, что они, иногда проявляя безответственность и недалекость, наносили вред реформе. Это не значит, что я не видел, как тормозили реформу консерваторы промосковской ориентации, которые уже с июля 1968 года делали все для ускорения военного вторжения. Но поскольку эти люди были противниками демократических перемен, то и не удивительно, что они препятствовали их проведению. Они поступали, руководствуясь собственными интересами, логично и разумно, чего нельзя сказать о радикальном крыле коммунистов-реформаторов. В свою очередь, радикалы — и это было их преимущество — реальнее, чем дубчечковское партийное руководство, представляли себе опасность советской военной интервенции. В отношении Советского Союза они не питали иллюзий и с мая неоднократно предостерегали, что Москва раздавит демократическую реформу, не брезгуя никакими средствами, не остановится она и перед военным вторжением. Потому радикалы больше и предметнее, чем партийное руководство, думали о том, какими путями предотвратить вмешательство. Они готовы были искать союзников среди коммунистических и левых сил за пределами советско-

го блока и пойти на открытый разрыв с советским руководством, как это сделал Тито в 1948 году.

Поскольку радикально настроенные коммунисты-реформаторы в большинстве своем имели тесные связи с прессой и другими средствами массовой информации, их позиции широко и открыто пропагандировались. Для дубчековского руководства это создавало серьезные затруднения. Москва реагировала на такого рода выступления в печати как на доказательство «антисоветизма», стремления подорвать единство социалистических государств и тем самым создать угрозу для стран всего советского блока. Руководству КПЧ приходилось резко выступать против радикально настроенных коммунистов, дабы смягчить нападки Кремля.

Надеяться на то, что руководство КПЧ в случае необходимости пойдет на раскол с Москвой и советским блоком, было нереально. Откровенно говоря, позиция дубчековского руководства в этом вопросе сформировалась отнюдь не в результате рационального осознания политической необходимости. Значительную, если не решающую роль здесь играли иллюзорные идеологические представления сторонников реформ в Дубчевском политбюро.

Касаясь столь деликатного вопроса, трудно говорить за других. Я буду поэтому говорить только о себе. Во времена Пражской весны я вовсе не считал, что Москва видит в нашей реформе яркий пример, достойный подражания. Более того, я считал, что в Советском Союзе еще не созрели условия для подобного рода политических реформ и что там проблема демократизации будет решаться еще долго и трудно. У меня не было иллюзий и относительно тогдашней великодержавной внешней политики Советского Союза, когда его собственные интересы в блоке ставились выше декларируемых принципов независимости и суверенитета стран-союзниц. Я знал, что в московском политбюро сидят люди, которые мало задумываются о потребностях развития социализма, о ценностях гуманизма и демократии, столь близких европейскому социализму. И все же у меня было слишком много иллюзий, которые развеяла только советская оккупация в августе 1968 года.

До интервенции мне казалось, что московское политбюро было подвижно интересами социализма, пусть даже в упрощен-

ном, примитивном его понимании, хотя бы в той же мере, в какой в его развитии было заинтересовано руководство КПЧ, скажем, при Новотном. Но это было заблуждением. Для членов московского политбюро «социализм» означал их личную власть, такое общественное устройство, характер которого они определяют сами. Для брежневского политбюро «реальный социализм» даже в теории не нуждался ни в улучшении, ни в совершенствовании, ни в большей свободе и демократии, чего нельзя было сказать даже о Новотном. Я воспринимал коммунистическую идеологию как программу политических перемен, а для московского политбюро она была тождественна их корыстным интересам.

До августа я считал, что Советский Союз после 1956 года проводит свою политику, считаясь со спецификой зависимых стран. После разрыва с Югославией и Китаем, после событий в Польше и Венгрии, виделось мне, Кремль должен отдать предпочтение более гибким формам экономического, военного и политического подчинения стран своей сферы влияния. Наверное, часть московского политбюро (те, кто и по чехословацкому вопросу занимал более умеренную позицию) действительно придерживалась такой точки зрения. Но политбюро в целом наглядно продемонстрировало, что, если Советскому Союзу не противостояла сила, он не брезговал самыми примитивными средствами для обеспечения своего господства и гегемонии, в том числе и в отношении союзников. Он, собственно, не стремился к союзу с относительно самостоятельными национальными государствами, если у него была возможность, не боясь спровоцировать новую мировую войну, вместо союза обеспечить неограниченное господство, полное подчинение других стран московскому диктату.

Мои иллюзии помешали мне распознать ту реакционную роль, которую Советский Союз играл в отношении социалистических демократических сил в пределах своей империи. Я не смог также правильно оценить характер перемен, постепенно разворачивавшихся в Советском Союзе после свержения Хрущева.

В Чехословакии именно 1964-1967 годы были периодом наибольшего распространения реформаторского течения в КПЧ, и это заслоняло в моем сознании и в сознании других чехословацких коммунистов, что в это же время в Советском Союзе про-

текал совершенно противоположный процесс. Назвать Хрущева коммунистом-реформатором можно лишь с большой натяжкой, но все же его политика была нацелена на слом механизмов сталинской системы власти. После его свержения эти механизмы стали постепенно восстанавливать.

Можно возразить, что именно при Хрущеве была в 1956 году подавлена венгерская революция. Но до августа 1968 года я и этот факт воспринимал в категориях коммунистической идеологии, считая, что интервенция была вызвана непосредственно вооруженным выступлением против правящего режима. Кроме того, я считал, что немаловажную роль здесь сыграло нестабильное положение Хрущева в то время, вскоре после XX съезда КПСС. Что же касается Чехословакии, то мне казалось, что в 1968 году эти факторы здесь совершенно отсутствовали, поэтому военная интервенция невозможна. И это тоже было иллюзией, так как не исключено, что в Будапеште перестрелки на улицах были советской провокацией, предпринятой с целью оправдания военного вмешательства советских войск. Было также иллюзией считать, что кремлевское политбюро будет сохранять спокойствие, когда в какой-либо из стран советского блока выйдут на поверхность устремления к демократической реформе и национальной независимости. До тех пор пока в самом Советском Союзе господствовал тоталитарный режим, кремлевское Руководство исходило из того, что «союз нерушимый республик свободных» — это лишь строка в советском гимне, а на деле любое народно-демократическое движение в империи представляет собой опасный вирус для самого СССР.

Эти иллюзии объясняют, почему дубчечковское руководство не попыталось заручиться поддержкой из-за рубежа, что вынудило бы Советский Союз считаться с возможными международными последствиями. Напротив, с самого начала партийное руководство во главе с Дубчеком проводило противоположную политику: оно постоянно подчеркивало, что реформа — это исключительно внутренняя чехословацкая проблема. Целью было не раздражать Москву. Даже с конца марта, когда стало очевидным, что Кремль (а также Ульбрихт и Гомулка) не откажется от давления на Чехословакию, ее руководство осталось на тех же позициях — оно снова и снова подчеркивало, что это внутреннее дело Чехословакии, что мы не вмешиваемся во внутренние дела

других стран, а потому никто не должен вторгаться в наши. Чехословацкое руководство избрало тактику умиротворения Москвы путем постоянных заверений, что Чехословакия всегда будет уважать интересы Советского Союза в рамках советского блока и настаивает только на том, чтобы самой иметь возможность по-своему решать внутренние проблемы.

Поэтому в ночь с 20 на 21 августа 1968 года советское руководство ничуть не сомневалось, что советские войска не встретят организованного вооруженного сопротивления и что Чехословакия на международной арене не обеспечит себе прочных политических тылов.

Общественность демократических стран, разумеется, осудила советскую интервенцию, поддержали Чехословакию и некоторые западные коммунистические партии, но система отношений, сложившихся между Чехословакией и другими государствами, не вызывала у Кремля опасений, что вторжение в Чехословакию поставит под угрозу его великодержавные интересы. При этом пример Румынии показывал, что такая система могла носить и иной характер. Сомнительно, правда, можно ли было ее создать за полгода, но это отдельный вопрос. Во всяком случае, Дубчек и его политбюро даже не попытались сделать что-то подобное.

Руководство КПЧ во главе с Дубчеком несет политическую ответственность за то, что оно не предприняло попыток обеспечить дополнительные гарантии для успешного проведения чехословацкой реформы. Однако я не считаю справедливым упрек, что эта его ошибка привела к советской интервенции или была одной из ее причин. Такого рода упрек сродни логике, по которой человек, недостаточно вооруженный и осмотрительный, виноват в том, что на него напали грабители. Может быть, он действительно должен был вести себя более благоразумно, более осторожно и не так наивно — видеть, что тот, кого он считает приятелем, на деле грабитель. Но это вовсе не означает, что грабитель не несет вины за нападение.

Критики дубчековского руководства, после августа 1968 года поддерживавшие «нормализационную» политику Москвы, обвиняли его совсем в иных грехах. Критики такого рода и сегодня считают, что Дубчек должен был проводить сам политику «нормализации», и тогда военного вмешательства других стран не

произошло бы. Возможно, это и так, но ведь тогда ни в каком виде не могло быть и речи о политической реформе. Если бы в январе 1968 года коммунисты-реформаторы вообще не попали в руководство, а вместо них правили бы Биляк, Индра, Якеш, Капек и им подобные, военной интервенции наверняка бы не произошло. В таком случае страна имела бы единственное преимущество — главой государства не стал бы Густав Гусак.

* * *

После того как Дубчек в ночь на 21 августа формально закрыл заседание политбюро, коридоры, прилегающие к залу заседаний, стали напоминать пчелиный улей. Десятки работников аппарата и журналистов перебежали от группы к группе, ожидая каких-то указаний. Но никто никаких директив не давал. Тем не менее, стихийно был принят ряд важных решений.

Тогдашний министр связи, человек Москвы Карел Гофман вместе с советскими приспешниками в органах госбезопасности (Шалгович) и в Чехословацком агентстве печати ЧТК (Сулек) попытались по заранее разработанному плану прервать трансляции телевидения и радио. Как только была прочитана первая фраза заявления Президиума ЦК КПЧ, радиопередатчик смолк, а из радиоприемников доносилась лишь глухая тишина. Олдржих Швестка, главный редактор газеты «Руде право», наложил запрет на публикацию заявления и подготовил к печати совершенно другой текст. И все же, благодаря решительным действиям Смирковского и работников радио, которые ввели в действие резервный радиотранслятор, заявление дубчековского руководства через некоторое время, в начале третьего ночи, попало в эфир и было напечатано в «Руде право».

Вторым серьезным вопросом, по которому на ходу приняли решение, был созыв чрезвычайного XIV съезда КПЧ. С этой инициативой выступил Пражский горком КПЧ, первым секретарем которого был Б. Шимон. В ту ночь он обговорил это с Дубчеком. Насколько мне известно, Дубчек колебался. Я думаю, он больше всего опасался, что в такой обстановке делегаты, собравшиеся на съезд, могут быть физически уничтожены, и не очень-то верил в саму возможность организации съезда. Но в

конце концов Дубчек согласился, чтобы Пражский горком созвал делегатов. В эту же ночь на 21 августа началась организационная подготовка съезда. Делегаты собрались утром 22 августа в столовой одного из пражских заводов ЧКД в районе Высочаны.

Советские транспортные самолеты, груженные танками и солдатами, все чаще грохотали над зданием ЦК КПЧ, держа путь к пражскому аэродрому. Люди постепенно покидали здание ЦК, работники райкомов, заводских партийных организаций, журналисты разошлись по своим рабочим местам. В здании остались лишь несколько членов партийного руководства, их помощники, а также некоторые сотрудники аппарата, которые, услышав по радио сообщение об интервенции, направились в ЦК и успели войти в здание еще до того, как его окружили советские солдаты. Около четырех утра я вошел в кабинет к Дубчеку. Там были Смирковский, Кригель, Шпачек, Шимон, Садовский, Славик, Якеш и Капек. Их я помню точно, но кроме них там были еще двое, кажется, Барбирек и Риго, но за это я ручаться не могу. Насколько я помню, среди них не было Пиллера, но и в этом я могу ошибаться. Зато я хорошо помню, что с нами тогда не было Биляка, Кольдера, Швестки, Индры, Воленика и Эрбана. Эрбан, по моему, не присутствовал даже на заседании политбюро 20 августа. Во всяком случае, я не помню, чтобы он выступал на этом заседании.

Где-то после четырех часов утра к зданию ЦК КПЧ подъехала черная «Волга» из советского посольства, и вскоре после этого здание окружили бронетранспортеры и танки. Из них выпрыгнули солдаты в форме советских десантников — в бордовых беретах и полосатых тельняшках, с автоматами наперевес. Входы в ЦК прикрывали густые цепи советских солдат. Несколько офицеров и взвод десантников вошли внутрь.

Мы наблюдали за всем этим из окна, и мне казалось, что я вижу сцены из кинофильма. При этом в моем сознании четко билась мысль: да это те же советские солдаты, которых ты с восторгом встречал и обнимал 9 мая 1945 года, с которыми ты потом на протяжении пяти лет пил водку и водил дружбу в Москве. Это не тени на экране, свои автоматы они вот-вот нацелят не на кадетов в Зимнем дворце, не на остатки обороняющихся рейхстаг, а на тебя. Я отчетливо видел происходящее, и все же какой-то внутренний голос говорил во мне, что произошло недоразуме-

ние. Я знаю их язык, их образ мыслей, их военные уставы и команды, я могу представить себе, о чем они говорят в свободное от службы время, что думают о своих офицерах, о самом Брежневe. Просто невозможно, чтобы они ни с того ни с сего пустили меня в расход.

Невозможно? Но откуда такая уверенность? Разве я был, что мне рассказывали мои товарищи по университетскому общежитию — бывшие фронтовики? Разве они не пускали пулю в лоб и тем, кого вообще не знали, кто не был им опасен и даже не был вооружен? Но все-таки эти мгновения разнились от моих переживаний во время войны. В ночь, когда нацистские оккупанты искали совершивших покушение на нацистского протектора в Чехии Гейдриха, немецкие военные и полицейские патрули с очень похожими автоматами в руках прочесывали наугад пражские кварталы. Они свернули и на нашу улицу. Тогда я тоже наблюдал за ними из окна. Серые призраки врывались в дома и квартиры. Я знал, что мой отец, в довоенное время офицер, держал в шкафу свой мундир и что где-то в доме было спрятано и оружие. Я испытывал обыкновенный, просто животный страх, понимая, что, если солдаты войдут в квартиру, всему конец. Но по счастливой случайности к нам они не зашли.

Те же, кто входил сию минуту в здание ЦК, такого страха у меня не вызывали. Правда, я уже не был маленьким ребенком, не представлявшим интереса для тех, кто вот-вот должны были предстать перед нами. Но я знал, что они исполняют определенный приказ, и было маловероятным, что, переступив порог кабинета Дубчека, они откроют автоматный огонь. Скорее, они нас арестуют, куда-то отвезут и, может быть, отдадут под суд, а это еще не конец, еще можно будет что-то сделать. Но главное заключалось даже не в этом, а в подсознательном чувстве уверенности. На чем оно основывалось? Наверное, на моей вере в коммунизм и на многолетней принадлежности к привилегированым, к власти имущим в коммунистической системе.

Мои ощущения были схожи с ощущениями тех партийных работников, которых перед процессом над Сланским арестовывали органы госбезопасности. Многие из них хорошо знали людей, пришедших за ними. Некоторые еще недавно приказывали им арестовывать других. А когда дошла очередь до них самих, они в глубине души считали, что произошло недоразумение, по-

сколько против них самих власть просто не может быть употреблена. Это была обманчивая уверенность верящих в коммунизм и обладавших властью коммунистов. Задолго до появления коммунистического учения такие ощущения переживали и другие. Наверное, брошенные на растерзание инквизиции священнослужители тоже должны были поначалу так думать, пока не подверглись пыткам и не оказались на костре. Похоже, даже советская интервенция еще не совсем развеяла все мои иллюзии.

Я и сейчас не буду говорить за других, но мне казалось, что затаенное подсознательное чувство подобной уверенности было не только у меня. По крайней мере, мои догадки подтверждались поведением тех, кто на протяжении нескольких часов сидел под прицелом советских автоматов. Йозеф Смрковский в воспоминаниях, опубликованных после его смерти, писал, что он, после того как советский десантник застрелил перед зданием ЦК юношу, шедшего впереди небольшой группы людей, которые несли чехословацкие знамена и пели национальный гимн, позвонил Червоненко и обвинил его в том, что он лично ответствен за смерть этого молодого человека. Разве это не было поступком человека, который даже под дулом автомата не переставал ощущать себя партнером оккупационных властей, одним из власть имущих, таких же, как Брежнев и Червоненко?

Осознавали это, мне кажется, не только мы, но и советские автоматчики и их офицеры. Двери кабинета Дубчека распахнулись неожиданно, и внутрь прямо ворвались семь или восемь солдат, которые нас тут же окружили и, встав за большим столом, направили автоматы в наши затылки. За ними появились два офицера. Тот, что званием повыше — полковник, — отличался маленьким росточком. Зато вся грудь его сияла блеском медалей, среди которых была чуть ли не звезда Героя Советского Союза. Вел он себя самоуверенно, по-барски. Он заявил, что берет нас «под свою охрану», и начал отдавать распоряжения. Кто-то, по-моему, Дубчек, что-то сказал, и полковник заголось: «Не разговаривать! Молчать! По-чешски не говорить!»

Возможно, если бы он не добавил «по-чешски не говорить», я бы никак не отреагировал. Но эти слова меня так взвинтили, что я не совладал с клокотавшими во мне одновременно чувствами гнева, страха, униженности и необычайной самоуве-

ренности правителя, лишенного власти, и бросил ему по-русски, возвысив голос до приказного тона: «Ведите себя так, как вам было приказано. Вы понимаете, где вы находитесь? Вы в кабинете первого секретаря коммунистической партии. Вы получали приказ не давать нам говорить? Не получали? Так сделайте, что вам было сказано!»

Полковник растерялся, хотел что-то сказать, но смолчал. Он оглянулся по сторонам, вышел из кабинета и через некоторое время вернулся с кем-то еще. Он по-прежнему вел себя надменно, но о запрещении разговаривать даже не заикался и начал составлять список присутствовавших: его начальники, видимо, понятия не имели, где кто находится. Они, вероятно, даже не знали, где те деятели, что проявили готовность создать «революционное правительство» и «революционный трибунал».

Солдаты перерезали телефонные линии в кабинете, закрыли окна, чтобы не было слышно, как шумит толпа, собравшаяся вокруг ЦК, окруженного советскими десантниками, как люди поют чехословацкий гимн, скандируют имя Дубчека, разные брэнды. Но кое-что доносилось и сквозь закрытые окна. Мы сидели за столом и молчали, спиной ощущая холодный металл автоматов. Богумил Шимон протянул руку к книжному шкафу и вынул первую попавшуюся книгу. Это была «История Древней Греции». «Давайте посмотрим, что нас ждет — сказал Шимон и открыл книгу, просто так, наугад, вслепую пальцем провел черту и вслух прочитал отмеченное предложение. В этом отрывке излагалось изречение, кажется, Платона о том, что демократия — это далеко не лучшее общественное устройство, поскольку она приводит к такому упадку дисциплины, что даже животные свободно бродят по улицам. «Вот видите, товарищи, почему они здесь», — сказал Шимон и закрыл книгу. Это несколько разрядило напряженную атмосферу. Мы начали друг с другом разговаривать.

Франтишек Кригель посмотрел на часы. Было пять с чем-то утра 21 августа 1968 года. «Я думаю, — сказал Кригель, — что до восьми ничего особенного не произойдет, пока они кое-как во всем не разберутся. Никто из нас не спал, и я советую немного вздремнуть. Всем понадобятся свежие головы».

Сказав это, Кригель встал из-за стола, отошел в сторону, лег на ковер за председательским креслом, подложил под голову свой портфель, явно всерьез намереваясь уснуть.

Кригель и Смрковский были тогда в партийном руководстве единственными представителями довоенного поколения коммунистов. Кригель бежал в Чехословакию в 20-е годы из района, расположенного на границе Польши и Украины, где попеременно власть переходила то к красным, то к белым, то к зеленым. Склонность к еврейским погромам у них была, однако, общей. «Галицийским евреем» Кригеля назвал и Шелест. Кригель прошел через гражданские войны в Испании и в Китае в роли полевого врача. К тому времени он уже закончил в Праге медицинский факультет. Кригеля считали хорошим специалистом, в отличие от многих свой авторитет в медицине он приобрел не за счет политической активности.

Я познакомился с Кригелем в 1947 году. Он был заместителем Новотного в бытность последнего секретарем Пражского обкома партии. Кригель явно выделялся интеллектом. Это был образованный, культурный человек с большими организаторскими способностями, с колоссальным политическим опытом, с мировоззрением, далеко выходящим за рамки провинциальных представлений большинства партийных работников того времени. Но именно это, плюс то, что Кригель был евреем и участником испанской войны, предопределило его падение в 50-е годы. Он тогда попал в опалу — работал сначала чиновником в управлении здравоохранения, а потом простым лечащим врачом. В 60-е годы Новотный именно на Кригеле и Смрковском решил продемонстрировать свою готовность реабилитировать незаконно репрессированных в 50-е годы. В это же время Кригель стал членом ЦК КПЧ и депутатом Национального собрания.

В 60-е годы Кригель не был партаппаратчиком, не принадлежал ни к одному из кланов, и в аппарате его не очень любили. Я уже говорил, что и в 1968 году он попал в политбюро не как ставленник аппарата и не как друг Дубчека, Черника или Кольдера. Кригель в период Пражской весны стоял на позициях, близких радикальному крылу коммунистов-реформаторов. Но обосновывал он свою позицию всегда рационально. Я думаю, что в дубчековском руководстве Кригель меньше других находился в плену идеологических иллюзий относительно советской великодержавной политики. По некоторым вопросам у него вообще не было иллюзий.

Мои отношения с Кригелем не были ни дружественными,

ни доверительными, по крайней мере до тех пор, пока в середине 70-х годов мы оба не оказались среди отверженных. Это было связано с нашими разногласиями по конкретным аспектам реформы, перспективам, темпам и методам ее осуществления, а также субъективными моментами. Как политический деятель Кригель был человеком рациональным и одновременно самоуверенным, авторитарно настаивающим на своей точке зрения. К людям он относился с недоверием, хотя его нельзя было назвать недружелюбным и замкнутым. В некотором смысле мы были в политике похожи друг на друга, и именно это определяло характер наших отношений в то время, когда мы оба находились у власти.

Франтишек Кригель относился к партийным работникам, для которых политика не сводилась к проблеме удержания власти и борьбы за нее в рамках механизмов тоталитарной системы. Для Кригеля политика была движением и развитием общества, страны и мира. Поэтому он придавал большее значение всенародному демократическому движению, чем политической борьбе среди власть имущих. Этим я не хочу сказать, что Кригель не разбирался в джунглях кулуарной и групповой борьбы, что он уклонялся от нее. Напротив, и на этом ринге он умел отстаивать свои интересы. Но главным ориентиром для него было общественное движение, общественные перемены. Поэтому-то он и стал главной мишенью выпадов сталинистов, его положение усугублялось еще и тем, что он был «галицийский еврей», и его биография казалась КГБ подозрительной и нечистой.

Вне политики Франтишек Кригель был хорошим человеком. Я не знаю никого, кто был способен, как он, в обстановке крайней депрессии, опасности и стресса поднять настроение людей, обнадежить их и укрепить уверенность в себе. Он был врачом не только по специальности, но и по характеру. Но поскольку и врач отнюдь не ангел, то и Кригель иногда проявлял упрямство, подозрительность и предвзято относился к тем, к кому не питал полного доверия.

К утру 21 августа Кригелю удалось уснуть на ковре в кабинете Дубчека. Минут через десять послышался такой храп, что десантники оцепенели и инстинктивно направили автоматы на спящего. Вначале мне показалось, что Кригель это делает нарочно. Но он храпел с таким удовольствием, издавая разно-

нальные звуки, что все мы, в том числе и охранники, поняли, что Кригель на самом деле спит. Автоматы снова были повернуты к затылкам сидевших за столом.

Как и предсказывал Кригель, в течение трех часов действительно ничего не происходило. Все мы были погружены в свои мысли. Иногда те, кто сидел рядом за столом, перебрасывались короткими фразами, кто-то читал. В кабинете Дубчека был отдельный туалет и умывальник. Каждого, кто туда заходил, сопровождал десантник, останавливавшийся у дверей и остававшийся там для подстраховки. В его обязанности также входило проверить после нас туалет и умывальник. Прodelывал он это очень тщательно и каждый раз возвращался с мокрым до локтя правым рукавом. Наверное, он проверял сливной бачок с водой, а возможно, и унитаза.

Около девяти часов, как только Кригель проснулся посвежевший и подсел к нам, в кабинет снова вошел маленький полковник. На этот раз в сопровождении двоих военных и троих в штатском, в которых мы сразу, еще прежде чем те открыли рот, узнали работников наших чехословацких органов госбезопасности. Одного из них, русого полноватого человека лет сорока, я уже где-то видел. Возможно, он был среди слушателей моих лекции о социалистической демократии, а может быть, раньше работал в политическом аппарате, и мы с ним встречались там. Он стоял молча. Заговорил другой — высокий брюнет. Он предложил Дубчеку, Сморковскому, Кригелю и Шпачеку следовать за ним.

Кто-то из них, по-моему, Дубчек, спросил, на каком основании. На это брюнет разразился довольно пространной фразой, которую я буквально воспроизвести не могу, но содержание ее сводилось к словам: именем революционного трибунала во главе с товарищем Алоисом Индрой. Тогда уже Сморковский спросил, что это за орган. Он как председатель Национального собрания почему-то ничего о нем не знает, и о нем как-то даже не упоминается в чехословацкой конституции. «Йозеф, брось, это все бессмысленно», — перебил Сморковского Дубчек.

Затем один из сотрудников госбезопасности предложил всем четверым сдать оружие. Сморковский в ответ рассмеялся, демонстративно похлопал себя по карманам, вывернул их и выложил на стол перочинный ножик. «Мы не нуждались в оружии

против своего народа», — сказал он. Стушевавшись, подошедшие было к Дубчеку для обыска остановились в некотором замешательстве. Дубчек поднял руки и со своей обезоруживающей улыбкой подбодрил: «Ну, что же вы, ищите, ищите!»

Советский полковник, даже не понимая того, что было сказано, понял абсурдность ситуации и приказал всем покинуть кабинет. Смирковский успел положить в карман несколько кусочков сахара и, обратившись к нам, посоветовал: «Возьмите тоже, пригодится, поверьте моему тюремному опыту», — и вышел вместе с другими. Все уже поняли, в каком ключе пойдут дальнейшие события. «Становится горячо», — сказал кто-то. На несколько минут воцарилось напряженное молчание. Те, кого это могло касаться, представили себе, как наяву, заседание «революционного трибунала». Вырисовывалась более реальная и конкретная картина, чем та, которую мы представляли вначале, полагая, что с приходом десантников с автоматами разыгрывается последний акт.

Не заполненное ничем время тянулось медленно. Я даже не помню, в какой последовательности развивались дальнейшие события. Еще раз приходили советские офицеры — на этот раз без чехов — и вызвали Шимона, Якеша и Капека. Состав этой тройки показался странным, и мы пытались сообразить, по каким критериям ее подбирали. Шимон с двумя другими не имел ничего общего, а о том, чтобы эта тройка предстала перед «революционным трибуналом», не могло быть и речи. Лишь позднее выяснилось, что Шимона отправили к первым четырем арестованным, а двое других поехали совещаться с советскими представителями.

Затем наши караульные получили, видимо, новый приказ, что преобразило их поведение. Они сели на свободные стулья и отвели автоматы от наших затылков, положив их на колени. В полдень вдруг раздался гул сирен пражских заводов. Солдаты вскочили, как бы изготавившись к бою, но через некоторое время снова успокоились. «Что это такое?» — спросил советский лейтенант, лично приставленный ко мне. Он был не в форме десантника, а в обычной полевой и с самого начала вел себя вежливо. Это именно он заснят в кинохронике тех дней выглядывающим из окна кабинета Дубчека. Смирковский рассказывал, что они стояли рядом у окна, когда внизу застрелили чешского пар-

ня. «Это был порядочный молодой человек, — рассказывал позднее об этом лейтенанте Смрковский. — Во время стрельбы на улице он был явно взволнован и с трудом сдерживал слезы».

«Это заводские сирены», — ответил я ему. «А почему они гудят?» — спросил он еще. «Не знаю. Отпустите меня, и я узнаю. Мне это тоже интересно». — «Я не имею права», — отреагировал лейтенант. Я добавил, что рабочие, вероятно, начали забастовку и подадут об этом сигнал гудками. «Рабочие включили сирены?» — переспросил он с недоверием в голосе. «А почему бы и нет?» — ответил я. «Да бросьте, — возразил лейтенант, — разве у рабочих есть доступ к сиренам? Просто администрация приказала, и включили».

Так начались мои дебаты с караульным лейтенантом. Вначале я ему говорил, что у нас все это выглядит несколько иначе, что он сам видит, — ситуация создавалась чрезвычайная, и люди реагируют на нее соответствующим образом. Это его, очевидно, не убедило. Потом я спросил его, как он думает, почему его направили в Прагу. Лейтенант довольно связно и примерно в том же духе, в каком были написаны письма Брежнева, стал говорить о создавшейся в Чехословакии «контрреволюционной ситуации». Он приводил цитаты из газеты «Литерарни листы» и журнала «Репортер», он даже знал названия этих изданий. Он говорил на хорошем русском языке и с каким-то идеологическим вдохновением. Я спросил, почему он считает, что для него лично опубликованные в наших газетах и журналах статьи опасны. Его ответ поразил меня. Он сказал, что окончил московский литературный институт, но не смог устроиться после института и решил стать кадровым военным.

Те из задержанных, кто знал русский, тоже разговорились со своими охранниками. Десантник, приставленный к Вацлаву Славику, пытался даже говорить с ним по-французски. Он тоже был с высшим образованием и использовал его вот таким своеобразным способом.

Здание ЦК КПЧ охраняла известная Таманская дивизия, традиционно принимавшая участие в дворцовых кремлевских переворотах. Это элитная, отборная часть. И нельзя не признать, что отбор, хотя и по несколько неожиданным критериям, оказался действительно тщательным.

Во второй половине дня личный шофер Дубчека Йожко

Бринзик принес нам из партийной гостиницы обед. Он позвонил к нам домой, рассказал, что произошло, и на подносе под салфеткой принес записки от родных. Бринзик знал Дубчека еще по партизанскому отряду во время войны. С тех же времен он знал психологию советских солдат и офицеров и русский язык. Позже мне рассказали, что ему удалось выйти из окруженного здания и вернуться туда с помощью одной только фразы, которую Йожек самоуверенно бросал в лицо охранникам: «Я вам не подчиняюсь, у меня свои начальники, и я выполняю их приказы».

Когда мы наелись, то обратили внимание, что наши охранники смотрели на остатки зельца, колбасы, хлеба и пива такими голодными глазами, что кто-то из нас спросил, не хотят ли они есть. И тут нам открылась военная тайна: последний раз их кормили накануне вечером. Они с жадностью набросились на еду, что окончательно притупило их служебную бдительность. «Мой» лейтенант с готовностью разобрал на столе свой автомат, когда я заметил вскользь, что на занятиях по военной подготовке во время учебы в Москве у меня был автомат другой конструкции. Сказал я ему и о том, что тогда мне присвоили звание младшего лейтенанта советской армии. В ответ он пустился в разъяснения о различиях той и другой модели, похвально отозвавшись о своем оружии в том смысле, что оно не подведет ни в Средней Азии, ни за Полярным кругом. Тогда я проронил, что было бы хорошо, если бы они со своим превосходным оружием ушли за Полярный круг. Он понял двусмысленность ситуации, быстро собрал автомат и поставил его в сторону.

У меня создалось впечатление, что если бы я провел с ним неделю-другую в нормальных условиях, да еще мы бы выпили вместе, то этот лейтенант наверняка признал бы нелепость военной интервенции. Возможно, среди советских военных таких было немало. Ведь не только мы, находившиеся в здании ЦК КПЧ, беседовали со своими стражами из отборных десантных частей, на улицах Праги и других городов десятки тысяч подобных разговоров велись между простыми чехословацкими гражданами и советскими солдатами. Эти солдаты не принадлежали к советской военной элите. Они не только не знали, зачем советская армия вошла в Чехословакию, но многие не ведали даже, где, собственно, они находятся. Были случаи, когда некоторые рядовые солдаты думали, что они в Западной Германии или

в Израиле. Возможно, многие в глубине души считали, что лучше было остаться дома. Но от этого никому не стало легче: мнение этих людей ни на что не влияло, их правительство обращалось с ними как с бездумным стадом, которое будет стрелять в тех, на кого укажет командование.

Пять дней спустя я говорил об этом в Кремле с маршалом Гречко и сказал ему, что советская армия в Чехословакии, похоже, идеологически разлагается. «Возможно, — сказал Гречко, — но это не так страшно. Если эти части разложатся, мы их заменим хоть десять раз». Это было произнесено настолько самоуверенным тоном, что я не удержался и спросил: «Только и всего?» Гречко посмотрел на меня с выражением злости в глазах, но никак не отпарировал и отошел в сторону.

Около десяти вечера в кабинет снова вошел маленький полковник. На сей раз он, расплываясь в улыбке, сообщил, что состоится встреча на высшем уровне, в которой с нашей стороны примет участие товарищ Дубчек и другие товарищи. Мы же совершенно свободны и можем идти куда заблагорассудится, а завтра приступить к нормальной работе в ЦК. «Лично я, — сказал он, — очень рад, что все так устроилось». Он отослал караульных, пожал всем руку, а потом с кем-то, по-моему, с Садовским, затеял разговор. Я встал и ушел.

Домой я направился пешком, я жил недалеко от ЦК. За цепью десантников стояла толпа людей, ожидавших, что будет дальше. Они, понятно, с подозрением встречали тех, кто свободно выходил из здания, кого вежливо пропускали солдаты. Кто-то меня узнал и окликнул по имени. Меня тут же окружили и стали спрашивать, что с Дубчеком. Я ответил, что в ЦК уже никого из партийного руководства нет, что готовятся, кажется, переговоры, в которых Дубчек должен принять участие. Мне тогда даже в голову не пришло, что тот маленький полковник придумал все сам и по своей инициативе подбросил эту «утку». Да наверное это и не было плодом его личной фантазии. Наверняка ему что-то сказали его начальники. Не знаю, действительно ли кто-то из советской верхушки уже тогда пришел к заключению, что с Дубчеком все же придется вести переговоры. Ведь окончательно все решилось только сутки спустя, в советском посольстве и в Пражском Граде, и лишь через 48 часов Дубчека действительно доставили в Московский Кремль. А вот 22 августа еще не было

никаких признаков того, что есть решение о подобных переговорах. Напротив, в этот день в советском посольстве пытались сформировать «революционное рабоче-крестьянское правительство» во главе с Алоисом Индрой.

* * *

Утром 22 августа я должен был решить для себя, куда идти — на заседание чрезвычайного съезда КПЧ или в ЦК, чтобы выяснить, что происходит. Еще ночью мне сообщили, что, в то время как нас держали в кабинете Дубчека, промосковская группа партийных руководителей — Биляк, Индра, Якеш и Кольдер — собралась в гостинице «Прага», где находилось уже около пятидесяти членов ЦК КПЧ. Я знал также, что на этой встрече некоторые дали согласие сотрудничать с советскими властями, что там выбрали группу во главе с Биляком и уполномочили ее вести переговоры с командованием оккупационных войск. Это не только не вязалось с тем, что сказал полковник, но и подтверждало мои догадки в связи с арестом Дубчека и других членов политбюро именем «революционного трибунала» и лично Алоиса Индры. Я понял, что промосковская группа пытается сформировать новые коллаборационистские партийные и государственные органы. Я решил, что важнее всего получить полную ясность в этих делах, договорился о том, как поддерживать связь с некоторыми делегатами «высочанского» съезда, и пошел в ЦК.

Здание все еще было оцеплено, перед ним стояли танки, но по удостоверению ЦК КПЧ вход внутрь был разрешен. В самих помещениях советских солдат уже не было, во всяком случае, их не было видно. Явились Биляк, Индра, Кольдер, Якеш, Ленарт, Швестка, Пиллер, Барбирек, Риго, Садовский и я, то есть одиннадцать из двадцати двух членов партийного руководства. Отсутствовали арестованные накануне члены Президиума Дубчек, Черник, Сморковский, Кригель, Шпачек и Шимон, а также три члена секретариата Цисарж, Славик и Эрбан. Я не помню, где тогда был еще один член секретариата, Олдржих Воленик — отсутствовал или находился с нами. Не помню я и того, был ли Капек 22 августа в ЦК. Кроме вышеперечисленных в этот день на заседание партийного руководства заявили еще два человека,

вовсе в число руководителей не входившие. Это были генерал Ритирж, бывший начальник генерального штаба при Новотном, и министр торговли Павловский. Оба, правда, члены ЦК. Повел заседание Биляк. Присутствие Ритиржа и Павловского он обосновал тем, что вчера на встрече членов ЦК КПЧ в «Праге» они, наряду с другими, были избраны в состав делегации для переговоров с командованием советских войск. Затем Биляк проинформировал об их результатах. В его понимании такие переговоры с советским командованием и посольством были главной предпосылкой выхода из создавшегося в стране положения. Биляк настаивал также на том, чтобы оставшаяся часть партийного руководства дала указания обкомам и госучреждениям действовать в этом же духе, а себя объявила органом, ведущим переговоры на «высшем уровне».

Мы с Садовским спросили, что с Дубчеком и остальными. Конкретного ответа Биляк не дал, сказав лишь, что его заверили в безопасности товарищей, находящихся под советской охраной. В ходе обсуждения Пиллер, Барбирек, Риго и даже Швестка и Ленарт высказались за то, что смыслом любых переговоров должно быть прежде всего установление контакта с арестованными членами партийного руководства. Вопреки предложению Биляка вновь составить некую делегацию большинство приняло решение, что все оставшиеся члены руководства без исключения должны продолжить переговоры, но не с военным командованием, а с советским послом в Праге. Было условлено добиться через Червоненко связи с Брежневым, чтобы потребовать освобождения шести интернированных и участия в любых дальнейших переговорах партийного руководства Чехословакии непременно в полном, составе.

Биляк, Индра, Кольдер и Якеш не выступили открыто против этих предложений, напротив, Биляк, со всем согласившись, отправился звонить Червоненко.

Около полудня с советским послом удалось договориться. Одиннадцать членов партийного руководства должны были поехать в советское посольство, где им была обещана связь с Кремлем (прямая линия из здания ЦК была со вчерашнего дня отрезана). Биляк сказал также, что нас отвезут на советских военных машинах. Как это ни странно, но абсолютно все присутствовавшие, за исключением Биляка и Индры, отказались вос-

пользоваться предложенным транспортом. Эти двое спустились во двор к советским бронетранспортерам, а остальные сели в машины ЦК.

Советское посольство по понятным причинам было оцеплено танками, бронемашинами и заслонами солдат. Внутри здания на лестницах и в коридорах все выглядело, как в осажденной крепости: военные в форме и сотрудники КГБ в штатском при полной боевой выкладке стояли, лежали и сидели на ступеньках, у каждого окна, у каждой двери. Нас впустили в комнату рядом с кабинетом Червоненко. На столах стояли водка, коньяк, вино, бутерброды, икра. Однако там не было никого, кто бы с нами мог вести переговоры. Посол передал свои извинения и попросил нас подождать.

И мы ждали. Приблизительно через полчаса ко мне подошел незнакомый человек в штатском, по-видимому, сотрудник КГБ. Он попросил меня на минуту. Мы вышли за дверь, и он передал мне привет от одного из моих сокурсников по московскому университету. Я знал, что тот стал подполковником госбезопасности. Мой собеседник предложил мне помощь. Я ответил, что даже не представляю себе, чем в данной ситуации он мог бы мне помочь, разве что устроить, чтобы Червоненко встретился с нами и связал нас с Брежневым. Он усмехнулся и сказал, что такими возможностями он не располагает. Я вспомнил, что мне нужно позвонить людям, которые поддерживали связь с делегатами чрезвычайного съезда партии и что сделать это из здания посольства будет непросто. Тогда я решил использовать представившийся случай, попросив о более скромном одолжении — позвонить по «вертушке». И он мне действительно помог — привел в комнату, где был такой телефон. В течение последующих трех часов я трижды звонил и сообщал о результатах переговоров в посольстве, что немедленно, хотя и не совсем точно, передавалось делегатам съезда.

В результате создалась весьма комичная ситуация. В комнате, где мы ждали встречи с Червоненко, а затем вели с ним переговоры, было радио. Мы слушали сообщения о работе съезда и другие новости. И тут среди прочего передали, что в советском посольстве промосковская группа членов Президиума ведет переговоры о формировании коллаборационистского правительства, что несколько членов Президиума готовы в него

войти, а ряд отказывается. Присутствующих это повергло буквально в ужас. Драгомир Кольдер несколько раз громко выкрикнул: «Черт, как они узнали об этом?!» Ему никто не ответил. И на других это произвело гнетущее впечатление. Получалось, что даже здесь нельзя себя чувствовать спокойно. Догадаться о том, что я передавал информацию по телефону самого Червоненко, никто, конечно, не мог.

Мы ждали Червоненко несколько часов. Больше часа не было с нами также Биляка с Индрой, ехавших от ЦК на советских бронемашинах. Когда они наконец добрались, выяснилось, что они задержались как раз потому, что избрали этот вид транспорта. Бронетранспортер, переехав мост через Влтаву, на другой стороне вынужден был остановиться, так как там произошло какое-то столкновение с советскими военными грузовиками рейсового трамвая. Бронемашина не могла продвинуться ни назад, ни вперед. Командир, сопровождавший Биляка и Индру, предложил пересесть в другую машину. Однако поблизости стояла толпа пражан, которые могли увидеть, как те вылезают из бронетранспортера оккупантов. Около часа они просидели в чреве этого страшилища, раскалившегося под лучами августовского солнца, и явились в посольство в весьма потрепанном виде и паршивом настроении.

После обеда, наконец, явился Червоненко. Он выслушал нашу просьбу связаться с Брежневым и снова удалился. Вернувшись примерно через час, он сообщил, что телефонная связь с Москвой, к сожалению, прервана. Я предложил ему воспользоваться линией командующего войсками генерала Павловского. «Та линия тоже не работает», — с нагловатыми нотками в голосе отпарировал Червоненко. Я заметил, что это, наверное, ужасно, когда армия не может связаться даже с маршалом Гречко. На что он закивал в знак согласия, дескать, да, положение весьма неприятное. И тут же перешел к делу: мы-де теряем драгоценное время в бессмысленных ожиданиях. Связь восстановится со временем, и тогда можно будет согласовать дальнейшие действия с Дубчеком, Черником и другими членами политбюро. А пока что он советовал предметно продумать, как создать на этот чрезвычайный период чрезвычайный орган. В нем, мол, должны быть объединены полномочия партийного и государственного руководства, то есть речь шла о «революционном рабоче-

крестьянском правительстве». По его мнению, именно присутствовавшие здесь товарищи могли бы составить основу такого правительства, принимая во внимание их нынешние законные посты и то, что они пользуются доверием Москвы. Он посоветовал нам взвесить его предложение и в очередной раз вышел.

Ситуация теперь была ясна, и ее начали обсуждать. Кроме одиннадцати членов партийного руководства, которых я уже назвал, здесь находились министр Павловский и Шалгович, который оказался в посольстве еще до нашего приезда. Генерала Ритиржа, если мне не изменяет память, там не было.

Сначала обсуждение шло вяло, никто ничего конкретного не предлагал. Видя это, Васил Биляк взял инициативу в свои руки. По его разумению, наше утреннее решение оставалось в силе, но пока нет связи с Москвой, он предлагал подготовить предварительный проект, о котором говорил товарищ Червоненко. Он лично считал эту идею правильной, но окончательное решение можно будет, естественно, принять лишь после обсуждения с отсутствующими членами руководства.

Ян Пиллер чувствовал себя явно не в своей тарелке, он предпочел бы как-то из этой ситуации выкрутиться. К тому же и все остальные в столь щекотливый момент с удовольствием бы избавились от меня я Садовского, понимая, что в таком деле на нас рассчитывать не приходится. Поэтому Пиллер предложил, чтобы мы с ним поехали в Высочаны в качестве делегации Президиума ЦК КПЧ и там попробовали бы повернуть съезд в «нужном направлении». По радио уже передали, что собравшиеся на пражском заводе делегаты провозгласили себя съездом КПЧ и приступили к выборам ЦК. От предложения Пиллера я отказался, дав понять, что занимавшиеся составлением некоего революционного правительства ничего общего с «высочанским» съездом не имеют и я в роли посредника в данном случае выступать не желал бы. Кроме того, мы утром ведь договорились, что с Червоненко переговоры будут вести все члены партийного руководства, и я не был намерен никуда уходить. Садовский заявил примерно то же самое. Вопрос, таким образом, повис в воздухе, больше никто из присутствовавших не отваживался появляться на съезде, а один Пиллер «делегацией» быть не мог, так что не поехал никто.

Обсуждение состава «революционного рабоче-

крестьянского правительства», которое одновременно исполняло бы и функции партийного руководства, продолжалось около двух часов. Кто-то договорился до того, что создание подобного органа, собственно, соответствовало бы решению Президиума ЦК, принятому два дня назад, по которому все должны были оставаться на своих местах. Но так как весь смысл происходящего в данную минуту заключался в сформировании нового руководства, нужно было все-таки избрать новых первых лиц. Во главе партийного аппарата предлагалось поставить Василя Биляка, а правительственные дела возложить на Алоиса Индру.

Я говорю «предлагалось», потому что во время дебатов действительно вносились различные предложения. Было очевидно, что группа Биляк, Индра, Кольдер, Якеш, Ленарт, Швестка и Павловский разыгрывала заранее отрепетированную партию. Возможно, в нее входил и Пиллер, но в его поведении чувствовались колебания, хотя, может быть, он вел себя так умышленно. Барбирек и Риго, похоже, не были заранее посвящены в суть дела и часто нарушали согласованный сценарий. Насколько мне помнится, Шалгович при обсуждении состава «революционного правительства» не присутствовал, а мы с Садовским никакого отношения к этому спектаклю вообще не имели.

Василь Биляк делал вид, что он нехотя соглашается принять на себя обязанности главы партии. С пафосом он провозгласил, что если товарищи окажут ему все-таки такое доверие, то он сделает все, чтобы в эту нелегкую годину не оставить партию на произвол судьбы. С Индрой же и вовсе получился конфуз. Когда он тоже начал для проформы высказывать сомнения, подходит ли он для такой должности, кто-то сразу же согласился с ним и сказал, что ему действительно не стоит браться за это дело. По-моему, первым это вставил как раз Садовский. Я тут же поддержал его и с серьезным видом предложил назначить главой правительства Ленарта, аргументируя тем, что он уже был премьером при Новотном, почему бы ему не стать им и сейчас. С моим предложением согласился еще кто-то, по-моему, Барбирек. Ленарт, однако, взял слово и отказался, ссылаясь на постановление Президиума, которое обязывало его остаться на своей должности. Как будто это решение не распространялось на Биляка и на Индру!

Историческое совещание оказалось под столь серьезной

угрозой, что Биляк снизошел до общения со мной, прошептав на ухо: «Индра согласится, он сейчас просто устал, и ему все безразлично». В тот момент действительно казалось, что Индре все равно. Сам он не предпринимал ничего, чтобы сдвинуть вопрос с мертвой точки. Кто станет во главе «правительства революционных рабочих и крестьян», решить так и не удалось, и собравшиеся перешли к обсуждению кандидатур руководителей отдельных ведомств политического и государственного управления.

Олдржих Павловский предложил меня на роль партийно-государственного шефа по делам культуры и печати. Даже если бы я принимал происходившее всерьез, то и тогда это предложение меня бы задело: менее благодарное занятие в то время трудно было себе представить. Прямое обращение ко мне Павловского по существу обязывало открыто высказать свою точку зрения. Было бы, конечно, просто недальновидно заявить в здании советского посольства, что я не намерен иметь ничего общего с «революционным рабоче-крестьянским правительством», и тем самым преждевременно выйти из игры. Поэтому я сказал, что было бы разумнее в первую очередь обсудить кандидатуры на такие ключевые посты, как министр внутренних дел. На удивление все от этой должности отрекивались. Я помню, как решительно сопротивлялся Якеш, когда кто-то напрямую предложил его кандидатуру.

Совершенно неожиданно и довольно резко в ход обсуждения вмешался Эмил Риго и заявил, что он вообще не желает быть министром ни в каком правительстве и в противном случае предпочитает выйти из руководства. Барбирек тоже начал настаивать на том, что он член Словацкого национального совета и хочет работать не в Праге, а в Братиславе. Явно незапланированные заявления этих двух наименее влиятельных членов политбюро совершенно не вписывались в общий сценарий. Биляк, Кольдер, Ленарт и другие долго убеждали Риго, что он годится и в министры.

В истории коммунистического движения Риго был первым и, возможно, последним цыганом, ставшим членом политбюро. В некоторые моменты он давал волю независимому и неодолимо-му нраву, присущему его народу, так и теперь его отвращение к министерскому креслу оказалось просто непоколебимым. Лишь с появлением Червоненко проблему удалось разрешить. «Ну, ко-

нечно, товарищ Риго, вам совсем ни к чему становиться министром. Вы вернетесь на свой металлургический завод в Восточной Словакии, но будете членом рабоче-крестьянского правительства, как до сих пор были членом Президиума», заявил тот. Выслушав эту благоразумную тираду, Риго одобрительно закивал, что это он может, это другое дело.

Время шло, но обсуждение никаких конкретных результатов не дало. По возвращении Червоненко обнаружил, к своему неудовольствию, что «рабоче-крестьянского правительства» у него все еще нет. Не было даже его главы. Был поздний вечер, по плану, очевидно, все давно уже должно было свершиться, поэтому у Червоненко не было другого выхода, как заняться этим вопросом лично. Он сообщил, что недавно говорил со Свободой и обещал ему, что в результате этого совещания руководство КПЧ вскоре представит предложения по дальнейшим действиям, так что необходимо прийти к какому-то решению.

Оттягивать развязку стало невозможно. Перекинувшись шепотом двумя-тремя фразами, мы с Садовским решили открыто отвергнуть идею создания «рабоче-крестьянского правительства» и вернуться к первоначальному требованию: сначала встретиться с Дубчеком и другими, а потом совместно принимать решения. Мы понимали также, что необходимо выбраться из советского посольства целыми и невредимыми, чтобы не пришлось встретиться с Дубчеком там, где его содержат сейчас. Мы, правда, не знали точно, где он, а Червоненко бессовестно лгал, что Дубчек и остальные находятся на чехословацкой территории. Это, собственно, было правдой, если иметь в виду довоенные границы: все интернированные находились на территории Закарпатской Украины, где были по двое размещены в бараках КГБ.

Упоминание Червоненко о разговоре со Свободой натолкнуло меня на мысль, как можно найти приемлемый для всех выход из ситуации. Я попросил слова и изложил свои соображения. Я сказал, что в соответствии с Конституцией ЧССР правительство может возглавлять президент республики, если председатель правительства не в состоянии выполнять свои обязанности. Мы здесь заседаем, а правительство, хотя и без председателя, существует. Товарищ Индра сам признал, что он не сможет вести правительственные дела. Мы не договорились даже о том,

кто за что будет отвечать, а между тем в правительстве остались свои министры. Поэтому я предложил всем поехать в Град к президенту и продолжить обсуждение вопроса там. Что касается меня лично, то я отказываюсь от любого поста в органе, названном здесь рабоче-крестьянским правительством. Создание подобного правительства было бы попыткой подменить существующие конституционные органы власти другими, а это полностью противоречит специально принятому постановлению Президиума ЦК КПЧ и, насколько мне известно, позиции самого президента, который присутствовал на том заседании. Ситуация в принципе неразрешима, до тех пор, пока не начнется предметный разговор по самому факту интервенции.

Примерно в таком же духе высказался и Садовский. Внешне Червоненко оставался спокойным, он, видимо, понимал, что его план создания «революционного рабоче-крестьянского правительства» провалился. Это уже показал его разговор со Свободой, который, как я узнал позже, тоже отверг подброшенную Червоненко идею о формировании нового правительства и потребовал, чтобы ему предоставили возможность вылететь в Москву с официальной делегацией. Правительство во главе со Штроугалом в то время заседало в Пражском Граде, о чем я, понятнo, не знал.

И все же сначала Червоненко стал убеждать меня, что я допускаю ошибку, отказываясь войти в новое руководство. Он назвал меня способным человеком и сказал, что для отказа нет оснований. Он понимает, что сейчас мне кажется, будто все рухнуло и ничего нельзя поправить. Но это недальновидная точка зрения. Лет через пять, как это было и в Венгрии, все предстанет в ином свете. То, что сейчас кажется открытой, неизлечимой раной, затянется, как и не бывало. Мне следовало бы задуматься о будущем народа, партии и своем собственном, а не поддаваться сиюминутным эмоциям. Не думаю же я, что вступившие в Чехословакию войска могут просто так уйти — что бы тогда произошло в стране?

«Я и в самом деле не думаю, — ответил я, — что раз уж было принято решение об интервенции, то войска сегодня или завтра уйдут. Плохо то, что они вообще пришли. Этот шаг чреват такими последствиями, что за пять лет не устранить. В Венгрии травма тоже не залечена — случившееся не поправить». Но как

бы то ни было, я настаивал, чтобы последующие переговоры велись на высшем уровне, и еще раз предлагал поехать в Град и добиваться того, чего мы просили с самого начала: связи с Дубчеком.

Последовал короткий обмен мнениями. Против сказанного, как ни странно, никто возражать не стал;

Червоненко еще раз переспросил меня в деталях о конституционном механизме решения проблемы с участием президента и в конце концов тоже согласился. Было уже довольно поздно, около одиннадцати часов вечера, когда мы в сопровождении советских офицеров и эскорта бронетранспортеров приехали в Град. Червоненко был уже у Свободы, приехав раньше нас, и, видимо, предлагал ему взять на себя обязанности председателя правительства. Оно же почти в полном составе под председательством Штроугала заседало в соседнем зале. Мы сидели и ждали, обсуждая, кто из нас представит президенту предложения, согласованные в советском посольстве, и в итоге решили, что это делает Пиллер — Биляк и Индра как-то воротили от этого нос.

Затем распахнулись двери, и оттуда вышел рассерженный Червоненко. Он проследовал мимо нас и скрылся. Минуту спустя появился Людвик Свобода: он тоже был возбужден, но хорошо владел собой, держался по-строевому подтянуто, даже более подчеркнуто, чем обычно. Он поздоровался и предложил привлечь к дальнейшему разговору заседавших рядом представителей правительства. Затем Свобода отправился за ними и вернулся, если я не ошибаюсь, в сопровождении Штроугала, Махачовой и Кучеры.

Штроугал уселся за стол напротив меня и шепотом спросил: «В чем дело?» Я написал на листочке бумаги: «Речь идет о твоём участии в революционном рабоче-крестьянском правительстве». Прочитав это, Штроугал покрутил от удивления головой, что-то дописал и вернул листочек мне. Там был вопрос: «Что это такое?» Я не успел ответить, как Пиллер стал докладывать о том, что было предложено в советском посольстве.

Как только Пиллер закончил, мы с Садовским попросили слова и оба еще раз заявили, что не вступим в такое правительство, повторив те же аргументы, что и в разговоре с Червоненко. Свобода спросил, согласны ли в правительство войти другие.

Штроугал от имени законного кабинета резко отверг предложения Пиллера, после чего Свобода сказал: «То, что здесь предлагалось, я не могу сделать и не буду. В противном случае народ выгнал бы меня из Града как паршивую собаку». Затем он объявил о своем решении поехать в Москву и убедить Брежнева освободить Дубчека, Черника, Смирковского и других. Об этом он уже сообщил Червоненко. Все договорено, утром он улетает. Сопровождать его будут три члена правительства: заместитель председателя Густав Гусак, министр обороны Мартин Дзур и министр юстиции Богуслав Кучера, который, не являясь членом компартии, будет одновременно представлять и все другие организации Национального фронта. Он предложил, чтобы оставшиеся члены Президиума ЦК также выбрали трех представителей для включения в делегацию. Далее он говорил, что лично знает товарища Брежнева и советских маршалов, а потому исключено, чтобы возникшее недоразумение не прояснилось. Он уверен — путем прямых переговоров все можно уладить. Свобода заключил свою мысль словами: «Вот увидите, когда советские солдаты будут уходить из Чехословакии, народ их будет осыпать цветами, как в 1945-м».

Противоречие между первой и последней фразами, произнесенными Свободой, ошеломило меня. Но это было не последней неожиданностью. Тогда же, ночью 22 августа, главное заключалось в том, что он окончательно провалил попытки создать коллаборационистское правительство. Нет сомнения, что в решающей степени на это оказало воздействие всенародное сопротивление интервенции и позиция XIV съезда партии. Не вызывает, однако, сомнений и то, что важную роль в срыве планов Москвы сыграла позиция, занятая лично Свободой, и не следует об этом забывать только потому, что в дальнейшем он повел себя неблагоприятно.

Слова Свободы подействовали на просоветскую группу даже не как холодный душ, а как пощечина. Васил Биляк выглядел словно выпоротый. Как-то сразу стало видно, что он просто недоучившийся портной, амбициозный, стремящийся к власти, злобный, но в данный момент сильно напуганный. Биляк сидел, сжавшись, опустив глаза в пол, и нервно, импульсивно что-то мямл в руках. Кому удалось на секунду перехватить его взгляд, тот видел в глазах Биляка выражение неопишемого ужаса, животного-

го страха, краха. Проученным членам Президиума пришлось еще решать, кто из них будет сопровождать Свободу. Остановились на Биляке, Индре и Пиллере.

В ту ночь я еще около получаса говорил со Свободой с глазу на глаз. Он рассказал мне, что ему звонила какая-то женщина и велела в знак протеста против оккупации застрелиться. В ответ на объяснения, почему он этого не сделает, что на нем лежит обязанность найти выход из создавшегося положения, женщина якобы сказала: «Господин президент, но это было бы так благородно, если бы вы покончили с собой». Я, правда, не знаю, как не известной никому женщине удалось связаться с президентом, хотя в те дни все было возможно. Не исключено, однако, что Свободе это просто пригрезилось. Как-то еще несколько человек говорили мне, что Свобода рассказывал похожую историю, но в другой интерпретации. Да и другие высказывания Свободы в ту ночь свидетельствовали — ход его мыслей был необычным. Он говорил, что главная цель его поездки в Москву — возвращение Дубчека, Черника и Сморковского и он убежден, что ему удастся этого добиться от Брежнева а советских маршалов. А дальше без всякого перехода он вдруг добавил: «А потом товарищ Дубчек подаст в отставку, и все уладится».

Прощаясь, Свобода заверил меня, что до смерти не забудет тех, кто был с ним рядом в это тяжелое время. Что бы ни произошло, он за это перед всеми ручается.

Я вернулся домой с ощущением, что весь день бредил. Я уже третьи сутки почти не спал и более двух пребывал в состоянии нервного перенапряжения. Я принял снотворное, но еще не успел уснуть, как зазвонил телефон. Это был Венек Шилган, которого на чрезвычайном съезде новый ЦК избрал членом Президиума и поручил исполнять обязанности первого секретаря до возвращения Дубчека. Он сообщил о решении нового ЦК избрать меня секретарем и сказал, что я должен приехать в Высоцаны на съезд. Мы договорились, что я приеду туда завтра, и решили, как меня туда доставят.

* * *

В пятницу утром 23 августа по пути в Высочаны я впервые при дневном свете увидел улицы и людей в оккупированной Праге. В советское посольство накануне мы ехали вначале по улицам, заполненным советскими солдатами, а затем через Бубенец — квартал особняков, где простой люд не живет, и все выглядело безмятежно. А вот теперь путь пролегал из центра города через главные рабочие районы Праги — Карлин и Либень. Танков и военных здесь была меньше, зато более выразительно и убедительно раскрывалась картина всенародного сопротивления интервентам.

Стены домов повсюду были исчерчены призывами и оклеены всевозможными плакатами. Люди читали газеты и листовки, которые, несмотря на контрмеры военных властей, печатали различные типографии в больших количествах. Это была манифестация единства жителей Праги, невооруженного, пассивного сопротивления чужеземным войскам. Флаги и герб Чехословакии украшали улицы, витрины, национальные символы можно было видеть и на отворотах костюмов. Там, где кто-то стал жертвой советских пуль, возникли небольшие импровизированные памятники, море цветов, знамена. Таблички с названиями улиц были сорваны, многие из них заклеены надписями типа «Улица Дубчека», а кое-где висели таблички, снятые с каких-то других улиц. Дорожные указатели на перекрестках либо разбиты, либо повернуты в противоположном направлении, некоторые надписи замазаны, а поверх писалось что-то вроде: «Москва — 2000 км». Стены домов кое-где были повреждены пулями, а витрины магазинов сплошь и рядом превращены в «выставки народного творчества», изобретательно агитировавшие против интервенции.

Лозунги чаще всего провозглашали государственную и национальную независимость, нередко в сочетании с призывами к защите демократического социализма. Встречались ленинские цитаты, надписи: «Ленин, проснись, Брежнев сошел с ума!» Имена Дубчека и Свободы сияли огромными буквами на стенах и заборах. Непременным атрибутом убранства улиц были также лозунги с выражением доверия Дубчеку, Чернику, Свободе и Смирновскому. Мелькали и другие, типа «Убирайтесь домой!», или надписи, пародировавшие многолетнюю антиамериканскую пропаганду, которая присутствие американских войск в Западной Европе и других странах выдавала за империалистическую окку-

пацию. Так, распространенный пропагандистский лозунг «Ami — go home» был подправлен на «Иваны — go home». Можно было встретить и такое: «США во Вьетнаме, СССР — здесь» и т. п. Первые две буквы «S» в слове «СССР» (SSSR) изображали в виде молний — символа гитлеровских эсэсовцев. Серп и молот и свастику рисовали, ставя между ними знак равенства. Встречалось много анекдотов, иронических афоризмов, карикатур, высмеивающих оккупантов как простаков, которыми манипулируют. Что-то писалось непосредственно по-русски, что-то кириллицей по-чешски.

Призывы, группы людей, то там, то здесь окружавших кольцом советских танкистов, свидетельствовали о стремлении пражан повлиять на солдат с помощью аргументов. Когда в марте 1939 года Прагу заняли нацистские войска, ничего подобного не происходило. Очевидно, народ внутренне чувствовал то же, что и я, представитель власть имущих, — надежду, что произошло все же какое-то недоразумение, что все это просто не могло быть правдой.

Новый Президиум ЦК партии, избранный на чрезвычайном съезде, расположился среди огромного комплекса заводских корпусов предприятия ЧКД. Подступы туда охраняли вооруженные рабочие из отрядов Народной милиции. Документы XIV съезда КПЧ, шаги, предпринятые избранным на нем руководством, широко известны из зарубежных публикаций. Поэтому я поделюсь лишь некоторыми своими впечатлениями о работе съезда.

Мне представляется, что XIV съезд КПЧ, состоявшийся 22 августа 1968 года, сыграл чрезвычайно положительную роль в дальнейшем развитии событий. Благодаря созыву этого съезда, КПЧ как политическая партия сохранила определяющее влияние на сознание большинства населения. Съезд занял единственно верную позицию в сложившейся ситуации. В развитие заявления дубчековского руководства от 21 августа с осуждением агрессии он сформулировал ряд конкретных требований. Среди них — вывод иностранных войск, возвращение всех руководителей страны к своим конституционным обязанностям, соблюдение норм международного права, в том числе положений Варшавского Договора. При этом съезд КПЧ, вероятно, с учетом опыта венгерских событий 1956 года не поддержал идеи о выходе ЧССР из

Варшавского Договора и провозглашении нейтралитета.

В то же время он обратился за помощью к международному коммунистическому движению и однозначно лишил каких-либо полномочий промосковскую консервативную группу, не оставив за ее представителями ни одной должности во вновь избранных органах. Благодаря тому что Национальное собрание и правительство открыто заявили о своем признании решений XIV съезда КПЧ, складывалось всеобщее впечатление, что КПЧ как политическая сила продолжает действовать, причем в духе прежней линии Пражской весны. Съезду на несколько дней удалось создать видимость однозначной политической победы реформаторских сил в ситуации, когда на деле они потерпели полное поражение.

Все это было в высшей степени важно не только во внутриполитическом плане, но и сказалось на дальнейших действиях Москвы. Съезд неожиданно поставил московское политбюро в весьма сложное положение. Хотя политическое обоснование военной интервенции в целом было крайне зыбким, изрядно замешанным на демагогии, все же прослеживалось стремление узаконить военную акцию. Исходя из того, что в первые дни после вторжения писала советская печать и что происходило в руководстве КПЧ 20-22 августа, а также на основании документов, к которым я позднее получил доступ, можно предположить, как приблизительно выглядел политический план интервенции.

Группа в руководстве КПЧ, первые роли в которой играли Биляк, Кольдер, Индра и Якеш и куда входили также Швестка, Пиллер, Ленарт и Капек (они рассчитывали еще и на поддержку Риги, Барбирека и, возможно, Воленика), пообещала Кремлю обеспечить своими действиями на внутриполитической сцене видимость законности интервенции. Последнее подготовительное совещание этой группы состоялось утром 20 августа в кабинете Алоиса Индры в здании ЦК КПЧ. На заседании политбюро, начавшемся в 14 часов, первым пунктом должно было идти обсуждение предложений Индры и Кольдера по анализу положения в стране, сделанному отделом информации ЦК (его возглавлял И.Кашпар) и представленному еще неделю назад. Содержание этого материала отличалось эклектичностью, там был набор и объективных, и тенденциозно искаженных данных об экономическом и политическом положении в Чехословакии. Разработанные

на основе этой информации Индрой и Кольдером проекты документов представляли ситуацию в угоду Москве односторонне, таким образом, будто бы перед КПЧ остро встала угроза наступления «контрреволюционных сил».

Связанная с Москвой группа рассчитывала, что большинство членов Президиума ЦК поддержит предложения Индры и Кольдера. Решающими должны были стать голоса Пиллера, Барбирека и Ригго. Правда, ни Барбирек, ни Пиллер впоследствии не голосовали в поддержку советской интервенции. Но тогда по плану промосковской группы голосовать нужно было не за это. Так что, если бы предложения Индры и Кольдера были вынесены на голосование, то, вероятнее всего, Барбирек и Пиллер высказались бы «за». В результате антидубчевская группа оказалась бы в большинстве, в соотношении шесть к пяти. Из кандидатов в члены Президиума к ней наверняка примкнули бы Ленарт и Капек, тогда как к Дубчеку — только Шимон. Из остальных членов партийного руководства, не входивших в политбюро, к промосковской группе принадлежали Якеш и Индра и, вероятно, Воленик, а к группе Дубчека — Цисарж, Садовский, Славик и я. Формально трое против четырех, но на деле позиции в аппарате той тройки были сильнее нашей четверки. Они контролировали отделы ЦК, ведавшие внутрипартийными делами, а также одну из важнейших областей страны — Остравскую. Цисарж и Славик работали на идеологических участках, Садовский ведал сельским хозяйством и управлением делами ЦК. Я же, хотя и отвечал по партийной линии за важнейшие участки в структуре власти, был, по существу, не в счет, поскольку в случае переворота все решает соотношение сил различных клик в этой сфере, а не секретарь ЦК, который занимается лишь общими вопросами,

Расстановка сил в партийном руководстве, таким образом, в случае конфликта вокруг предложений Кольдера и Индры могла бы сложиться одиннадцать к десяти. Еще один человек из руководства — член секретариата ЦК КПЧ и секретарь Национального фронта Эвжен Эрбан в тот день, насколько мне помнится, отсутствовал, и, вероятно, не случайно. Я не исключаю, что он мог поддержать и консерваторов, хотя скорее всего постарался бы остаться нейтральным или встать на сторону Дубчека. Очевидно, что, если бы удалось провести предложения

Кольдера и Индры, промосковская группа немедленно потребовала бы перейти к обсуждению письма Брежнева. В ходе него они наверняка попытались бы сформулировать ответ, это и была бы своего рода просьба к Москве оказать «братскую помощь». Возможно, однако, что консервативное большинство, развязав дискуссию вокруг письма, попыталось бы, напротив, расколоть руководство, а затем объединиться с просоветскими деятелями в государственных органах — с Павловским, Шалговичем, Гофманом и другими (в первую очередь в армии) и направить такое письмо Кремлю самостоятельно. После прихода советских войск эта группа провозгласила бы себя «революционным рабоче-крестьянским правительством» и пустила бы в ход свой «революционный трибунал».

Совершенно очевидно, что чешский текст письма, который был опубликован в советской «Правде» 21 августа без подписей как письмо «группы деятелей ЦК КПЧ, парламента и правительства», действительно в эти дни был написан в Праге. Копия этого письма позднее была найдена в кабинете директора Чехословацкого телеграфного агентства Сулека, который тоже был советским ставленником. На этой копии, однако, подписей нет. По моему мнению, его вообще никто не подписывал, именно поэтому имена авторов и не были опубликованы. Но даже если бы подписи были, их все равно нельзя было обнародовать, поскольку тогда обнаружилось бы, что «нормализаторы» типа Гусака, Штроугала, Кемпного и Цолотки в те дни должного просоветского рвения не проявили. Напротив, выяснилось бы, что наибольшие заслуги перед Москвой имели крайние сталинисты-новотновцы, что поставило бы гусаковское руководство в двусмысленное положение. Я полагаю, что письмо, скорее всего, не было подписано, поскольку провалился сам план создания нового «революционного рабоче-крестьянского правительства», которое и должно было скрепить своими подписями заранее заготовленный текст.

20 августа после обеда заседание Президиума началось весьма острой дискуссией о порядке обсуждения вопросов повестки дня. Наконец, решили начать с обсуждения проектов документов съезда и только после этого заслушать предложения Кольдера и Индры. Настаивал на этом очень энергично сам Дубчек. Я не думаю, что он догадывался о возможной связи между этими предложениями и интервенцией, которая началась девять

часов спустя. Он, вероятно, просто хотел оттянуть обсуждение письма Брежнева, так как понимал, что оно еще больше обострит конфликт в руководстве, а потому старался, чтобы до этого была утверждена концепция съездовских материалов. Дубчек чувствовал, что при обсуждении предложений Кольдера и Индры письма Брежнева не обойти.

Как это ни поразительно, первая атака промосковской группы была сорвана самой обыкновенной процедурной бюрократической рутинной. Объяснить это можно двумя обстоятельствами. Во-первых, готовился бюрократический по своему характеру путч, для которого непреодолимыми являются именно бюрократические препятствия. А во-вторых, промосковская группа была охвачена паническим страхом. Изменение очередности обсуждения вопросов повестки дня обязывало ее предпринять активные действия, пойти на конфликт, но добиться своего, несмотря на утвержденный регламент. Это могло бы получиться, но при условии, что ее лидеры отважатся действовать незамедлительно, не договариваясь друг с другом. Минуту-две спустя время было упущено, уже обсуждались материалы, представленные по другим вопросам. У организаторов путча не хватило решимости и отваги.

Нечто подобное наблюдалось и до этого, да и потом. Достаточно вспомнить, как они вели себя на переговорах в советском посольстве 22 августа. Показательно и спонтанное, вызванное животным страхом восклицание Биляка ночью 20 августа: «Ну, линчуйте же меня!» Один из ближайших соратников Новотного, в свое время заведующий его секретариатом, Ян Свобода, много лет спустя рассказывал мне, как группа сталинистов организовала в городке Печи-у-Нимбурка тайную встречу по подготовке интервенции. Туда должны были явиться и известные нам представители промосковской руководящей группы. Но они, как рассказывал Ян Свобода, так и не смогли перебороть свою трусость. В конце концов, пришел только Биляк. У него от страха тряслись поджилки и отнялась речь.

Таким образом, первый вариант плана по политическому обеспечению интервенции в Чехословакии провалился. Но режиссер продолжал, несмотря на это, действовать согласно своему первоначальному сценарию. Однако к вечеру 22 августа вторая попытка реализовать этот план на встрече в советском

посольстве тоже провалилась. Одной из главных причин окончательного провала явился XIV чрезвычайный съезд КПЧ в Высочанах. Он заставил Москву внести коррективы в собственный сценарий и дать согласие на переговоры. Для этой цели, по представлениям Кремля, подходил Людвик Свобода, но, кроме того, пришлось пойти и на участие в переговорах тех, кто по первоначальному замыслу должен был предстать перед «революционным трибуналом», — Дубчека, Сморковского, Черника и других.

Их положение изменилось в пятницу 23 августа во второй половине дня, когда Дубчеку, интернированному вместе с другими и находящемуся в бараках КГБ в карпатских горах, позвонил Брежнев, и Дубчека с Черником перевезли в Москву. Утром 25 августа к ним и к делегации, возглавлявшейся Свободой, присоединились остальные арестованные, кроме Кригеля, а также остальные члены партийного руководства, доставленные из Праги. Среди них был и я. Москва, не найдя другого партнера, в конце концов вынуждена была вести переговоры с дубчековским руководством. Промосковских деятелей не хватило даже на организацию переворота, а избранное XIV съездом КПЧ руководство было для Москвы совершенно неприемлемым.

Несмотря на значительное воздействие на весь дальнейший ход событий, XIV «высочанский» съезд КПЧ и избранные им органы с самого начала были, однако, в определенной степени уязвимы. При этом я отнюдь не считаю обоснованными те аргументы на сей счет, к которым прибегали «нормализаторы», заявляя, что съезд был созван в нарушение устава КПЧ и потому он, как и избранные на нем органы, являлся нелегальным. Это абсолютная бессмыслица. Любая организация, которая своим высшим органом считает съезд, должна при этом признать, что если законно избранные на этот съезд делегаты соберутся в достаточном для кворума количестве, то они и будут этим высшим органом. Они не связаны ни датой открытия съезда, ни даже некоторыми положениями устава организации, будучи, как ее высший орган, наделенными правом отменять и вносить изменения в устав и любые другие принятые ранее постановления, в том числе и о дате созыва съезда. По уставу КПЧ власть ЦК, его Президиуму и аппарату делегировалась от имени высшего органа — партийного съезда. Поэтому утверждать, что решение двух

третей делегатов о признании за собой полномочий съезда — это узурпация власти и нарушение устава партии, значит нести полную околесицу. Политическая уязвимость избранных XIV съездом органов заключалась в другом.

Избранное чрезвычайным съездом партийное руководство само считало себя временным органом. Так воспринимала его и общественность. Иначе и быть не могло. Съезд и избранные им органы должны были прежде всего подтвердить сохранение постов за арестованными и вывезенными за границу членами прежнего партийного руководства — Дубчеком, Черником, Сморковским, Кригелем, Шпачеком и Шимоном. Все они были переизбраны в члены Президиума ЦК КПЧ. Но физически они, однако, отсутствовали. Партийные органы, организации и общественность понимали, что только после возвращения этих членов руководства можно будет реально решать принципиальные вопросы. Между тем сохранялось безвременье, атмосфера ожидания. Те, кто исполнял обязанности членов партийного руководства, в том числе и Венек Шилган, замещавший Дубчека, были, как правило, мало известны и в обществе, и даже в партии. Они сами понимали, что действуют только временно. XIV съезд КПЧ избрал новое руководство лишь формально, по существу же на нем была выражена поддержка той части дубчековского руководства, которую с помощью военной интервенции намеревались лишить власти. Избранный в Высочанах ЦК КПЧ вверил судьбу реформы, судьбу партии и свою собственную судьбу в руки Дубчека и его сподвижников. Но их не было не только на съезде, но даже на территории Чехословакии. Когда московское политбюро пошло на переговоры, оно повело их с людьми, которые вплоть до 25 августа не имели достаточного представления о том, что происходит на их родине и какова должна быть их позиция на переговорах.

Избранный на XIV съезде Президиум состоял из 28 членов. 18 из них были и прежде членами ЦК КПЧ, ЦК КП Словакии или занимали высокие правительственные посты (заместители председателя правительства Гусак и Цолотка). 15 членов из общего числа (то есть больше половины) в Праге физически отсутствовали, причем как раз люди с наибольшим политическим авторитетом. Кроме шести интернированных отсутствовали Ота Шик (он был в Югославии), Г.Гусак (он был в Москве в составе

правительственной делегации), Ч.Цисарж (вплоть до 26 августа он скрывался где-то за городом) и к тому же все представители Словакии (они находились в Братиславе) — Цолотка, Зрак, Тяжкий, Павленда и др. Члены политбюро, которые с 23 по 26 августа реально могли исполнять свои обязанности, были в большинстве своем партийными работниками областного, районного и первичного звена (Л.Грдинова, И.Литера, В.Кабрна, З.Моц и др.) или вообще к партийному аппарату никакого отношения не имели и не пользовались с его стороны соответствующей поддержкой (В.Шилган — профессор Высшей экономической школы в Праге, З.Гейзлар — с июня 1968 года директор радио, партийный функционер высокого ранга в прошлые времена, затем репрессированный в 1951 г.). Главной опорой политбюро, избранного на чрезвычайном съезде, стал аппарат Пражского горкома КПЧ и часть аппарата ЦК КПЧ, которой руководил при этом Мартин Вацулик (кандидат в члены Президиума при Новотном), в новый состав высшего руководства не вошедший. Я также не был членом Президиума ЦК, но 23-24 августа я действовал в качестве секретаря ЦК в тех случаях, когда кто-то предпочитал иметь дело с секретарем, находившимся на этой должности и до чрезвычайного съезда. Так, я обсуждал с профсоюзами вопросы организации забастовок, с командованием Народной милиции их проблемы, вел переговоры с представителями Национального фронта и т. д.

В те дни, как мне кажется, ощущение, что все это временно, охватило и работников партийного аппарата, на плечи которых легло множество организационных задач, и людей, помогавших составлять прокламации, заявления, и журналистов, обеспечивавших освещение работы съезда по радио или в прессе. Чем дольше продолжалось это состояние, чем дольше Дубчек и Свобода не возвращались из Москвы, тем большая царила в Высочанах неуверенность, нервозность, опасения за судьбы государства и свою личную судьбу. XIV съезд КПЧ не был и не мог быть ничем иным, кроме как временным решением.

В это переходное время среди функционеров и работников партийного аппарата сформировалась многочисленная группа (около 40-50 % аппарата), которая активно, с полным сознанием того, чем она рискует, встала под знамена XIV съезда КПЧ, на практике реализовывала директивы избранных съездом органов.

Вместе с большим числом других, также поддержавших линию съезда, но все же осторожничавших функционеров они составляли подавляющее большинство — около 90 % партийного актива. Эти люди при всех нюансах различий между ними встали за Дубчеком и его соратниками вопреки интересам Москвы и не пошли на сотрудничество с ней.

На противоположную сторону баррикады перешла лишь малая часть партийного аппарата. Но даже они до возвращения партийных руководителей из Москвы (27 августа) вели себя пассивно, не решаясь открыто высказывать свои взгляды. Лишь единицы — не более 20 человек из около 500 работников партийного аппарата — действовали в занятом советскими солдатами здании ЦК КПЧ, где «партийное руководство» представлял Драгомир Кольдер. Ощущения, которые в те дни испытывал Кольдер, он выразил очень точно в тот момент, когда звонил ко мне домой, чтобы сообщить об отлете в Москву вместе с другими членами партийного руководства. Услышав в ответ, что меня нет и неизвестно, где я, Кольдер воскликнул: «Как это неизвестно? Он в Высочанах, где ему еще быть? Там почти все, и чего они боятся? Я вот здесь один — это мне бы надо бояться!»

В те дни советские приспешники из аппарата ЦК находились в Дрездене и в Москве. Они лихорадочно стряпали все, что только могло пригодиться для пропаганды оккупантов. Делом их рук были клевета и ложь, сталинские пропагандистские выверты. Все это вещала с территории ГДР радиостанция «Влтава», печатала издаваемая советской комендатурой газета «Зправы» («Известия»), советская пресса, периодика других четырех участвовавших в интервенции государств. Сами же коллаборационисты в открытый эфир не выходили, хотя радио «Влтава», как в воздухе, нуждалась в ком-то, кто бы просто чисто говорил по-чешски. Дикторы этой радиостанции говорили с акцентом, вызывавшим в чешском народе омерзительные ассоциации с мартом 1939 года. Один из чехов, правда, на радио «Влтава» все же выступил. Это был Павел Ауэрсперг. Я говорил с ним 31 августа на пленуме ЦК КПЧ уже после того, как мы вернулись из Москвы. Ауэрсперг без обиняков заявил мне в свое оправдание: «Мне обещали изменить тембр голоса. Но ничего, мерзавцы, в итоге не стали делать. Мой пропитой голос не узнать просто невозможно. Что тут теперь поделаешь!»

Некоторые представители промосковской группы на несколько этих смутных дней притаились в стороне и выжидали. Так, например, повел себя Антонин Капек. А из реформаторов прятался Честмир Цисарж. В ночь на 21 августа, когда Дубчек объявил заседание политбюро закрытым, он единственный просто поехал домой. Рано утром за ним пришли люди Шалговича из органов и арестовали («взяли под охрану», как они тогда говорили). Через несколько часов, однако, Цисаржа выпустили, возможно, потому, что сценарий с «революционным трибуналом» провалился уже 21 августа утром. Цисарж же до предпоследнего дня «высочанского безвременья» скрывался в Керске-у-Подебрад на даче у своего приятеля О.Пруши — декана юридического факультета Пражского университета. Он послал оттуда письмо, которое 24 августа было обнародовано по радио и в газетах. Он описывал, как был задержан и как ему удалось «выскользнуть из их рук», что сейчас он находится у «настоящих коммунистов, чешских патриотов» и передает всем «боевой привет».

Решающим фактором, предопределившим успех XIV съезда КПЧ, нестигаемость позиции Национального собрания и правительства Чехословакии и провал планов по созданию коллаборационистского правительства, стало, несомненно, то, что весь народ отверг советскую интервенцию. Пражская весна, которая началась с попытки институциональной политической реформы «сверху», переросла в общенациональное демократическое, гуманистическое движение, для народа она стала чем-то более возвышенным, чем просто политика, стала воплощением нравственности и человечности.

Всенародное противостояние интервенции ежедневно проявлялось в тысячах конкретных поступков, из которых складывалась сплошная цепь актов пассивного сопротивления, ставившая военную машину агрессоров в состояние бессилия и беспомощности. Перед московским политбюро встал вопрос кардинального порядка — что делать дальше? У него под полным контролем была вся страна, но при этом ничего не получалось. Люди делали только то, что их заставляли силой. А поскольку военные власти не шли на массовые репрессии против населения, на введение своего прямого правления в стране, они мало чего могли добиться. По-прежнему работали радиостан-

ции, выходили газеты и листовки — и все это было направлено против оккупантов. Продолжали работать органы государственного управления, от национальных комитетов до правительства, и они не только не подчинялись оккупационным властям, но даже не желали вступать с ними в контакт, тем более иметь какие-то дела. Люди не только мыслили независимо, но и в повседневной жизни вели себя так, словно правительство и не было свергнуто, словно все это — лишь короткий эпизод, который кончится, и все снова вернется на круги своя, как до интервенции.

Все это, правда, малозначительно в сравнении с тем, что страна была оккупирована иностранными войсками. Было понятно также, что постоянно пассивное сопротивление продолжаться не могло. Но пока оно держалось, оккупационные войска были беспомощны, поскольку чего-то можно было добиться лишь путем подавления гражданского населения. А этого Москва не могла себе позволить по международным соображениям.

В результате небольшой народ, который стал жертвой многократно превосходящей силы, в политическом плане на какое-то время оказался победителем. Чехословацкий народ осознавал это и еще больше укреплялся в своей решимости сопротивляться. Очень метко отражала происходившее карикатура, появившаяся где-то в печати, изображавшая слона, который силится, но не может растоптать иголку. С одной стороны, слон, ко всеобщему удовлетворению, проявлял неуклюжесть, а с другой, слон — не иголка: необъятен и у всех на виду, значит, как-то все должно было разрешиться. Все понимали, что пассивное сопротивление хотя и эффективное оружие, но оно не панацея, может продолжаться лишь некоторое время, пока не найдется кардинальное решение. Мандат для поисков выхода из тупика народ, так же как и чрезвычайный съезд КПЧ в Высочанах, вручил Дубчеку, Свободе, Чернику и Смирковскому, находившимся в Москве.

И весь народ, и избранное на «высочанском» съезде партийное руководство ощущали то, что создавшееся положение временное, это ощущение пронизывало героическую атмосферу тех дней с 21 по 26 августа 1968 года. Понимание этого также присутствовало у военных властей и их московского руководства. С сознанием большой важности роли, которую мне суждено было сыграть в финале этой трагедии, я собирался вечером 24 августа вылететь в Москву.

* * *

Я вылетел в Москву по инициативе Александра Дубчека, пожелавшего, чтобы я принял участие в переговорах в Кремле. Мою поездку одобрил также новый Президиум ЦК, избранный на «высочанском» съезде. Однако летел я вместе с представителями старого партийного руководства — со Швесткой, Ленартом, Якешем, Барбиреком и Риго. Кольдер остался в Праге, в занятом войсками здании ЦК. Антонин Капек уехал из Праги и где-то скрывался. Члены секретариата Цисарж, Садовский, Славик, Эрбан и Воленик в Москву приглашены не были, а остальные деятели Дубчековского руководства уже находились в Кремле. Часть прибыла в Москву вместе с Людвигом Свободой, Другую составляли вчерашние пленники, насильно вывезенные на советских военных самолетах и содержавшиеся затем под охраной КГБ на каких-то засекреченных объектах в Карпатах.

Из Праги мы летели на советском военном самолете, где кроме нас находились лишь несколько офицеров, а также несколько ящиков с кинолентами, снятыми советскими операторами в Праге в первые дни после оккупации. Мы сидели молча, после того, как стало известно, кто как себя вел в эти последние дни, говорить было просто не о чем. Около девяти часов утра по московскому времени в воскресенье 25 августа 1968 года наш самолет приземлился на Внуковском аэродроме. Помпезные правительственные «чайки» отвезли нас на Ленинские горы, в госособняки, расположенные всего лишь в нескольких сотнях метров от здания Московского университета.

Так после перерыва в тринадцать лет я снова увидел панораму Москвы, которую ежедневно наблюдал, будучи студентом. Хорошо знакомая картина, ассоциировавшаяся в воспоминаниях с добрыми для меня студенческими временами, стала явью. Но в то же время лишь несколько часов полета отделяло меня от оккупированной Праги. Передо мной в лучах утреннего солнца лежала Москва, такая же, как и прежде, но этот вид застилала воспоминания о пражских улицах со зловеще вытянувшимися в отблесках зари жерлами танковых орудий и мелькающими силуэтами солдат с автоматами. На этот раз я был не в

Москве своей молодости, а в столице державы-оккупанта. Вместо сокурсников вокруг вертелись, держась почтительно, но в то же время настороженно, сотрудники КГБ в штатском и в форме. В абсурдности этих минут олицетворялся абсурд всей моей жизни, и меня охватило страстное желание вообще не существовать. Но я жил и, более того, мне предстояло через некоторое время с трезвым рассудком вести разговор о том, что делать дальше, думать, что же станет с моей страной, какой новый абсурд последует за цепью прежних.

В Кремле нас отвели в зал, где уже находились сопровождавшие Свободу, а также Черник (уже вновь в качестве председателя правительства), Смрковский, Шпачек и Шимон. Не было, однако, Дубчека, Кригеля и Индры. Я привез с собой из Праги портфель, набитый всевозможными материалами — газетами, листовками, постановлениями избранного в Высочанах руководства партии, а для вчерашних арестантов у меня были и личные письма от товарищей и родных.

Были еще письма для Дубчека и Свободы от высочанского Президиума ЦК. Прежде других я хотел переговорить с Дубчеком. Людвик Свобода сказал, что Дубчек болен и не может принять участие в переговорах, но он меня к нему проведет. Тот находился в одном из помещений непосредственно в Кремле, предоставленных Свободе и его сопровождению. Свобода провел меня через две смежные комнаты и открыл двери, за которыми я увидел Дубчека.

Он лежал в постели под одеялом, несколько откинутым в сторону из-за жары. Дубчек, раздетый до пояса, был вялый, видимо, под действием успокоительного. С небольшой заклеенной пластырем ранкой на лбу он производил впечатление отрешенного, одурманенного наркотиками человека. Но когда я вошел, Дубчек как бы пришел в себя, приоткрыл глаза и улыбнулся. В это мгновение я мысленно представил себе святого Себастьяна, улыбающегося под пытками. У Дубчека было такое же мученическое выражение лица, а лучеобразные складки на подушке вокруг покоившейся на ней головы как бы заменяли недостающий нимб. Я подошел и погладил его по лицу. Дубчек говорил прерывисто и бессвязно. Он сказал, что не в состоянии сейчас же прочитать письма, и попросил положить их ему под подушку. Я так и сделал и попытался передать кое-что на словах. В его ситуации,

однако, любой деловой разговор был просто невозможен. Я посидел несколько минут на его постели и попрощался.

Дубчек переживал состояние тяжелейшего нервного срыва. Лоб он ушиб об умывальник, поскользнувшись в ванной. Помощь ему оказывал личный врач Свободы. После обеда самочувствие Дубчека несколько улучшилось, с ним поговорили, кажется, Черник и Смирковский. Мне же удалось это сделать лишь на следующий день, незадолго до начала официальной части переговоров — подписания пресловутого московского протокола. В подготовке его текста Дубчек участия не принимал.

В переговорах не участвовал и Франтишек Кригель, которого вообще в Кремле не было. На следующий день стало известно, что советское руководство старалось не допустить Кригеля к переговорам, более того, оно хотело воспрепятствовать возвращению Кригеля в Прагу. Но об этом речь впереди.

Отсутствовал тогда также Алоис Индра. Он тоже был нездоров и находился где-то вне Кремля, наверное, в больнице. Говорили, что у него был приступ синдрома Меньера, подходящей для той ситуации болезни, один из симптомов которой — потеря чувства равновесия. У Индры и без того были все основания чувствовать себя неуверенно, он не мог понять, наверху он или внизу. Ясно было лишь одно: с «рабоче-крестьянским правительством» покончено.

Не было на обсуждениях текста московского протокола еще двоих членов правительства — министров Дзура и Кучеры. В переговорах принимали участие только члены руководства ЦК, а также Людвик Свобода и Густав Гусак. Как вы убедитесь позднее, то, что происходило в Кремле, вообще трудно назвать переговорами. Вплоть до подписания протокола вечером 26 августа у Президиума ЦК КПЧ с советской стороны не было равноценного партнера. Мы имели дело лишь с отдельными представителями советского руководства, предлагавшими различные ультимативные проекты, но никак не с полномочным советским органом как таковым. Правда, и у чехословацкой стороны, за исключением общей договоренности на совещании ночью 25 августа, единой коллективной позиции не было. Мотивы поведения советской стороны были достаточно ясны. Ее целью было не обсуждение, а стремление заставить нас безоговорочно принять продиктованные условия капитуляции. По опыту Чирны-над-Тисой со-

ветские политики знали, что попытки прийти к истинному взаимопониманию и согласию ничего не дают, какими бы долгими ни были переговоры. В другом лагере тоже все было ясно: чехословацкое руководство разделилось на тех, кто хотел формировать «рабоче-крестьянское правительство», и тех, кого это правительство должно было отдать под суд. Заранее было ясно, что группа, которая готова была пойти на создание «рабоче-крестьянского правительства», тем более будет согласна со всем, что московское политбюро внесет в текст итогового протокола. Поэтому в переговорах, как таковых, была заинтересована лишь та часть дубчековского руководства, куда входили Черник, Смрковский, Шпачек, Шимон и я, ну, и кроме этого, конечно, Свобода и Гусак, которые в то время однозначно не примкнули ни к одной из групп.

Когда утром 25 августа я пришел в Кремль, оказалось, что многое уже было согласовано в предыдущие два дня. Я не знаю подробностей того, как проходили переговоры до моего приезда, кто принимал в них участие и кто какую позицию занимал. И когда я говорю о переговорах, то имею в виду встречи, состоявшиеся 25 и 26 августа. Были уже решены три важных вопроса. Первый из них был решен в пользу группы Дубчека: была отвергнута идея создания новых руководящих органов, помимо тех, что действовали до 21 августа 1968 года. Иными словами, по этому важному пункту советская сторона уступила. Однако другие два вопроса были решены в пользу Москвы: XIV «высочанский» съезд КПЧ был признан недействительным, а также было условлено, что чехословацкий вопрос будет снят с повестки дня Совета Безопасности ООН. Я думаю, что Смрковский, Шпачек и Шимон подключились к переговорам уже после того, как по этим двум вопросам было принято решение. В их обсуждении участвовали Людвик Свобода с сопровождением, а также Дубчек и Черник.

Вернувшись из комнаты Дубчека, я проинформировал всех присутствовавших о положении в Чехословакии, точнее говоря, изложил свое видение ситуации. Оно, если говорить коротко, заключалось в следующем: вследствие общенационального пассивного сопротивления оккупационные власти оказались в тупике, они не в состоянии овладеть ходом событий, если, разумеется, не применят силу — других средств просто нет. После «вы-

сочанского» съезда КПЧ пользуется большим авторитетом, парламент и правительство признают решения съезда и непреклонно отвергают оккупацию. Все это в целом стабилизирующе воздействует на систему власти, которую оккупанты пытались, но не смогли подорвать. В то же время положение в стране неустойчиво, и, что очень опасно, обстановка чревата конфликтами. Достаточно мелкой провокации, и у оккупационных властей могут сдать нервы, тогда ситуация может выйти из-под контроля с обеих сторон. Все ждут, что окончательное решение будет принято здесь, на переговорах в Кремле. Дубчек, Свобода, Черник и Смирковский пользуются максимальным доверием. И если они будут занимать единые позиции, то достигнутые в Москве договоренности большинство населения примет. Однако неотъемлемой частью компромисса, на который можно в известных пределах пойти, должна быть гарантия вывода иностранных войск из Чехословакии, по возможности, с указанием срока. Кроме того, должно быть обеспечено, что во внутренней политике и в дальнейшем сохранится приверженность линии «Программы действий КПЧ». Далее я подробно рассказал, какую роль в эти дни сыграли радио и печать, о тех условиях, в которых им приходится работать. Я раздал присутствовавшим наглядно иллюстрировавшие положение в стране газеты и листовки, которыми был набит мой портфель.

Мне стали задавать самые разнообразные вопросы, завязалось обсуждение отдельных аспектов обстановки. Если я не ошибаюсь, больше всех из прибывших со мной в Москву говорили Швестка и Ленарт. Однако они подчеркивали не размах всенародного сопротивления, а, скорее, опасность, которая может угрожать стране, если принятие решения затянется. Они говорили о том, что государственные органы должны по практическим вопросам сотрудничать с оккупационными властями, иначе дело может дойти до нежелательных конфликтов с населением и т. д., и т. п. В общем же они не предлагали иного политического решения и не возражали против того, чтобы вывод войск и подтверждение курса «Программы действий» стали обязательным условием для продолжения переговоров. О необходимости «братской помощи в борьбе с контрреволюцией» и о том, что сама линия Пражской весны носит «правооппортунистический характер», не было тогда ими сказано ни слова.

Позднее, когда мы остались одни с Черником, Смрковским, Шпачеком и Шимоном, я вкратце рассказал, как Биляк, Индра, Якеш и другие пытались сформировать правительство в советском посольстве в Праге и чем это кончилось. Они же поведали мне, что происходило с ними после того, как мы виделись в последний раз в кабинете Дубчека 21 августа. Договорились также, что на предстоящих переговорах мы пятеро будем, естественно, действовать согласованно, заодно с Дубчеком, как только он снова сможет встать с постели.

Затем Черник предложил подготовить свой проект итогового документа и как можно раньше представить его советскому политбюро. У него уже была написана основа. После коллективного обсуждения мы с Богумилом Шимоном взялись за составление окончательного варианта текста. После обеда я надиктовал в кремлевском машбюро его русский перевод машинистке.

По содержанию наш проект представлял собой несколько видоизмененный вариант той позиции, которую Президиум ЦК КПЧ выработал в июле 1968 года в ответ на варшавское письмо пяти стран, впоследствии вторгшихся в Чехословакию. Естественно, некоторые аргументы и общую тональность текста мы подкорректировали сообразно новой ситуации. Хотя мы и отмечали наличие негативных внутривнутриполитических тенденций, признавали, в частности, что давление «низов» было настолько мощным, что вопреки замыслу выходило из-под контроля, однако по-прежнему отвергали попытку охарактеризовать обстановку на родине как «контрреволюцию». Мы подчеркивали, что определяющее течение общенационального движения было конструктивным, социалистическим и демократическим. Мы допускали, что положение в Чехословакии могло вызывать озабоченность пяти соседних стран и что руководство КПЧ этого недооценило. Саму же интервенцию мы, однако, расценили как трагическую ошибку, как шаг, который не может ничего решить, и отмечали, что первое, что нужно сделать, — это вывести из Чехословакии войска пяти государств. На этой основе затем можно, говоря коротко, направить чехословацкие реформы в такое русло, которое бы согласовывалось с общими интересами всех социалистических государств. В качестве возможной отправной точки мы приводили договоренности, достигнутые на братиславском совещании. Что касается внутренней политики, то безоговорочно под-

черкивалось: «Программе действий» и на перспективу не может быть альтернативы как главному документу КПЧ, определяющему ее линию. Этот проект, если мне не изменяет память, советскому политбюро передал Олрджих Черник.

Те были вне себя. Документ нам вернули как неприемлемый ультиматум. Нашей делегации следовало-де понять, что не в ее положении выдвигать ультимативные требования. И видимо, для большей наглядности советская сторона представила свой проект, который действительно носил откровенно ультимативный характер. На основе этого проекта и появился подписанный позже так называемый «московский протокол». Вначале советский ультиматум был всеми нами отвергнут. Его не поддерживали даже члены промосковской группы. О нашем категорическом несогласии сообщил советскому политбюро Сморковский.

Я уже точно не помню, из-за чего и сколько раз различные варианты текста возвращались и вновь перерабатывались. Каждый раз предложения по документу и замечания два или три члена нашей делегации передавали одному или двум представителям советской стороны. Те же либо были, либо не были уполномочены высказать по ним свою точку зрения. В зависимости от этого либо сразу, либо через некоторое время они возвращали наши варианты или замечания, в большинстве случаев отказываясь их принять. С чехословацкой стороны в этой процедуре участвовали Черник, Сморковский, Швестка, Ленарт, Шимон и я. Партнерами с советской стороны были Косыгин, Суслов, Пономарев. Нам с Шимоном приходилось иметь дело, как правило, с Пономаревым.

Пока продолжалась эта бумажная битва, остальные занимались кто чем мог. В течение дня с некоторыми членами нашей делегации встречались Брежнев и Косыгин. О том, что делали представители промосковской группы нашего руководства — Билляк, Якеш и другие, я не имел никакого представления, да это меня тогда перестало, собственно, и интересовать. Поскольку мне все время приходилось сидеть над формулированием предложений и замечаний, я почти не имел возможности находиться в зале, где проходило так называемое «коллективное обсуждение». Чаще всего там была лишь небольшая часть делегации. Разбившись на маленькие группки, присутствовавшие обсуждали самые разнообразные вопросы. К вечеру, когда советское по-

литбюро окончательно отвергло наши предложения, обсуждался уже только советский вариант. Первоначальный текст отличался от подписанного позднее главным образом по трем пунктам: в нем содержался тезис об обоснованности военной интервенции, ничего не говорилось о выводе из Чехословакии советских войск, наконец, политическая линия КПЧ не признавалась правильной. Напротив, он обязывал дезавуировать XIV съезд КПЧ и сместить некоторых деятелей (в частности, Кригеля, Цисаржа, Шика, министра внутренних дел Павела и министра иностранных дел Гаека), из чего следовало, что осуждению подвергается вся реформаторская политика КПЧ. Именно по этим трем пунктам и шли затяжные дискуссии.

Промосковская группа вела себя в основном пассивно. Такое поведение с ее точки зрения было разумно: эти люди знали, что слова ничего не решают. Поэтому никто из них открыто не поддержал первоначальный советский проект, но и не препятствовал стараниям другой части нашей делегации изменить его. Сами они при том альтернатив не предлагали, выжидая, чем закончится словесная дуэль. Зато активно старались уговорить нашу делегацию принять советские предложения Людвик Свобода и Густав Гусак. Свобода, хотя и проявлял таким образом определенную односторонность, исходил все же из наличия реальной опасности того, что каждый час отсрочки окончательного решения усиливает на родине угрозу конфликта между войсками и населением. А вот Гусак был просто проводником советских интересов. Чего стоила только его аргументация, что Высочанский съезд необходимо признать недействительным, ибо в нем не участвовали делегаты Словакии!

Людвик Свобода, судя по всему, определил свою позицию в ночь на 21 августа и уже от нее не отступал. Он не только не был политиком-реформатором, он не был, собственно говоря, политиком вообще. Он был солдатом, армейским офицером довоенной Чехословакии, по случайному стечению обстоятельств он стал командиром чехословацкой части, которая была сформирована во время второй мировой войны в СССР и сражалась на стороне советских войск. Вероятно, уже тогда, во время войны. Свобода впитал идею тесного союза Чехословакии с СССР со всеми вытекающими из этого последствиями. Будучи до 1948 года министром обороны, он формально оставался беспартий-

ным, а на деле был не только приверженцем КПЧ, но и сторонником безоговорочной просоветской ориентации, которая не предполагала чрезмерных забот о государственном суверенитете в отношениях с СССР. У него было черно-белое видение мира. Все воспринималось чисто по-военному: либо с советской армией, либо против нее. Он, наверное, даже больше был просоветски настроенным военным, чем коммунистом. Догмы коммунистической идеологии и тоталитарная практика были ему, похоже, временами чужды, но в необходимости однозначной ориентации Чехословакии на Советский Союз он был убежден.

В этих категориях Свобода и анализировал, вероятно, создавшееся в августе 1968 года положение. Это сближало его с образом мышления советских военных, для которых проблемы демократии существовали постольку, поскольку они затрагивали их планы стратегического контроля за географическим пространством, на котором расположена Чехословакия. Людвик Свобода не возражал против этого стратегического контроля, и это ключ к пониманию его политической позиции. Когда в марте 1968 года Свобода был избран президентом Чехословакии, он возложил венок на могилу Масарика, очевидно, из чувства внутренней симпатии к основателю чехословацкого государства. Став президентом, он, вероятно, предпочитал больше походить на своих довоенных предшественников, чем на Новотного. И если бы дело не дошло до военной интервенции, он и в дальнейшем выступал бы за развитие демократии в стране. Но как только он оказался перед дилеммой — порвать с ориентацией на Советский Союз или нет, он сделал по-солдатски однозначный выбор в пользу Москвы.

Когда ночью 22 августа Свобода сказал мне, что поедет в Москву с целью добиться возвращения Дубчека, и тут же добавил, что потом Дубчек подаст в отставку, — и все будет в порядке, я усмотрел в этом необъяснимое противоречие. Но после того как я понаблюдал за Свободой в Кремле, никакой загадки для меня не осталось. С точки зрения самого Свободы в его позиции, видимо, вообще не было никакого противоречия. Противоречивой она могла показаться лишь тому, для кого интересы демократической реформы в Чехословакии были выше интересов советских военных. А поскольку Свобода принимал или отвергал демократическую реформу в зависимости от того,

насколько она соответствовала военным концепциям советских маршалов, противоречие исчезало. Свобода был против решения проблем на манер монголо-татар, путем похищения и убийства государственных деятелей. Но он не возражал, чтобы неудобные Москве политики были отстранены от дел более цивилизованным образом, например, посредством отставки. Свобода не был сторонником интервенции со всеми вытекающими из нее последствиями, он хотел воспрепятствовать применению варварских методов и кровопролитию.

Во время переговоров в Кремле он как-то раз гневно бросил в лицо членам дубчековского руководства: «Вы опять все болтаете и болтаете! Вы уже доболтались до оккупации страны! Так хотя бы сейчас ведите себя подобающим образом и действуйте. Я видел за свою жизнь горы трупов и не допущу, чтобы из-за вашей болтовни погибли тысячи людей!»

Угроза кровопролития не была плодом больного воображения Свободы. В письме, адресованном ему «высочанским» Президиумом ЦК КПЧ, президиумом Национального собрания и правительством, привезенном мною из Праги, говорилось: «Крайне опасным фактором является нарастающая усталость и нервное напряжение как оккупационных войск, так и нашего населения». Авторы этого письма выше всего ставили интересы демократического развития страны, а потому предлагали Свободе прервать московские переговоры, вместе с Дубчеком и Черником вернуться в Прагу, стабилизировать положение, провести консультации на родине и лишь после этого вернуться к переговорам.

Позиция Свободы была иной: он хотел как можно быстрее вернуться домой, но с соглашением в кармане, покончив тем самым с неопределенностью. В Москве он встречался не только с Брежневым, но и с военными. В отличие от тех, кто писал ему письма из Праги, он, вероятно, не очень обольщался насчет своего собственного положения. Свобода понимал, что при всем своем желании он сможет вернуться в Прагу лишь после того, как подпишет соглашение, вернее, ультиматум Кремля. Внутренне он этому не противился, он вылетел из Чехословакии, отчетливо понимая, что ему этого не избежать. С его точки зрения, сопротивление и все разговоры о нем были ничего не стоящей болтовней политиков.

Что же касается убежденности Свободы, что в данной ситуации человеческие жертвы были бы совершенно напрасны, то и я, как уже говорилось в начале главы, разделял ее. Этими возможными жертвами, тысячами погибших Свобода постоянно угрожал нашей делегации во время переговоров в Кремле, торопя нас прийти к соглашению, не слишком заботясь о том, какие политические возможности на будущее оставит для КПЧ текст протокола. Тем самым Свобода, несомненно, играл на руку советским интересам. И все же я отказываюсь ставить знак равенства между Людвиком Свободой и людьми типа Биляка, Индры, Якеша и другими, которые, будучи сторонниками тоталитарной системы, тайно подготавливали военную интервенцию, или между Свободой и людьми типа Гусака, который сразу же перешел на сторону интервентов ради своих амбиций и жажды власти. Мотивы Свободы были иными. Лично я не могу принять их. Не разделяя их ни тогда, ни сейчас, я просто пытаюсь понять, но никак не оправдать.

По-моему, проблема Людвика Свободы была вовсе не в том, что в решающую минуту он предал демократические реформы Пражской весны. Дело просто в том, что она вынесла на пост главы государства человека, который по сути никогда не был демократическим политиком. Это был просто немолодой чехословацкий маршал, который рассуждал нередко так же, как и его престарелые коллеги из Москвы. Чехословакия не сверхдержава, а потому и у нашего маршала не было агрессивных великодержавных appetitов. Напротив, как маленький маршал, он по-солдатски подчинялся маршалам большим, с которыми давно и прочно связал свою судьбу.

В августе 1968 года Москва использовала Людвика Свободу в своих целях. В последующие годы, вместе с гусаковским руководством КПЧ, она продолжала это делать, причем с еще худшими последствиями для общества. Свобода запутался в паутине антиреформаторской политики «нормализации» и сыграл тогда унизительную роль статиста. Все это оказалось возможным из-за его примитивного просоветского мышления, прогрессирующей старости и тщеславия, типичного для многих людей — вояк не только по профессии, но и по характеру. Народу было за него стыдно, а власть имущим, как в Праге, так и в Москве, он стал в тягость, вследствие чего его убрали с полити-

ческой сцены.

Именно в августовские дни в Кремле начал свою крупную политическую игру Густав Гусак. Ставкой в ней был высший партийный пост. Тогда, правда, Гусак поддерживал два главных требования реформаторского крыла партийного руководства: включить в итоговый протокол обязательство вывести иностранные войска с территории страны и закрепить в тексте приверженность курсу, выдвинутому «Программой действий». В то же время он последовательно и настойчиво отстаивал советское требование объявить «высочанский» съезд недействительным. До моего приезда этот вопрос, как я уже говорил, был предварительно согласован. Тем не менее он снова стал предметом обсуждения, предпринимались попытки найти политически более подходящее, компромиссное решение.

Я сам был непосредственно заинтересован в достижении такого компромисса. Мне представлялось абсурдным, что на основании какого-то там соглашения с московским политбюро можно так запросто объявить недействительным съезд партии, сыгравший важнейшую роль с точки зрения укрепления позиции КПЧ в обществе и спасения жизни арестованных членов дубчековского руководства, сохранения за ними постов. К тому же я приехал в Москву также по поручению руководства, избранного этим съездом, и это меня обязывало. Правда, сам я не был членом нового политбюро, зато ими являлись Дубчек, Черник, Сморковский, Шпачек, Шимон, Гусак. С формальной точки зрения именно эти люди были вправе отстаивать (или, напротив, осудить) решения «высочанского» съезда. Но они там не присутствовали и не имели настоящего представления об атмосфере съезда, о надеждах тех, кто в это время в Чехословакии представлял КПЧ. У меня же перед глазами стояли лица людей, которых я видел в ЧКД, и я отчетливо представлял, как бы они отреагировали на документ, перечеркивающий все, что было ими выстрадано в первые дни советской оккупации.

Сморковский, Шпачек, Шимон, прибывшие в Кремль уже после предварительного согласия нашей делегации на отмену решений XIV съезда, также пытались снова поставить этот вопрос на повестку дня. Для них отмежеваться от съезда, спасшего, по сути дела, им жизнь, было немыслимо. Поэтому вопрос обсуждался снова и снова, шел поиск какого-то компромиссного реше-

ния. Наконец начал вырисовываться возможный вариант: признать недействительными выборы нового ЦК КПЧ, что московскому политбюро нужно было в первую очередь. Отправным пунктом для этого должно было стать заявление самого XIV съезда о том, что выборы не являются окончательными и съезд не завершен. Мы предполагали, что в течение двух месяцев, после вывода большей части советских войск из ЧССР, съезд соберется снова, пересмотрит некоторые решения и изберет новый ЦК. До этого в состав старого ЦК в Президиума предлагалось кооптировать членов «высочанского» ЦК, что обеспечивало бы численное превосходство сторонников реформ в этих органах. Поэтому в итоговом протоколе нужно было так сформулировать положение о недействительности XIV съезда, чтобы осталась возможность реализовать задуманный план. Так оно в конце концов и вышло: принятое в Москве компромиссное решение провели в жизнь после возвращения дубчековского руководства из Москвы на пленуме ЦК КПЧ 31 августа 1968 года.

Гусак, по всей вероятности, в закулисных переговорах с Кремлем обещал советскому политбюро добиться от чехословацкой делегации безоговорочного признания XIV съезда КПЧ недействительным. Его действия поэтому затрудняли поиск компромисса. Но в конце концов и он согласился, поскольку ставкой в игре оказались и личные мотивы: Гусак не был прежде даже членом ЦК, а съезд в Высочанах избрал его в состав высших партийных органов. Принятый компромисс обеспечивал для Гусака кооптацию в политбюро. Вначале Гусак рассчитывал на другой вариант: он надеялся, что на съезде Компартии Словакии (КПС) его изберут первым секретарем, и тогда он уже не будет зависеть от решений «высочанского» съезда. Он звонил из Москвы в Братиславу и добивался отсрочки съезда Компартии Словакии, открытие которого было назначено на 26 августа, до возвращения делегации из Москвы. Его люди ему это обещали, и в момент моего появления в Москве Гусак был убежден, что съезда в Братиславе пока не будет. Я сразу сказал ему, что он ошибается, что мне точно известно — словацкий съезд откроется на следующий день и выскажется в поддержку решений «высочанского» съезда, в Братиславе даже ждут его представителей. Я сообщил Гусаку и о составе этой делегации, который был утвержден еще до моего отъезда из Праги. Выслушав меня, Гу-

сак самоуверенно и презрительно улыбнулся, посмотрел на меня, как на дурачка, понятия не имеющего, как делается политика, и с апломбом объявил все сказанное мною чепухой — съезда в Братиславе не будет, ведь это, мол, собственно, зависит от него самого.

Но к вечеру Гусак, видимо, уже узнал, что на следующий день съезд все-таки начнет свою работу. И пройдет без него. Это несколько поколебало его самоуверенность, и он начал склоняться к идее кооптации, что ему самому открывало запасной лаз для прорыва к власти. К тому же Гусаку удалось частично осуществить и свой первоначальный план: съезд Компартии Словакии начал свою работу 26 августа, но уже 27-го туда явился сам Гусак. Ему удалось провести резолюцию о непризнании «высочанского» съезда и выполнить тем обязательства перед Москвой. Одновременно, будучи избранным первым секретарем Компартии Словакии, Гусак автоматически, независимо от решений «высочанского» съезда, становился членом политбюро всей КПЧ. Но в первый день работы, когда Гусак еще отсутствовал, словацкий съезд, как и съезд в Высочанах, все же принял резолюцию с осуждением интервенции.

Во время переговоров в Москве Гусак вел себя таким образом, чтобы производить впечатление соратника и союзника Дубчека, Свободы и Черника. Он особенно старался прямо и косвенно поддержать Свободу. А вот к Смирковскому Гусак уже тогда проявлял заметную сдержанность. Людей типа Шпачека, Шимона или меня он не считал настолько значительными фигурами в структуре власти, чтобы проявлять к ним какое бы то ни было отношение. В те дни Гусак сторонился и промосковской группы, то есть тех, кто позднее стали его главными компаньонами по власти: Биляка, Индры, Якеша и др. Но советскому политбюро он понравился. Перед нашим отлетом в Прагу Косыгин сказал мне: «Товарищ Гусак — такой способный политик, замечательный коммунист. Мы его раньше не знали, но он произвел на нас очень хорошее впечатление».

Я никогда не питал иллюзий в отношении Гусака. Я познакомился с ним поздно, лишь в марте 1968 года, когда мы оба еще были сотрудниками академии наук — он в Братиславе, я в Праге. Тогда на одном из совещаний нашей научной группы, занимавшейся проблемами развития политической системы в Че-

хословакии, рассматривался вопрос государственно-правового упорядочения межнациональных отношений чехов и словаков. В его работе принял участие и Густав Гусак. В то время я уже много слышал о нем, как от его друзей, так и от врагов. Знал, что увижу амбициозного политика, стремящегося вернуться в мир власть имущих. Но действительность превзошла все мои ожидания. Выступая на заседании группы, где все мы привыкли говорить по существу, откровенно и терпимо по отношению к разным взглядам, Гусак встал в позу политического лидера, раздающего указания и благосклонно разъясняющего неполноценным созданиям «верную линию». По содержанию его выступление было крайне консервативно. Он повторял затертые тезисы из работы Ленина «Государство и революция», несостоятельность которых давно уже была доказана политической практикой Советского Союза и других стран советского блока, и старательно отгораживался от любых идей, связанных с плюралистическим пониманием политической системы социализма. В сфере национальных отношений Гусак был сторонником федерализации государства. В целом он выступил как человек, который привык наставлять других, местами просто пренебрежительно и демагогически.

В конце совещания, подводя итоги работы, я не удержался и сказал, что его выступление годилось бы для митинга, но почвы для глубоких размышлений оно не дало. Гусак с большим трудом сумел совладать с собой, и стало ясно, что я нажил себе врага. Но он на меня тогда произвел настолько неблагоприятное впечатление, что сблизиться с ним мне совершенно не хотелось, и его реакция меня мало взволновала.

До войны Гусак, по образованию юрист, был вхож в круги словацкой коммунистической интеллигенции. Затем работал в подполье и свою главную роль сыграл в словацком национальном восстании в августе 1944 года. С того времени, однако, и началась особая, противоречивая эволюция Гусака и как политика, и как человека. Можно говорить о личной трагедии Гусака, но гораздо серьезнее, что все это обернулось трагедией для целого народа, которым он правил при поддержке Москвы.

Гусак, с одной стороны, был политиком сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ, он проводил ее линию, используя ее методы. С другой стороны, он был сам по себе личностью, превосходившей своими способностями большинство тогдашних

коммунистических лидеров. У него к тому же были свои взгляды и убеждения, особенно по словацкому вопросу, из-за чего он неизбежно должен был вступить с этой гвардией в конфликт. Данное противоречие красной нитью проходит через всю политическую деятельность Гусака.

Во время войны, действуя в подполье на территории Словакии, Гусак выступал сторонником официальных коминтерновских позиций. Так, он предлагал Готвальду присоединить после войны Словакию к СССР в качестве союзной республики, ссылаясь на то, что это якобы является сокровенным желанием большинства словацкого народа. Гусак огульно называл чехов, оставшихся в Словакии во времена словацкого фашистского государства, коллаборационистами, а участвовавших в движении Сопротивления евреев неблагонадежными элементами и настаивал на их изоляции. Сталинское мышление, согласно которому целые группы людей по классовому, национальному или религиозному признаку могут подпадать под подозрение, подвергаться дискриминации и даже ликвидации, столь же типично для Гусака, как и для всей сталинско-готвальдовской гвардии в КПЧ.

В послевоенные годы, до его ареста в 1951 году, Гусак был одним из самых умелых и активных проводников сталинской политики. После выборов 1946 года он стал председателем Собрания уполномоченных в Словакии. Это было в ситуации, когда в Словакии коммунисты на выборах потерпели поражение. Методы, которые использовал Гусак в те годы, послужили прообразом тактики, которую КПЧ применила в масштабах всей страны в феврале 1948 года для захвата монопольной власти, независимо от итогов выборов. Гусак без колебаний дискредитировал и натравливал друг на друга своих политических противников — тогдашнюю Демократическую партию и католическую церковь. Как председатель Собрания уполномоченных Гусак принимал активное участие в провокациях, организованных органами государственной безопасности против некоммунистических политиков и священников. Нельзя отрицать, что некоторые деятели из рядов антикоммунистической оппозиции в Словакии были в то время связаны с клерикальными политиками фашистского толка. Однако Гусак, прибегая к полицейским провокациям, создавал впечатление, будто все некоммунистические политические течения крайне опасны для самого существования демократического

чехословацкого государства. Он не рассчитывал получить большинство голосов на демократических выборах, а потому стремился захватить ключевые позиции путем кабинетной политики, полицейских провокаций и диктаторского принуждения.

И все же сталинист Гусак отличался от других братиславских и пражских сталинистов. Он действительно проявлял заботу о том, чтобы словацкие национальные интересы не ущемлялись пражским централизмом. Он не был также классическим аппаратчиком, сила которых в посредственности и анонимности. Он скорее предпочитал интеллигентное манипулирование, осуществляемое способной, квалифицированной правящей элитой. Поэтому для тех, кому Гусак помог еще при Сталине прийти к власти в государственном и партийном аппарате, в том числе в политической полиции, он так и не стал своим, он воспринимался как нечто инородное, как индивидуалист, амбициозный человек, с которым нужно быть осторожным. В аппарате его называли «коммунистом-барином», и этот ярлык на разные лады склонялся официальной партийной пропагандой, когда Гусак находился в тюрьме и затем еще долго во времена Новотного после выхода Гусака на свободу. Несмотря на то что он содействовал победе сталинизма в Чехословакии, Гусак оказался его жертвой, так как другие сталинисты видели в нем опасно талантливую личность, а защитники пражского централизма — опасного проводника словацких национальных интересов.

В сущности, Гусак оказался полным неудачником. Во время словацкого национального восстания он, отказавшись от прежних своих планов присоединить Словакию к СССР, помог вернуть Словакию в состав единого чехословацкого государства. Он надеялся, что Словакия — а тем самым и он как словацкий политик — получит возможность реализовать свои национальные интересы. Но в итоге в стране установился диктаторский режим нейтралистского толка, который подавлял многие общественные интересы, в том числе и интересы Словакии. В период с 1945 по 1951 год Гусак делал все для укрепления власти КПЧ, а тем самым и своей собственной власти как коммунистического политика. В итоге же его арестовали и приговорили к пожизненному заключению, поскольку диктатура, которую он так активно помогал созидать, не приняла его в круг неприкасаемой элиты.

Арест Гусака был в значительной степени следствием его

личного конфликта с В.Широким, который в готвальдовском, а позднее и в новотновском политбюро представлял течение словацких сталинистов, готовых безропотно подчиняться диктатуре центра. В 50-е годы Гусак и Широкий были соперниками в борьбе за власть. Думаю, что если бы тогда победил Гусак, он бросил бы за решетку Широкого, не испытывая никаких угрызений совести. Но факт остается фактом — арестован был Гусак, и осужден он был за «преступления», которых никогда не совершал. Десять лет он был узником ужасных сталинских, а затем новотновских тюрем.

В 1963 году Гусака, наконец, реабилитировали. Новотный предложил ему, как и Смирковскому, вернуться к политической деятельности. Ему давали пост заместителя министра финансов. Гусак, однако, отказался. Я не был тогда с ним знаком, но думаю, что поступил он так по двум причинам. Гусак верно понял, что Новотный хочет перевести его из Словакии в Прагу, чтобы оторвать от прочного политического тыла. Кроме того, должность заместителя министра финансов представлялась Гусаку слишком малозначительной. Мне думается, что он уже в то время предвидел крупные изменения в стране и надеялся сыграть в перспективе более серьезную политическую роль. В тюрьме Гусак несколько изменился, но в основном остался самим собой. Он на собственной шкуре испытал, что значит режим коммунистической диктатуры для тех, кого он низвергает на самое дно. Но себя самого Гусак не относил к отверженным навсегда и «за дело», напротив, он вышел из тюрьмы с твердым убеждением, что ему «по праву» предначертано иное место в «верхах». Ведь он всегда разделял коммунистические идеи, поддерживал интересы рабочего класса и Словакии, ведь он способнее тех, кто правит сейчас. Он наверняка считал, что режим нужно менять. Однако представления Гусака о необходимых переменах были обусловлены его прошлой политической деятельностью. К тому же на протяжении многих лет он был изолирован от того, что происходило в стране. После освобождения из тюрьмы Гусак ощущал себя не столько демократом, сколько сильной личностью, убежденной в своем миссионерском призвании, полной решимости отстранить от власти бестолковых и бездарных, чтобы показать, как делается настоящая политика.

Мне думается, что потребность самореализации нераз-

рывно была связана у Гусака со сферой политики и власти. В глубине души он был убежден в своем призвании указывать другим правильный путь. Мирослав Кусый, один из ведущих реформаторов Словакии, рассказывал мне об одной встрече с Гусаком. Это было утром 21 августа 1968 года у здания ЦК в Братиславе. Кругом разъезжали танки, царила атмосфера первых часов оккупации. Тогда под рев танковых моторов Гусак произнес: «Я выведу народ из этой катастрофы» Нечто подобное в такие минуты мог сказать лишь человек глубоко верящий в свое высшее предназначение.

После 1963 года Гусак по собственной инициативе сошелся со многими коммунистами-реформаторами в Братиславе и Праге, особенно с представителями интеллигенции. На протяжении нескольких лет он выступал с резкой критикой Антонина Новотного, умело собирая вокруг себя оппозиционно настроенных людей. Он достиг того, что многие влиятельные реформаторы стали видеть в нем возможную альтернативу Новотному. Сам Новотный все больше и больше боялся Гусака и стремился ограничить его политическое влияние. Он всячески дискриминировал Гусака но снова бросить в тюрьму уже не мог. Однако преследования со стороны Новотного еще больше способствовали росту популярности Гусака, что тот умело использовал.

После смещения Новотного, когда Дубчек с Черником и Кольдером подбирали состав нового руководства, Гусак снова остался ни с чем. Никому не хотелось видеть Гусака в партийных верхах. На должность секретаря в Словакии Дубчек выдвинул своего тогдашнего друга Биляка. Поэтому даже в Братиславе у Гусака не было никаких перспектив. Он снова оказался в явном проигрыше и, наконец, вынужден был довольствоваться должностью заместителя председателя правительства.

Пражскую весну Гусак считал явлением временным, полагая, что окончательное соотношение сил выкристаллизуется позднее. Положение его не было легким. Проведение радикальных реформ, ориентированных на политический плюрализм, он внутренне считал несостоятельным, неосуществимым. В неофициальных беседах он называл коммунистов-реформаторов, главным образом из среды пражской интеллигенции, «могильщиками процесса возрождения». Дубчек и некоторые другие члены партийного руководства выглядели в его глазах наивными

дилетантами, над которыми он возвышался своим талантом и политическим провидением. У него не было, как мне кажется, чрезмерных иллюзий в отношении великодержавной политики СССР. Гусак многое понял на примере словацкого национально-го восстания, которое советская армия не поддержала прямым военным ударом, поскольку это не согласовывалось с некоторыми стратегическими замыслами Сталина. Но тем более — и как убежденный коммунист, и как политик-реалист — он считал необходимым избежать конфликта с Москвой. В случае же возникновения такого конфликта Гусак заранее был готов на компромисс. С такими взглядами ему тяжело было взойти на Олимп власти — просоветская и сталинская клика в КПЧ не желала союза с ним. В итоге Гусак вынужден был примкнуть к радикальным течениям, требовавшим кадровых перестановок, что заставляло его камуфлировать и дальше свои подлинные убеждения.

В 60-е годы и в период Пражской весны многие коммунисты-реформаторы видели в Гусаке политического союзника, а некоторые и своего друга. Для Гусака же эти люди были необходимым, но далеко не идеальным орудием осуществления собственных мессианских представлений, и связанных с ними амбиций. Многие разобрались в Гусаке слишком поздно, лишь после 1969 года, когда тот поднялся на высшую ступень власти.

Наиболее показательна история с Миланом Гюблом, в 1968 году он был ректором Высшей партийной школы ЦК КПЧ. В последние годы правления Новотного Гюбл делал все возможное, чтобы Гусак был не только реабилитирован, но и возвращен на политическую сцену. Он поддерживал Гусака в его действиях против Новотного и за это в 1965 году был уволен с работы. Даже еще в апреле 1969 года, когда Гусак сменил Дубчека на посту первого секретаря ЦК КПЧ, Гюбл активно помогал ему получить поддержку реформаторов в ЦК, будучи твердо убежденным, что Гусак — самый подходящий политик для осуществления «кадаризации». А уже в 1972 году Гюбла арестовали, и Гусак хладнокровно позволил приговорить его к шести с половиной годам заключения «за подрывную деятельность против республики». Гюбл же все это время, как и раньше, стремился сохранить хотя бы самую малость оставшегося от реформ, сплотить вокруг себя единомышленников, искал поддержки у коммунистических пар-

тий Италии и Франции. Гусак, сам в прошлом незаконно репрессированный, продержал Гюбла в тюрьме вплоть до конца 1976 года, хотя ему были хорошо известны мотивы ареста, а также унижительность и опасность для здоровья условий заключения. .

Придя к власти в 1969 году, Гусак расправился почти со всеми, кто помог ему вернуться в свое время к политической жизни и занять высшую партийную должность. Более того, он связал свою судьбу с людьми, которых ранее презирал и считал бездарными прислужниками режима Новотного — и первым среди них оказался Васил Биляк. Правда, Гусак попал во власть обстоятельств: он стал первым человеком в партии в тот момент, когда удержаться на этой должности мог лишь верный слуга Кремля. А Кремль желал ликвидации прежних политических друзей Гусака и возвышения его давних личных врагов. Получая свой пост по милости Москвы, Гусак должен был это учитывать и, конечно же, будучи человеком отнюдь не глупым, прекрасно все понимал. Он осознавал, как ему придется себя вести. Всю жизнь он мечтал вскарабкаться на самую высокую ступень власти. И когда такая возможность представилась, Гусак не устоял. Он отказался от своих прежних убеждений, устранил многих близких ему людей, заплатив таким образом полную цену за право стоять во главе оккупированного государства.

Тем, что в апреле 1969 года московское политбюро возвело Гусака на высшую должность, оно создало для себя вначале благоприятную ситуацию. Поскольку было известно, что Гусак в прошлом не являлся советским ставленником и в 60-е годы был близок к реформаторам, люди надеялись, что ему удастся «предотвратить худшее», что он будет проводить некую центристскую политику.

Весьма вероятно, что тогда, в августе 1968-го, Гусак сам не предвидел в полной мере, какой режим сложится в Чехословакии при его правлении. Я не думаю, что уже тогда он замыслил изгнать из партии треть членов КПЧ как «пособников контрреволюции» или предвидел, что презируемый им Биляк станет его главной опорой. И все же уже тогда Гусак совершенно сознательно вступил на путь, который привел его к вершине власти, и в принципе был готов принести реформы Пражской весны в жертву своим амбициям.

Так вот, вечером 25 августа собрались все, за исключени-

ем Дубчека, Кригеля и Индры. Пятеро сторонников демократических реформ (Черник, Смирковский, Шпачек, Шимон и я) противостояли семерым представителям промосковской группы (Биляк, Якеш, Швестка, Пиллер, Ленарт, Барбирек, Риго). Мы все еще пытались внести некоторые изменения в советский проект итогового документа, расширить политическое пространство для проведения реформ. Нас постоянно осыпали окриками Людвик Свобода и подпевавший ему Гусак. За всем этим безмятежно наблюдали министры Дзур и Кучера, а также тогдашний посол Чехословакии в Москве Владимир Коуцкий. Они не вмешивались в ход переговоров, но явно были на стороне тех, кто готов был подписать советские предложения без малейшего сопротивления.

Советское политбюро постоянно давило на чехословацкую делегацию. В основном это делалось путем сепаратных переговоров с отдельными ее членами, когда угрозы чередовались с уговорами и обещаниями. Эти посулы призваны были создать у некоторых чехословацких представителей иллюзию, что они персонально могут рассчитывать на советскую поддержку. Кроме того, Москва постоянно нагнетала давление в атмосфере переговоров, в результате чего над нами постоянно висели две серьезные угрозы.

Во-первых, нам дали понять, что мы не выйдем из Кремля, пока не подпишем советский ультиматум, пусть и с некоторыми изменениями. Советская сторона не скрывала этого, напротив, несколько раз было сказано: не подпишете завтра — подпишете через неделю. И не было сомнений, что Кремль свою угрозу осуществит. Шестеро наших членов Президиума, которых привезли как арестантов, были тому наглядным примером. Они уже побывали в ситуации людей, переживших вторую фазу допроса инквизиции — им продемонстрировали орудия пыток. Я говорю в буквальном смысле слова, а не образно. Мне известно, что каждый из них уже прощался с жизнью. Это, правда, придает силы, так как после первого страха перед смертью приходит примирение с судьбой. Но психологически состояние резко меняется, когда вместо неизбежного конца перед человеком снова открываются ворота в жизнь. Когда самоубийцу спасают, он ведь тоже не бросается сразу повторять свою попытку.

Некоторые члены дубчековского руководства находились,

скорее, в роли людей, которых шантажируют гангстеры, а не в роли членов правительственной делегации на международных переговорах. Но не это главное. Важнее то, что знали мы все: по некоторым принципиальным вопросам Кремль не уступит, даже если расплачиваться за это придется бессмысленным кровопролитием в Чехословакии. Такой была вторая угроза, о реальности которой нам давали понять не только посредством Свободы, но и напрямую во время переговоров с другими членами нашей делегации: если вспыхнет конфликт с населением, говорили нам, то советским войскам дан приказ применять оружие. Мы ведь должны понять, что сейчас, пока не достигнута хотя бы общая договоренность, они не могут пойти на уступки. И если все откладывается и задерживается, то это наша вина, мы одни несем ответственность за жизнь гражданского населения Чехословакии.

Легко утверждать задним числом, что Москва не пошла бы на столь жесткие меры а если бы и пошла, то это было бы чревато для нее катастрофическими международными последствиями. А для народов Чехословакии это явилось бы исторической и нравственной победой, поскольку на фоне целой цепи капитуляций в их истории, наконец, имел бы место факт героического сопротивления могущественному агрессору, позволяющий распрямить спину. Мы тогда рассуждали и в таких категориях. Но все же трудно было взять на себя ответственность за решение, чреватое кровавой бойней. У нас не было даже гарантии, что бойни не произойдет еще до того, как мы в Кремле придем к соглашению. Ведь отступление от первоначального плана, переговоры Кремля с теми, кого по идее предполагалось судить «революционным трибуналом», — это был максимум, достигнутый пассивным сопротивлением народа. Но если бы переговоры в Москве провалились, у Кремля не осталось бы выхода. Он вынужден был бы вернуться к своему первоначальному плану и проводить его в жизнь еще более жестко. Нелепо надеяться, что грабитель, угрожающий оружием, не применит его, если окажется в затруднительном положении и поймет, что другого выхода у него нет. А советское политбюро не было неопытным новичком. Сталинская традиция массовых преступлений, как и Будапешт 1956 года — живое тому доказательство.

Разумеется, и для Москвы установление в ЧССР прямого

оккупационного режима, а тем самым доведение агрессии до своего логического завершения было в политическом отношении не самым удачным исходом. Но уже прибегнувшие к военной оккупации силы при определенных обстоятельствах могли пойти и на это. Такое решение не требовало даже согласия Политбюро ЦК КПСС: достаточно, чтобы за него выступили «ястребы» среди генералитета. В их власти было начать бойню, а затем свалить ответственность на волнения, вызванные «контрреволюцией» и чехословацким населением.

Мы знали, конечно, что советское руководство, когда оно оказалось вынуждено вести переговоры с Дубчеком и другими реформаторами, стремилось провести их руками то, чего не удалось сделать с помощью Биляка и Индры. Но достижение целей зависело и от исполнителей. Палка, за которую бралась Москва, была о двух концах. Перед нами снова открывались известные политические возможности. Путь компромисса давал нам определенные шансы, а как ими воспользоваться — зависело уже от нас самих. Даже если надежда была невелика, все же открывались какие-то реальные политические перспективы, и в сравнении с альтернативой кровавой бойни они нам казались единственно приемлемыми как с точки зрения реформ, так и с точки зрения интересов народа.

Ни для кого не было секретом, что советское политбюро, когда решался вопрос о военном вмешательстве, не было единомышленно. Поэтому мы рассчитывали, что провал военных методов усилит положение тех, кто в свое время не соглашался на применение силы. Политический компромисс во всех отношениях был бы выгоден Кремлю, но он вовсе не означал автоматического сведения на нет политики реформ в Чехословакии. Требования «ястребов» можно было удовлетворить размещением ограниченного контингента советских войск, прежде всего стратегических вооружений, что не представляло бы угрозы для реформаторской, пусть даже ограниченной, политики КПЧ. Таким образом, мы рассчитывали на своего рода «кадаризацию» в более благоприятных условиях — без кровопролития, без полицейских репрессий, на создание ситуации, при которой сохранялись бы реформаторские тенденции, какие-то перспективы, было бы предотвращено возрождение тоталитарного режима.

Приблизительно так рассуждали мы все — Черник, Смир-

ковский, Шпачек, Шимон и я. Но у каждого, кроме того, были и свои соображения. Различной была и степень нашего оптимизма относительно будущего Чехословакии. Всем нам было ясно, что желаемое часто принимается за действительное, что мы склонны скорее видеть лучшую из существующих возможностей. Дискутируя друг с другом, мы высказывали свои сомнения вслух, даже подсмеивались над своей верой, а время от времени то один, то другой впадал в полное неверие. Я помню, как несколько раз, совершенно неожиданно, в какой-то яркой вспышке прозрения, без каких-либо логических взаимосвязей и аргументов мне вдруг начинало казаться, что все наши рассуждения бессмысленны, что мы сами себя обманываем, а правда очень проста: мы подписываем капитуляцию, отречение, и народ дома назовет это изменой. Тогда в Кремле в один из таких моментов я сказал Смирковскому (кажется, при этом присутствовали Шпачек и Шимон), что для меня лично переговоры оказались полезны с неожиданной стороны: я понял Эмиля Гаху. Никто не возмущился — о Гахе, которого в марте 1939 года Гитлер заставил в Берлине согласиться с немецкой оккупацией, тогда наверняка вспоминали все. Но некоторые отворачивались от собственных сомнений решительнее, резче других. Первым, кажется, решил подписать советский ультиматум Черник.

Тем самым принципиально изменилась вся ситуация с точки зрения наличия реальных альтернатив и возможностей нашей тактики. Было ясно, что промосковское большинство участников переговоров, а вместе с ними министры Дзур, Кучера и посол Коуцкий подпишут ультиматум в любом его виде. Подпишут его также Свобода и Гусак. И как только выяснилось, что это сделает и Черник, советской стороне оставалось убедить только Дубчека. Без подписи Смирковского положение оставалось бы для нее довольно затруднительным, но все же политически разрешимым. Подписи Шпачека, Шимона, Кригеля и моя такого значения уже не имели. Это все же была та гирька, которая не в состоянии перетянуть, чашу весов. Позиция Дубчека оставалась, однако, неясной вплоть до 26 августа, до торжественного заседания, которое предполагалось завершить подписанием документа. Даже на этом заседании в текст еще вносились какие-то поправки. На переговорах, проходивших ночью 25 августа, Дубчека не было. К нему несколько раз заходили, и он поддерживал

все предлагавшиеся нами изменения, хотел, чтобы мы продолжали переговоры и работу над текстом, но окончательного согласия поставить свою подпись под документом не давал. Он желал дожидаться окончательного варианта.

Поздней ночью 25 августа вся чехословацкая делегация, за исключением Дубчека, Кригеля и Индры, собралась за одним столом. Председательствовал Олдржих Черник. Каждый должен был высказаться, подпишет ли он завтра протокол. Сам документ еще окончательно не был готов. Работу предполагалось завершить на следующий день на совместном заседании с советским политбюро в полном его составе. Так что еще была возможность что-то скорректировать. К тому времени советская делегация еще не приняла формулировку об отводе советских войск с территории Чехословакии в том виде, как она была зафиксирована в подписанном позднее тексте. Поэтому я считал преждевременным брать на себя обязательство, даже общего характера, поставить свою подпись под документом. Это был как раз тот момент, когда Свобода кричал, что мы доболтались до оккупации страны. Гусак также настаивал на немедленном прояснении позиции каждого. Атмосфера была очень тягостная, напряженная и истерическая. Тем не менее, я отказался сказать свое последнее «да» и оставил за собой право принять решение на следующий день в зависимости от окончательных итогов обсуждения. Все остальные уже обещание дали. Что же касается отсутствовавших, то в позиции Алоиса Индры не сомневался никто, позиция Кригеля была совсем неизвестна, Дубчек же хотел сообщить свой вердикт на следующий день. Только он еще мог изменить ход событий.

Наше совещание закончилось между двумя и тремя часами ночи. В правительственный особняк на Ленинских горах я попал в начале четвертого. В прихожей, как и в Кремле, стояли столики с водкой, коньяком, икрой, осетриной и другими яствами. Я вошел в свою комнату и, не чуя ног от усталости, рухнул на кровать. Раздался тихий стук в дверь. Я открыл, на пороге стояла барышня в модном халатике, под которым, как мне показалось, не было ничего. «Вам что-нибудь еще нужно, товарищ?» — проговорило это создание и кокетливо улыбнулось. Я не ведал, какие еще услуги полагаются официальному гостю Кремля, но выяснять не хотелось. Я раздраженно ответил, что мне нужно

лишь одно — чтобы меня оставили в покое. И закрыл дверь.

С той роковой ночи 21 августа я спал лишь три раза, всего по несколько часов. Выкурил за это время сотни сигарет и выпил десятки чашек черного кофе. Время бодрствования проходило в постоянном напряжении — в кабинете Дубчека с приставленным к затылку дулом автомата, в советском посольстве и на съезде в Высочанах, а потом также в Кремле. Я испытывал такую невероятную усталость, что не мог никак уснуть. В голове роились уже не мысли, а образы, ощущения, какие-то бесконечные и бес-связные кинокадры и видения. А в просветах между ними меня вдруг осеняло ошеломляюще ясное и бесхитростное понимание реальности.

Я открыл окно и выглянул в сад. Свежий утренний воздух несколько успокаивал нервы, на смену видениям снова приходили мысли. Только сейчас мой мозг начал анализировать обстановку в целом, выделяя наиболее существенное. Пока я находился в сплошном водовороте событий, переговоров, совещаний, принятия решений по десяткам разных вопросов, пока я писал проекты и замечания, переводил их на русский язык, обдумывал реальные возможности каждого данного момента, я жил только этой своей ролью, как запрограммированная машина. То, что происходило вне меня, либо создавало некий фон, либо служило внешним импульсом для моих целенаправленных действий. То, что происходило во мне, откладывалось внутри, но у мозга не оставалось времени это переварить. Из этого «склада» переживаний, впечатлений, ощущений и невысказанных слов в голову теперь настойчиво лезли вопросы, требовавшие ответа. А все многочисленные ответы выливались в один ответ на главный вопрос: что же произошло и какова моя роль в случившемся?

То, что я оказался в Москве наполовину заложником, наполовину в качестве официального гостя, было логическим следствием всей моей жизни и политической деятельности. Я сам своими руками создал такую ситуацию. Собственно говоря, она — следствие не 20 августа 1968 года, а 25 февраля 1948 года. Потому что именно тогда я безоговорочно, по собственному решению и убеждению примкнул к тем, кто, в свою очередь, безоговорочно «на вечные времена» подчинился Москве и ее интересам. Сейчас уже неважно, почему я так поступил, почему

так повели себя другие, были ли намерения и идеалы, которые вели нас к этому, благими. Но так это было. Выбор сделал я сам. Правда, к этому моменту я уже более десяти лет знал, что Москва творила жуткие преступления, и я не хотел этому способствовать. Но что же я тогда делал? Я пытался при помощи реформ изменить положение в Чехословакии, надеясь, что и в Москве было искренним желание покончить с преступлениями. У меня были некоторые основания так думать, но одновременно уже много лет были налицо и веские доводы полагать обратное. Я либо недооценил, либо не учел их, поскольку они не вписывались в мои концепции коммунистического реформаторства.

Но все, что произошло 21 августа, полностью соответствовало логике вещей: Москва просто решила покончить с экспериментированием, которое показалось ей чересчур опасным, угрожающим ее собственным интересам. А с позиции Москвы вполне логично, чтобы я предстал перед судом Кремля, перед необходимостью отвечать на вопросы: «Так что, идешь с нами «на вечные времена» или нет? Ведь ты же сам это твердил целых двадцать лет!» Москва хотела слышать либо «да», либо «нет», нюансы ее не интересовали. Она требовала определенного ответа и от меня, и от остальных, кто оказался здесь в двуединой роли заложников и членов правительственной делегации.

Собственно, старик Свобода был прав, когда отчитывал нас и требовал взглянуть правде прямо в лицо. Он это сделал и потому отвечал Москве недвусмысленным «да». Свобода требовал, чтобы так же поступили и остальные, а кто не хочет, пусть скажет «нет», но перестанет тянуть время, заниматься проволочками. Мы были обескуражены тем, что советское политбюро повело себя как банда гангстеров. Но разве мы сами не были виноваты? Кадар ведь не случайно спрашивал Дубчека: «Неужели вы действительно не знаете, с кем имеете дело?» Кадар не мог поверить, что Дубчек этого не понимал. Мы, собственно, оказались глупцами, вырядившими свою глупость в идеологические ризы реформаторского коммунизма.

У меня затекла нога — я долго стоял, опираясь о подоконник, — и, чтобы освободиться от этого неприятного ощущения, я уселся на него, продолжая глядеть через открытое окно в сад. Сей же момент из тени рядом стоящей туи вынырнул человек в штатском, профессия которого не вызывала сомнений. Он по-

дошел ближе к окну и задал мне тот же вопрос, что и девушка минуту назад: «Вам что-нибудь нужно, товарищ?» — «Нет», — говорю я ему, слезаю с подоконника и ложусь на кровать. Этот человек в саду — еще одно свидетельство, что в Москве все предусмотрели намного лучше, чем это сделал я. Не исключено, что он стоял там, дабы помешать мне выброситься из окна, если бы я решил таким способом уклониться от прямого ответа. Стоило ему свистнуть, и прибежали бы еще сотрудники КГБ. Окно располагалось невысоко, меня бы подхватили внизу без труда, я даже ногу бы не сломал.

Было почти шесть часов утра, в девять в Кремле — продолжение переговоров. Я думал о советском ультиматуме. Я знал, что он будет подписан и что подписи под ним, собственно, будут также логическим следствием всей прошлой жизни тех, кто это сделает. Не подписать означало начать новую, совершенно иную жизнь. Способен я был на такое? Мне этого хотелось. Ведь итоги всей моей политической деятельности, в том числе и последнего реформаторского этапа, были просто катастрофическими. Благие намерения никого не волнуют, уже Данте знал, что ими вымощена дорога в ад. Я решил не подписывать протокол. Усталость меня одолела, и я заснул.

В начале десятого мы собрались в Кремле. Я сообщил о своем решении не подписывать протокол Чернику и Биляку как представителю промосковской группировки — пусть знают все. Я предложил вариант, как соблюсти при этом правила игры: пойти к врачу президента, с которым я был знаком, сказать больным и на коллективную встречу двух политбюро не приходить. Явиться и не подписать означало бы вызвать скандал. Этого я хотел избежать, чтобы никак не влиять на тех, кто решил иначе, но подписывать я решительно не собирался. Биляк пробормотал, что я волен поступать как мне угодно, но в восторг явно не пришел, выглядел хмурым и неприветливым. Черник привел Шпачека, и мы стали обсуждать мое решение. После я переговорил еще наедине со Смирновским и Шимоном. В конце концов, свое решение я изменил. Почему? Все четверо признались, что пережили то же самое в тот момент, когда из заключенных и узников они вдруг стали членами правительственной делегации. Тогда все они почувствовали, что не могут с полной ответственностью действовать так, будто ничего не случилось. И все же они в кон-

це концов тоже передумали. Они поняли, что отказ разрешит их личные внутренние проблемы, но отнюдь не политическую ситуацию в стране, за которую они тоже ответственны. Более того, аргументы, которые я приводил накануне, укрепили их в уверенности: компромисс — совсем не безнадежное дело, в Чехословакии еще есть возможность создать более благоприятные условия, чем в Венгрии после 1956 года. Разумеется, я мог сделать свой выбор, как считал правильным, но должен был помнить, что это лишь личный выбор, способный очистить совесть, но не решавший проблему политических перспектив. Мой выход из руководства осложнил бы их положение, он ставил под угрозу многое из того, что еще можно было спасти. Все предстало бы в таком свете: подписание протокола — вопрос чести и совести, против которой грешили подписавшие. В действительности же чехословацкая делегация просто обязана была найти выход из создавшегося положения. Мне сказали также, что в заключительных переговорах будет участвовать Дубчек, что он намерен добиваться изменений по некоторым пунктам, по которым договоренность еще не достигнута, главным образом по вопросу о выводе войск.

Ночь, когда я был наедине с самим собой, со своим прошлым, рассеялась. Наступил новый день, и я опять был в ряду с другими, вошел в привычную роль. Мой мозг снова работал как ЭВМ. В глубине души я не мог не признать верным по крайней мере один основной аргумент: политическая ответственность за все случившееся лежала и на мне. Отказавшись искать выход, я уклонился бы от своего прямого долга. И я снова со всеми четырьмя принялся подробно обсуждать конкретные возможности политического решения.

В момент, когда я согласился вместе с другими подписать протокол, политические перспективы представлялись мне следующим образом.

Как ни поправляй текст протокола, он принесет Москве односторонние политические выгоды, станет средством систематического давления на реформаторов. Но, с другой стороны, и у нас появятся возможности отстаивать свою политику. Исход в конце концов будет зависеть не от текста протокола, а от соотношения сил как в Чехословакии, так и в Москве. Когда мы вернемся в Прагу, ключевые позиции останутся в руках реформато-

ров. Гигантская сила всенародного сопротивления еще больше ослабит положение промосковских групп в структуре власти сверху донизу. Несмотря на то что эти силы протокол определенно берет под защиту, их можно будет задвинуть на менее значительные должности. Но самое главное — нужно настоять на том, чтобы до начала следующего года из Чехословакии ушли советские войска, за исключением контингента, размещения которого Москва добивается уже два года. К тому времени необходимо будет избрать на съезде новый ЦК. И то, и другое возможно осуществить, так как в Москве под влиянием негативной международной реакции на оккупацию будут проявлять интерес к смягчению обстановки. Весьма вероятно также, что «ястребы» в московском политбюро теперь несколько умерят свой пыл.

Все это, конечно, возможно, но не наверняка. Если же к концу года станет ясно, что события развиваются в другом направлении, что реформаторский курс не удастся проводить, останется единственный выход: реформаторы должны уйти так, чтобы оставить после себя пристойных преемников и не допустить прихода к власти «революционного рабоче-крестьянского правительства», то есть прямой кремлевской агентуры. Москва должна бы согласиться на этот вариант: ведь таким образом от дел отошел бы Дубчек. Что же касается Биляка и Индры, то они успели настолько скомпрометировать себя в глазах Москвы, что она не будет особенно против «третьего варианта». Это новое руководство Чехословакии могло бы пережить несколько лет, проводя что-то вроде политики «кадаризации», а затем пришло бы время и для нового периода реформ. Но нужно было сохранить КПЧ в ее нетронutom виде, о кадрами, годами впитывавшими атмосферу реформ. В противном случае верх возьмут сектанты и люди Кремля, которые не остановятся перед ликвидацией внутри партии малейших ростков демократии.

Таков был мой план, его успех целиком зависел от сплоченности реформаторов вокруг Дубчека. Мы пообещали друг другу хранить это единство и сплоченность. У меня никогда не было особых иллюзий насчет взаимоотношений в руководстве КПЧ. Всего несколько лет назад в нем осуждали друг друга на смерть, постоянно плелись интриги, а всего неделю назад одну часть руководства арестовали именем другой. Но теперь речь шла о людях иного рода — не о бюрократическом клане. Сорат-

ники Дубчека столько пережили в те дни, что я искренне поверил в возможность доверительных отношений даже в политике, отношений, прочность которых основывается на личном доверии, на чести и совести, на данном слове. Однако не прошло и двух месяцев, как стало ясно, что это была лишь очередная иллюзия. Ошибочным оказался и расчет, что Москва откажется от последовательного, пусть и постепенного, достижения поставленной цели.

Все-таки могут спросить, как это мы, находясь в Кремле на положении заложников в плену у гангстеров, могли всерьез надеяться, что со временем Москва будет заинтересована в разрядке ситуации в Чехословакии, а не в полном подавлении всех неугодных ей политических сил? Ответа, по крайней мере, два: нам очень этого хотелось, и потому мы внушили себе, что такое возможно, а кроме того, мы все еще были истовыми коммунистами-реформаторами. Таково может быть объяснение, но оправдания — ни политического, ни морального — этому не найти.

Когда около полудня я заявил, что передумал и подпишу протокол вместе с остальными, Олдржих Черник обнял меня с неподдельной радостью. Радость его, однако, в своей основе была эгоистичной — теперь уже никто не поступит по-другому, уже нет никого, кто потом мог бы сказать: «А я не подписал!» Впрочем, ликование оказалось преждевременным, его вскоре омрачил Франтишек Кригель.

Мы еще накануне интересовались, почему среди нас нет Кригеля. Советская сторона отделялась всяческими отговорками, а в беседах с отдельными членами руководства КПЧ они старались как бы изолировать Кригеля от остальных. Но когда дело дошло до подписания протокола, оттягивать дальше было невозможно, и Кригеля привезли в Кремль. Первым с ним переговорил с глазу на глаз Смирковский, потом после обеда Кригель присоединился к остальным. Его положение было унижительным, а наше — постыдно. Каковы бы ни были причины и оговорки, но мы обсуждали документ в отсутствие Кригеля, а потом поставили его перед свершившимся фактом — необходимо подписать протокол. Франтишек Кригель категорически отказался это сделать. Конечно, все мы вначале вели себя так же, для него это была первая фаза, через которую мы прошли еще вчера. Но Кригель

так этот свой настрой и не преодолел, упорно не желая ничего подписывать.

Все старались его переубедить. Людвик Свобода специально для Кригеля повторил свою вчерашнюю сцену. Он кричал так, что Кригель не снес и оборвал его. Свобода смолк. Помню, Кригель сказал: «Что они могут со мной сделать? Сослать в Сибирь? Расстрелять? Я готов и к этому и подписывать все равно не намерен». Рассуждения о необходимости политического компромисса и возможных его перспективах он не стал даже слушать. Он вел себя не как политик, а как человек, которому грабители угрожают смертью, а в качестве выкупа требуют его честь, его детей, его жену, и он говорит: «Нет, лучше убейте!» Я думаю, что Кригель, которого и в последние три дня все еще держали в изоляции как заключенного, решил, что его приговорили к смерти и смирился с этим. Он не хотел в последние минуты осквернить свою жизнь поступком против совести.

Я говорю это не для того, чтобы преуменьшить политическое значение поступка Кригеля. Просто все было действительно так: он действовал прежде всего как человек, а не как политик. Как показало будущее, его поведение было более сообразно ситуации, чем наше, нас ведь действительно шантажировали гангстеры, а мы тешили себя иллюзией, будто мы политики, с которыми ведут переговоры политики другой страны. Франтишек Кригель сам сказал, что не намерен участвовать в переговорах с советским политбюро и что его могут снова увести. Но советская сторона еще некоторое время настаивала на привлечении Кригеля к переговорам. По всей видимости, режиссер преднамеренно хотел довести дело до публичной ссоры членов чехословацкой делегации с Кригелем в присутствии советского политбюро. Дубчек с этим решительно не согласился, и переговоры проходили без Кригеля. Для поддержания некой симметрии не участвовал в них и в дальнейшем также Индра. Наконец, чехословацкая делегация, на этот раз вместе с Дубчеком, села по одну сторону большого стола, а напротив расположилось советское политбюро.

Переговоры начались во второй половине дня, ближе к вечеру, и открыл их сам Брежнев. Без тени смущения, непринужденным тоном он сотрясал воздух фразами о товарищеских взаимоотношениях и общих интересах, из которых нужно исходить,

чтобы достичь согласия, о дальнейших действиях в создавшейся сложной обстановке. Он говорил о том, с каким глубоким сожалением и болью советское руководство приняло решение о военном вмешательстве. Но иначе оно поступить не могло, так как интересы социализма для него превыше всего. Брежнев хвалил государственную мудрость Людвика Свободы, верного друга Советского Союза и героя второй мировой войны, объяснялся в любви к Чехословакии и был явно растроган собственными излияниями.

По сценарию пару подобных фраз в ответ должен был произнести и представитель чехословацкой стороны, а затем предполагалось перейти к обсуждению отдельных положений проекта протокола. Дубчек все еще чувствовал себя неважно. Врачи приводили его в форму перед началом переговоров при помощи инъекций. Поэтому с ответным словом выступил Черник. Он говорил в общем по существу, не нисходя до болтовни о товариществе и вечной дружбе. Черник предельно осторожно отстаивал линию «Программы действий КПЧ» и между строк дал понять, что не согласен с оценкой военной интервенции как акта, отвечающего интересам социализма.

На это недовольным замечанием отреагировал кто-то из советского политбюро. Атмосфера накалилась. В дискуссию с опровержением какого-то тезиса, высказанного Черником, вмешался также Брежнев. Наступила напряженная пауза. Черник закончил, после чего Дубчек то ли попросил слова, то ли просто без процедурных условностей начал говорить. Первые фразы он произнес, запинаясь и не выговаривая четко слова, но постепенно овладел собой и заговорил на хорошем русском языке. Это была вдохновенная, эмоциональная защита «процесса возрождения» в Чехословакии, которая все больше переходила в полемику, в обвинения в адрес интервентов. Выступление Дубчека было импровизацией, он говорил, что думал, и это — и по содержанию, и по форме — произвело впечатление.

Дубчеку тут же стал отвечать Брежнев. На этот раз и он импровизировал. Кажется, то было единственное по-настоящему интересное выступление с советской стороны за все время переговоров. Брежнев тоже говорил то, что на самом деле думал. Он коротко и ясно изложил три основных вопроса: что больше всего не устраивало Москву в Пражской весне, как понимает Москва

суверенитет государства в собственном блоке, что она считает важным в международной политике.

Брежнев теперь не заводил официальных речей ни о «контрреволюционных силах», ни об «интересах социализма». Он прямо, без обиняков упрекал Дубчека в том, что тот проводил внутреннюю политику без предварительного одобрения и согласования с Брежневым, хуже того, откровенно не считаясь с его указаниями и советами. «Я ведь тебе с самого начала хотел помочь против Новотного, — говорил Брежнев, обращаясь к Дубчеку, — и еще тогда, в январе, спрашивал тебя, не мешают ли тебе его люди? Не хочешь ли их сместить? Хочешь сменить министра внутренних дел? А министра обороны? Кого-то, может, еще хочешь сменить? Но ты все твердил, что нет, все они хорошие товарищи. А затем вдруг узнаю, что ты ни с того ни с сего назначил нового министра внутренних дел, нового министра обороны, других министров, что ты сменил секретарей ЦК».

«Еще в феврале я высказал свои замечания по твоему докладу, — продолжал Брежнев, — я обратил твое внимание на то, что некоторые формулировки неверны. А ты все равно их оставил! Да разве можно так работать? Ведь у нас даже я, работая над докладом, даю его всем членам политбюро, чтобы они высказались. Верно я говорю, товарищи?» — задал Брежнев риторический вопрос и окинул взглядом советское политбюро, которое восседало в один ряд возле него. Все закивали в знак согласия и, одобрительно бормоча, стали подтверждать правоту слов своего начальника. «У нас коллективное руководство, — не останавливался Брежнев, — а это значит, что свои взгляды нужно соотносить с другими».

Брежнев был до глубины души расстроен тем, что Дубчек не оправдал его доверия и не согласовывал с Кремлем каждый свой шаг. «Я тебе верил и даже защищал перед другими, — корил он Дубчека. — Я говорил, что наш Саша все же хороший товарищ. А ты нас всех так жутко подвел». На этой ноте голос Брежнева проникся жалостью и дрожал, говорил он запинаясь, чуть не плача. Брежнев производил впечатление глубоко обиженного патриарха, который искренне считает само собой разумеющимся и единственно правильным, что его положение главы семейства предполагает безоговорочное подчинение и послушание всех остальных его членов. Только его мнение и только

его воля — истина в последней инстанции, а уж он печется исключительно о всеобщем благе. Сама мысль, что все может быть как-то по-другому, представлялась ему глубоко чуждой, и в ней он совершенно естественно усматривал проявление враждебности и измены.

И вот из этого смертного греха, из того, что в Праге не всегда спрашивали согласия Кремля, проистекали в понимании Брежнева все остальные грехи: бурное распространение «анти-социалистических тенденций», полная бесконтрольность, возникновение «контрреволюционных организаций», постоянное отступление руководства КПЧ под давлением этих сил. Если бы Дубчек все сделал с согласия и по совету Брежнева, если бы он вычеркнул из своих выступлений слова, которые Брежнев рекомендовал изъять, если бы он назначал министров и секретарей, согласовывая кандидатуры с Москвой, подобных кошмаров бы не было. Таков вкратце был взгляд Брежнева на Пражскую весну.

Брежнев затем разъяснил Дубчеку, что Москве стало, наконец, ясно, что на его, Дубчека, руководство положиться нельзя. И он сам, долго защищавший «нашего Сашу», вынужден был это признать. Потому что речь шла уже о вопросах принципиальнейших — об итогах второй мировой войны.

Брежнев пространно говорил о жертвах Советского Союза, о погибших солдатах и массовом уничтожении мирного населения, колоссальных материальных потерях и страданиях советских людей во время этой войны. Такую цену Советский Союз заплатил за свою безопасность, гарантия которой — послевоенный раздел Европы, в том числе, связанность Чехословакии с СССР «на вечные времена». По мнению Брежнева, это логично и справедливо, ибо тысячи советских солдат отдали жизни за наше освобождение, и их могилы чехословацкий народ обязан чтить, а не осквернять. Западные границы ЧССР — это не только ее границы, а общие границы «социалистического лагеря». Советское политбюро не может позволить поставить под угрозу итоги последней войны, так как это было бы надругательством над памятью о жертвах советского народа.

Брежнев признавал, что сейчас, после военной интервенции, обстановка в Чехословакии сложная, люди воспринимают происшедшее под влиянием эмоций. Он даже готов был про-

стить дубчековскому руководству, что оно не все правильно понимает. «Сегодня вам кажется невозможным смириться со всем этим, — говорил Брежнев. — Но вспомните Гомулку. В 1956 году он, как и вы теперь, был против того, чтобы наши войска помогли Польше. Но если бы сегодня я заявил, что отзываю из Польши советские части, Гомулка немедленно сел бы в самолет и прилетел сюда умолять меня этого не делать».

Брежнев даже и не пытался искать аргументы в подтверждение того, что «западные империалисты» угрожают Чехословакии. Он не стал повторять ничего из того потока официальной лжи, который запрудил страницы советской печати, запугивавшей обывателя то «западногерманскими реваншистами», готовыми вот-вот напасть на Чехословакию, то американскими офицерами, наводнившими Прагу под видом туристов, и т. д. Логика Брежнева была проста: мы в Кремле поняли, что на вас полагаться нельзя. Во внутренней политике вы делаете что вам заблагорассудится, не обращая внимания на то, нравится нам это или нет. По-хорошему вы не понимаете. При этом ваша страна находится в пределах тех территорий, по которым во время второй мировой войны прошел советский солдат. Мы оплатили их огромными жертвами и уходить не собираемся. Границы этих территорий — это и наши границы. А вы нас не слушаетесь. Это вызывает у нас серьезные опасения. Именем погибших во второй мировой войне, отдавших свои жизни и за вашу свободу, мы имеем полное право направить в вашу страну войска, чтобы чувствовать себя в безопасности в наших общих границах. Неважно, угрожает ли нам кто-либо. Здесь дело принципа, а не внешних обстоятельств. И так будет «на вечные времена».

Брежнев как бы даже был удивлен: ведь это же так просто, как вы не понимаете? За всю свою пространную речь он не проронил ни слова о суверенитете, национальной или государственной независимости, но зато он ни разу и не снизошел до дежурных фраз насчет «общих интересов социалистических стран». В его монологе содержалась одна простая мысль: наши солдаты дошли до Эльбы, и советская граница сейчас протекает там.

«Итоги второй мировой войны, — продолжал Брежнев, — для нас незыблемы, и мы будем стоять на их страже, даже если нам будет угрожать новый конфликт». Он совершенно недву-

смысленно заявил, что военное вторжение в Чехословакию было бы предпринято ценой любого риска. Но затем добавил: «Впрочем, в настоящее время опасности такого конфликта нет. Я спрашивал президента Джонсона, признает ли и сегодня американское правительство в полном объеме соглашения, подписанные в Ялте и Потсдаме. И 18 августа я получил ответ: в отношении Чехословакии и Румынии — целиком и полностью, обсуждения требует лишь вопрос о Югославии. Так что, вы думаете, кто-то что-то предпримет в вашу защиту? Ничего не будут делать. Война из-за вас не начнется. Посудачат товарищи Тито и Чаушеску, поговорит товарищ Берлингуэр. Ну, и что? Вы рассчитываете на коммунистическое движение Западной Европы, но оно уже пятьдесят лет никого не волнует!»

И это тоже было просто и ясно. Нам, коммунистам-реформаторам, Брежнев преподал воистину ценный урок: мы, глупцы, рассуждаем о какой-то модели социализма, пригодной для Европы, в том числе для Западной, а он, реалист, знает, что уже пятьдесят лет это никого не волнует. Но почему? Да потому, что граница социализма, то есть, граница СССР, пока еще проходит по Эльбе. И американский президент с этим согласен, так что, вероятно, ничего не изменится еще лет пятьдесят. А чего там какой-то Берлингуэр? Что, у него есть танки? Разве он может изменить итоги второй мировой войны?

Брежнев, очевидно, ожидал, что после такого ясного, вразумительного разъяснения Дубчек поймёт ситуацию, и можно будет приступить к обсуждению протокола, которое завершится его торжественным подписанием. Но дело приняло иной оборот, Дубчек стал возражать. Он сказал что-то, что вывело Брежнева из себя. Тот перебил Дубчека и с лицом, налившимся краской, сорвался на крик, затем раздраженно бросил: «Все наши переговоры, видимо, были просто бессмысленны. Все повторяется, как в Чиерне-над-Тисой. Говорить больше не о чем». Он заявил, что переговоры прекращаются.

Брежнев, а за ним и все остальные члены советского политбюро встали и собрались уходить. В наступившей сумятице подал голос Людвик Свобода, стремясь утихомирить бурю. Брежнев остановился, выслушал, но потом снова повернулся к выходу, добавив, что надо обсудить, как быть дальше, и вышел в сопровождении всего советского «коллективного руководства»,

гуськом покинувшего зал.

Я и теперь не уверен, было ли это преднамеренным шагом. Тогда меня не покидало ощущение заранее задуманного спектакля. Реакция Брежнева и его команда всем удалиться были совершенно несоразмерны происходившему. Я даже не запомнил слов Дубчека, послуживших всему этому поводом, но думаю, тот не сказал ничего столь уж ужасного, по крайней мере, ничего разительно нового. Дальнейшее течение дел также свидетельствовало, что это был, скорее всего, умышленный ход советского политбюро в целях создания соответствующей атмосферы, в которой чехословацкие реформаторы повели бы себя осмотрительно и не докучали неподходящими замечаниями и возражениями. Но какой бы ни была истинная подоплека этого демарша, он вызвал в зале панику.

Дубчек снова был на грани срыва. Его охватила дрожь, говорил он прерывисто и бессвязно. Появились врачи. Дубчек от них отмахивался, не желая никаких уколов, и вдруг ко всеобщему ужасу заявил: «А я не буду подписывать! Пусть делают со мной что хотят — не буду!»

Его сразу окружили несколько человек — среди них Черник, Свобода, Смирковский — и, перебивая друг друга, стали его убеждать, что это невозможно, что переговоры уже вспять не повернуть. Я тогда тоже так считал. К тому же я был уверен, что взрыв Дубчека — результат сиюминутного психического состояния. Пройдет какое-то время, и он передумает. Я подошел и сказал ему об этом, потом подходили все по очереди и старались его уговорить, чтобы можно было продолжить переговоры. Дубчек всех выслушал без возражений, но остался при своем мнении. «Разве ты не видишь, они совершенно не соображают, что натворили, — отвечал он на все мои аргументы и повторял: — Я не подпишу!»

То был момент истины, момент прозрения. Если бы он был на нашем совещании прошлой ночью и встал на эти же позиции, быть может, и переговоры пошли бы по-другому. Но теперь было уже поздно. Наконец, он позволил сделать ему успокоительный укол и, когда его стали уговаривать по второму кругу, сдался.

Но еще до того как это свершилось, обе стороны проявили лихорадочную инициативу по возобновлению переговоров. Сво-

бода, Черник и другие реформаторы, а из другой команды Биляк и Якеш то и дело выбегали из зала в соседние помещения, где появлялись также Суслов, Пономарев и вроде еще кто-то. Наконец Свободу принял Брежнев, и они о чем-то договорились. Перерыв в переговорах, таким образом, продолжался около часа. Когда они возобновились, был поздний вечер.

Дальнейшее уже не было столь драматично. Абзац за абзацем обсуждался текст протокола. Советская сторона в целом проявляла больше уступчивости, чем до сих пор. Какие именно поправки были внесены в протокол на этом последнем этапе, я уже и не помню. Но два важнейших для нас пункта согласованы были — о выводе войск по завершении «временного» пребывания, продолжительность которого зависела от хода «нормализации», а также о поддержке советской стороной политической линии январского и майского пленумов ЦК КПЧ. Споры, правда, разгорелись вокруг апрельского пленума, принявшего «Программу действий КПЧ». Брежнев, как и в Братиславе, возражал якобы по соображениям стилистики, чтобы между словами «январский» и «майский» (пленумы) стоял дефис, означавший включение в этот ряд и апрельского пленума. Наконец он заявил напрямую, что в «Программе действий» есть положения, которые советское политбюро не считает верными, а потому и не может согласиться с программой в целом. В конце концов, и нам, мол, должно быть ясно, что в нынешних условиях эта программа требует определенных корректировок. При этом советское политбюро поддерживало майскую резолюцию ЦК, которая не только признавала «Программу действий» правильной, но и провозглашала ее основополагающей для всей партии. Но в пользу резолюции майского пленума говорила, дескать, ее конкретность и упоминание о враждебных социализму силах. На том и порешили, и в тексте «московского протокола» об одобрении «Программы действий» прямо ничего не сказано.

К полуночи все было готово, наступил момент подписания. Неожиданно распахнулись массивные двери, и в зал буквально ворвались с десятков фотографов и кинооператоров. Тотчас же, как по команде, все члены советского политбюро встали и подались вперед через стол с расprostертыми для объятий руками к своим сидевшим напротив чехословацким партнерам. Это была абсурдная сцена, освещенная вспышками фотоаппаратов: де-

сятки рук, протянувшиеся к нам частоколом так, что на мгновение мне показалось, будто фантастическое человекоядное растение хочет схватить нас своими липкими щупальцами. Вместо того чтобы подняться и сделать встречное движение, я оттолкнулся от ножки стола, и мое кресло, скользя по натертому паркету, отъехало метра на три прямо к стене. Я очутился возле Коуцкого, сидевшего там с теми, кто не поместился за столом. Широко раскрывшиеся глаза Коуцкого выражали откровенный ужас. «Ты с ума сошел!» — прошептал он. Я не возражал, добавив, что обниматься с ними не могу и не хочу. Коллективные объятия между тем закончились, запечатлевшись на кино- и фотопленку.

Потом еще отсняли для истории момент подписания протокола первыми лицами с той и с другой стороны. После чего фотографов и журналистов так же неожиданно выпроводили из зала, а двери закрыли. Тут я услышал, как Подгорный спросил: «А разве товарищ Млынарж не собирается подписывать?» Значит, он заметил, как я увернулся от объятий. Да он, собственно, и не мог не заметить — ведь я сидел напротив него, и, очевидно, именно ко мне он и протягивал руки. Другие, ничего поначалу не заметившие, стали переглядываться, что там со мной случилось? Я ответил, что подпишу, встал и собственноручно поставил свою фамилию под смертным приговором, вынесенным реформам в Чехословакии.

Как после каждого напряженного момента — трагичного или комичного, — после церемонии подписания наступила разрядка. Но продолжалась она недолго. Атмосферу снова накалил эпизод вокруг отлета Франтишека Кригеля. Он был достоин детективного романа из жизни гангстеров, хотя происходило все вполне реально в Кремле, после переговоров, отличавшихся, как говорилось в коммюнике, «товарищеской и дружеской атмосферой».

Когда речь зашла о технических вопросах, связанных с отлетом в Прагу, кто-то заметил, что надо будет еще привезти в Кремль Кригеля, чтобы улететь всем вместе. На это сам Брежнев отреагировал словами, что, может быть, Кригелю лучше пока не улетать в Прагу. «Пусть останется, — заявил Брежнев, — он ведь не подписал протокол, и будет вам только в тягость». Дубчек и, кажется, Свобода резко заявили, что делегация вернется в Прагу только в полном составе. Без Кригеля мы не уедем. Но

Брежнев продолжал настаивать и живописать, как Кригель будет саботировать выполнение протокола, похвалиться, что он один отказался его подписывать и будет сколачивать оппозицию против «политики консолидации».

Думаю, что здесь скрывался какой-то замысел. Все мы вдруг вспомнили, что Кригель до сих пор находился в роли арестанта и заложника, а не члена официальной делегации, как это было в нашем случае. Брежнев говорил о нем как о заключенном, который к нам вроде и отношения-то не имеет. Людвик Свобода сказал, что по приезду в Прагу он распорядится разместить Франтишека Кригеля и его жену в своей резиденции в Ланах. Брежнев это понял по-своему, как предложение упрятать Кригеля в какую-то роскошную тюрьму и прокомментировал: «Да он у вас сбежит! Кто из вас может за него поручиться?»

Все разыгрывалось, как в детективе, — главарь банды требовал за заложника не выкуп, а личное поручительство. Шпачек, Шимон и я, не сговариваясь, сказали, что ручаемся за Кригеля. Но этого оказалось недостаточно. Начались закулисные торги. Дубчек, Свобода, Черник и Сморковский вместе с советским руководством удалились в соседнее помещение и там, за закрытыми дверями, начали обсуждать данную проблему. Насколько мне помнится, и Якеш посредством каких-то своих связей, видимо, в органах, пытался добиться освобождения Кригеля. В результате была достигнута постыдная, а для Кригеля унижительная договоренность: пленника доставят прямо на аэродром, так как в Кремле ему не место.

После всего этого кремлевские лидеры предложили еще неформально, по-дружески посидеть перед отлетом. Косыгин, которому развеселое поведение было меньше всего к лицу, принялся шутить и ссылаться на старый русский обычай, по которому гости не могут уехать, не присев перед дорогой, не выпив «на посошок». А я вспомнил, как когда-то читал про обычаи одного монгольского племени, которое особо милых сердцу пленников удерживало у себя особым способом. В их босые ноги вживляли конский волос. Пленники не испытывали никакого неудобства до тех пор, пока не пытались встать на ноги и бежать. Традиция задерживать дорогих гостей, о которой говорил Косыгин, была, конечно, гуманнее, и мы все согласились еще присесть с нашими хозяевами.

Застолье продолжалось около часа, а затем все как-то разбились на группки, и завязались небезынтересные беседы. Ко мне подошел Косыгин и после нескольких ни к чему не обязывающих фраз спросил, считаю ли я реальным осуществление протокола, какие трудности могут встретиться и как я смотрю на некоторые кадровые вопросы. Именно к последнему он еще и еще возвращался по ходу разговора. Я догадался, что он меня прощупывает. Этот способ надежнее и проще политико-идеологических дискуссий. Для Косыгина показательно было не то, что я думаю о «социализме с человеческим лицом», а то, как я высказусь о Чернике, Гусаке или Индре.

Я ответил откровенно, что, если московское политбюро и дальше будет ориентироваться на людей, из которых в августе предполагалось сформировать «революционное правительство», это кончится катастрофой, и прямо назвал Биляка и Индру. «Ну, эти...» — произнес Косыгин и презрительно махнул рукой.

Затем с большой похвалой отозвался о Гусаке. Видимо, он хотел намекнуть, на кого они теперь хотят ориентироваться. Косыгин также не возражал против моих слов о важности не допустить перехлеста крайних тенденций. Я ему в открытую сказал, что отставка Кригеля, Цисаржа, Павела, Гаека и других возможна лишь при условии, что одновременно уйдут те, кто полностью себя скомпрометировал в августе. Тогда мне казалось, что Косыгин, как и мы, заинтересован как можно скорее разрядить обстановку и найти взаимоприемлемый компромисс. На следующий день, уже в Праге, я, однако, узнал от Дубчека, что в качестве условия сохранения в будущем добрых отношений с СССР Брежнев потребовал оставить за Биляком и Индрой партийные посты.

Брежнев и остальные члены советского политбюро поехали с нами на аэродром, где состоялись официальные проводы, снова в присутствии фотографов и операторов. В ожидавшем нас самолете действительно уже находился Франтишек Кригель. 27 августа, около двух часов ночи по московскому времени наш самолет поднялся в воздух. Мы снова молчали, но на этот раз по другим причинам. Каждый думал о том, как встретят «московский протокол» на родине. У всех ожидания были далеки от радужных.

Роли после прилета были уже распределены. Первым публично выступит Свобода, за ним — Дубчек. Утром Черник встретится с членами правительства, а Смирковский — с депутатами парламента. Дубчек сразу после прибытия в Прагу обсудит ситуацию с «высочанским» Президиумом ЦК КПЧ. А так как после обеда он должен выступить с обращением к народу, нужно подготовить для него текст выступления. И, как прежде, это поручение дается Млынаржу и Шимону. Итак, мы сидели в самолете и писали, предполагая, что это, видимо, самые спокойные часы из тех, которые нам предстояло еще провести.

По моему мнению, та речь была самой значительной из всех, когда-либо мною написанных. Дубчек внес свои поправки — сначала в текст на бумаге, а потом и по ходу выступления. Тогда наряду со словами немалое политическое воздействие оказали с трудом сдерживаемые Дубчеком слезы. И ему удалось невозможное: народ снова поверил, что не все потеряно, что жива надежда и Дубчек ее осуществит.

ЭПИЛОГ

То, на что я рассчитывал, находясь в Москве, на самом деле продолжалось меньше месяца. Уже в начале октября наступили первые проблески понимания иллюзорности моих расчетов, осознания, что реальные события будут развиваться совсем в ином русле. Стали проявляться первые симптомы неотвратимого разложения, раскола дубчековского руководства, причем именно среди тех, чье единство было обязательной предпосылкой успеха реформаторской политики, которую сейчас приходилось проводить в неблагоприятных условиях компромисса, заключенного с Москвой.

В актив можно было занести лишь то, что 31 августа 1968 года Президиум ЦК КПЧ пополнился новыми членами, семеро из которых входили в «высочанское» политбюро. За исключением Франтишека Кригеля, все арестованные в день оккупации и вывезенные в Москву также остались в руководстве. А вот из тех четверых, что ночью 20 августа голосовали против осуждения советской интервенции, в политбюро остался только Васил Биляк, и то по личному настоянию Брежнева. По этим же причинам не был отозван с поста секретаря ЦК и Алоис Индра. Но он еще не вернулся в Прагу и оставался пока в Москве по болезни, его судьба должна была решиться позднее. В партийном руководстве остались и Пиллер, Ленарт, Барбирек, которые 22 августа согласились войти в «революционное рабоче-крестьянское правительство». Но в целом среди 24 членов нового Президиума ЦК КПЧ эти люди составляли меньшинство. Вошли в политбюро, разумеется, также Гусак и Свобода.

В сентябре в Прагу приехал московский эмиссар Кузнецов, тогда — заместитель министра иностранных дел. Он, будучи наделен большими полномочиями и по партийной линии, сразу же взялся за дело: переговорил с каждым членом Президиума в отдельности и, прозондировав ситуацию, искусно разжигал разногласия, о которых узнавал во время бесед. После моей встречи с ним и по рассказам других я понял, что главной задачей Кузнецова было представить Кремлю рекомендации, кого в руководстве КПЧ следует поддержать, а кого как можно быстрее из него вывести. Обычно он начинал разговор с комплиментов в адрес собеседника. Встретившись со мной, например, он пере-

дал мне привет лично от Брежнева и подчеркнул, что товарищ Брежнев высоко оценил мою статью, опубликованную недавно в «Руде право». Йозефа Шпачека он заверил, что его арест 21 августа был просто недоразумением, что товарищи в Москве сожалеют о случившемся и что Шпачек пользуется полным доверием Кремля. Затем Кузнецов в непринужденной манере пытался выяснить, у кого какая позиция по тем или иным вопросам, связанным с трактованием «московского протокола». Многие свои вопросы и якобы личные точки зрения Кузнецов формулировал так, чтобы поймать собеседника на слове. А затем незаметно переходил к разговору о том, кто как оценивает отдельных членов политбюро — от Дубчека до Индры.

Мое место в блокнотике Кузнецова среди тех, на кого рассчитывать нельзя, видимо, окончательно предопределили мои высказывания об Индре. В ответ на вопрос, как бы следовало «поступить с Индрой», я сказал, что поскольку Индра все еще в Москве, то проблему эту решить нетрудно. Он вообще мог бы в Прагу не возвращаться. И без того неприветливое лицо Кузнецова застыло, как неподвижная маска. Он, видимо, решил, что я намекаю на судьбу коммунистических деятелей, которые при Сталине, попав в кремлевскую больницу, нередко уже из нее не возвращались. Я пояснил, что имею в виду, чтобы Индра остался в Москве, например, в качестве представителя Чехословакии в СЭВ. Его действия в августе, по моему мнению, исключали его возвращение на пражскую политическую сцену. Об этом я еще в Кремле говорил с Косыгиным, и тот не только не возражал, но и полностью согласился. После этого наша беседа с Кузнецовым утратила наигранную любезность и сердечность и сама собой иссякла.

Как мне кажется, уже в процессе разговора с Кузнецовым и потом во время своих сольных визитов в Москву первым отошел от согласованной линии Черник. Союзу с Дубчеком, Смирковским и другими, на верность которому Черник присягнул в августе в Кремле, он уже в сентябре стал изменять, надеясь, что Москва будет ему благоволить и при новой расстановке сил. Ради этой надежды Черник отрекся от меня, затем от Смирковского и, наконец, от Дубчека. Объединившись со Штроугалом, который был его приятелем, с Гусаком и Свободой, он, вероятно, рассчитывал стать после Дубчека первым секретарем ЦК КПЧ. В апреле 1969

года, когда под нажимом Москвы Дубчеку пришлось-таки уйти, он сам предложил кандидатуру Черника в качестве своего преемника. Дубчек ни за что не хотел, чтобы этот пост достался Гусаку: он опасался, и не без оснований, что необузданные амбиции, жажда власти и другие черты характера Гусака ввергнут партию в настоящий ад, даже в сравнении с уже случившимся. Черник все же внушал надежду, что рациональную и прагматическую «нормализацию» не вытеснит произвол сталинских последышей, отстраненных от власти еще при Новотном.

На своих переговорах в Москве Черник отошел от всех согласованных договоренностей и по вопросу о постепенном выводе советских войск из Чехословакии. Несмотря на то, что было твердо оговорено держаться за положения «московского протокола» о полном выводе советских частей, Черник первым дал согласие на другую формулировку, которая затем была внесена и в договор о пребывании советских войск в Чехословакии, подписанный в октябре 1968 года, узаконивший размещение 100 тысяч советских солдат на неопределенное время.

Этими своими действиями Черник обеспечил себе пребывание на посту председателя правительства до января 1970 года. Он пережил на несколько месяцев не только падение Дубчека, но и исключение из ЦК КПЧ всех, кого он в августе 1968 года искренне обнимал в Кремле и кому клялся в верности, нерушимом единстве и согласованности действий. Наконец, и сам Черник был принесен в жертву, а его кресло занял его друг Любомир Штроугал. Но до этого Черник — единственный из тех, кто в августе 1968 года должен был предстать перед судом «революционного трибунала», — публично отмежевался от демократических реформ Пражской весны и своего участия в них. Лишь после исключения из партии весной 1970 года у него наступило просветление, в сердцах он как-то, помнится, лаконично проронил: «Я пустил по ветру свое положение и достоинство».

Александр Дубчек тоже вначале рассчитывал сохранить свое место и средствами кулуарной политики и договоренностей с Брежневым получить поддержку Кремля. Москва, однако, окончательно списала его со счетов, и политическая игра, первым ходом которой был визит Кузнецова, затевалась, в том числе, и в целях замены Дубчека. В последний раз я пытался его в этом убедить в январе 1969 года. Он не хотел и слушать, напротив,

утверждал, что у него с Москвой уже все в порядке и что советские войска уйдут из Чехословакии, как только ему удастся окончательно убедить Брежнева в прочности своих позиций и контролируемости ситуации. «Если бы некоторые журналисты и те, кто не понимают, что они неприемлемы для Москвы, не мешали, — сетовал тогда Дубчек, — я бы уже давно обо всем договорился».

Он говорил это на следующий день после самосожжения в Праге Яна Палаха в знак протеста против капитуляции перед оккупантами. Дубчек всерьез верил, что решающее значение будут иметь закулисные беседы с Брежневым в Москве или на охоте на кабана в Киеве. За неделю до этого под давлением Кремля, проводником линии которого был Гусак, вынужден был подать в отставку председатель Национального собрания Йозеф Смрковский. Дубчек еще занимал пост первого секретаря КПЧ, но из его бывших сторонников в руководстве остались только Черник, Гусак, Штроугал и Свобода. Среди секретарей ЦК КПЧ уцелел лишь один реформатор — Йозеф Шпачек. Кроме него, секретарями тогда были Биляк, Индра, Ленарт и Йозеф Кемпный — человек Черника. Так что Москве действительно оставалось убрать только самого Дубчека, а он продолжал верить в свою победу. Я не понимал этой веры тогда и не могу понять ее до сих пор. Возможно, все тогда в глаза лгали Дубчеку, в первую очередь Брежнев. Но как он мог верить им?

Меня Дубчек списал давно, еще на переговорах в Москве 4 октября 1968 года. Вначале было принято решение направить туда делегацию в составе: Дубчек, Черник, Гусак и я. Мне даже поручили подготовить материалы для переговоров. Но перед самым отъездом из состава делегации меня исключили. Дубчек тогда стал объяснять, что Брежнев настаивает на участии с чехословацкой стороны трех человек, поскольку от них будет тоже трое. Разумеется, я не принял это объяснение всерьез, понимая, что причины моего удаления из числа участников переговоров заключались в другом — либо этого потребовал Брежнев, либо Гусак и Черник, а то и все вместе. Дубчек, Черник и Гусак вернулись из Москвы с новыми условиями капитуляции, выходящими за рамки «московского протокола». Делегация согласилась с пребыванием советских войск на территории Чехословакии в течение неопределенного времени, пошла на то, чтобы отложить

также на неопределенный срок созыв съезда партии, и приняла к сведению точку зрения Политбюро ЦК КПСС на «Программу действий КПЧ» как на ошибочный документ. Кроме того, была решена политическая судьба ряда лиц, в их числе и моя.

О том, что Дубчек в Москве мною пожертвовал, он рассказывал только несколько недель спустя. Я же понял это сразу после возвращения делегации из Москвы. Я разговаривал с Дубчеком с глазу на глаз о том, что целью усиливающегося нажима Москвы является постепенное устранение с руководящих постов всех реформаторов, а потому необходимо обдумать альтернативное решение: Дубчек и его люди должны были бы сами подать в отставку и назначить таких преемников, которые гарантировали сохранение хотя бы минимума реформ и помешали бы наступлению сталинистов и советских приспешников в партии. Только такая мера, говорил я, воспрепятствует распаду партии и превращению ее в организацию, которая в будущем уже не будет способна пойти по пути реформ. Биляк, например, не считал даже нужным скрывать свою точку зрения, заключавшуюся в том, что, только исключив из партии половину членов, ее можно превратить в истинно «ленинскую». Тогда я видел единственную возможность помешать Биляку, Индре, Якешу и другим организаторам «революционного рабоче-крестьянского правительства» взять все в свои руки — это противопоставить им иную политическую команду вместо Дубчека, Шпачека, Шимона и меня. Конкретно я имел в виду Черника в качестве первого секретаря КПЧ, а Штроугала — председателя правительства. Если они займут высшие посты в государстве, то им удастся удержать Гусака в Братиславе, получить поддержку Москвы и укротить сталинистов в партии, поскольку и Черник, и Штроугал были связаны не с нами, а с прагматическим, рациональным крылом в партийном и государственном аппарате. Конечно, на несколько лет, придется заморозить политическую реформу, но со временем на путях чехословацкого варианта «кадаризации» можно было бы вернуться к прежним идеям.

Дубчек мои соображения не принял. Положение не казалось ему безнадежным. Он отказался подать в отставку, но вот меня оставлять не уговаривал, и я понял, что обо мне с ним уже говорили в Кремле. Я взял отпуск на две недели и уехал за город, на природу, отсыпался и размышлял на свежем воздухе.

Но ни до чего нового я не додумался. Подписав «московский протокол», руководство КПЧ лишилось возможности и дальше опираться на широкое демократическое движение народа. Согласившись «нормализовать положение» в стране, оно, по существу, отреклось от этого движения. Фактически с конца августа дубчековское руководство занималось исключительно умиротворением всенародного движения против оккупантов, стараясь ввести его в такое русло, которое не спровоцировало бы нового недовольства Москвы и требований ускоренной «нормализации». Можно было рассчитывать лишь на молчаливое согласие между руководством и народом, на понимание народом того, что многое принесено в жертву только ради сохранения сил на будущее.

Однако в этих условиях, чтобы сберечь силы, нужны были целенаправленные действия. Здесь я не видел иной возможности, чем та, что я предлагал Дубчеку. Если мы так не сделаем, полагал я, то Москва все равно не успокоится, пока не добьется снятия Дубчека и его людей. Была опасность, что для достижения своих целей Кремль реанимирует даже тех, кого отстранили от политической деятельности еще в 60-е годы, и все достигнутое в результате десятилетнего периода реформ будет погребено, а партия станет соответствовать представлениям Биляка. Я решил еще раз попытаться повлиять на Дубчека и других, а если это не удастся, уйти со всех постов, поскольку, оставаясь на них, я все равно не смогу ничего сделать.

Возможно, удалось бы продержаться пару недель или месяцев, но потом так или иначе всех нас уберут — так решила Москва. Но для будущего это не принесло бы никакой пользы, скорее наоборот.

В Прагу я вернулся в конце октября. Свои соображения я высказал Смирковскому, Шпачеку, Шимону и еще раз Дубчеку. Первые трое со мной в общем согласились, но оговорили, что их окончательная позиция будет зависеть от Дубчека. Если он не подаст в отставку и не выберет нового первого секретаря, их уход будет лишен смысла. Только Богумил Шимон склонялся к тому, чтобы уйти независимо от позиции Дубчека. Тот же своего мнения не изменил. Теперь, в начале ноября, он уже открыто сказал мне, что моя отставка пошла бы на пользу делу и что об этом с ним вели речь в Кремле. Он уверял, что моя политическая

роль будет, несмотря ни на что, сохранена. Он намерен консультироваться со мной, его двери открыты для меня днем и ночью, как и двери других членов партийного руководства. После этого Дубчек предложил мне пост министра культуры.

Я ответил, что эту должность мне предлагали в августе в советском посольстве, но я отказался тогда и отказываюсь сейчас. Должности были важны для меня постольку, поскольку позволяли оказывать влияние на реализацию демократических реформ. Сейчас об этом даже речи быть не могло, а потому я предпочитал вернуться к научной работе. Дубчек не возражал, на том мы и порешили.

Последним поручением, которое мне пришлось выполнить в качестве секретаря ЦК, была подготовка совместно с Йозефом Шпачеком проекта резолюции ноябрьского (1968 г.) пленума ЦК КПЧ. Я предпринял последнюю попытку очертить рамки, в пределах которых сохранялась бы хоть какая-то возможность проводить реформаторский курс. Уверенности в успехе, правда, не было. В итоге то, что мы подготовили со Шпачеком, в целомом виде в текст резолюции не вошло. Ночью накануне пленума Дубчек (кажется, вместе с Черником и Гусаком) летал на консультацию с Брежневым. После этого из проекта резолюции были вычеркнуты абзацы, которые могли как-то поставить под сомнение «обоснованность» военной интервенции, и добавлены фразы об опасности «правого оппортунизма» в рядах КПЧ. Говоря откровенно, мне это уже было безразлично. Я понял, что больше ни на что повлиять не могу.

16 ноября 1968 года пленум ЦК принял мою отставку со всех должностей. Я, правда, продолжал оставаться членом ЦК КПЧ, но участвовал в пленумах после этого только один раз — 16 января 1969 года, в день самосожжения Палаха. Когда о случившемся стало известно присутствовавшим членам ЦК, слова попросила Гелена Рашкова — известный врач. Она сказала, что ей стыдно слушать речи, ведущиеся на пленуме, и, возможно, именно узнав о том, что здесь говорят, Палах пошел на столь отчаянный протест. Ее грубо одергивали из зала, мешали говорить. Вилем Новый, который впоследствии снискал славу рьяного приспешника «нормализации», тут же разразился довольно циничной речью о Палахе. Смерть пражского студента, потрясшая всех честных людей, ничуть не взволновала тех, на чьей

совести она была.

Перед началом пленума на заседании политбюро и секретариата вдруг появился доставленный из Москвы Алоис Индра. В тот момент я физически почувствовал приступ тошноты. Все, кого должен был судить «революционный трибунал» Индры, за исключением Франтишека Кригеля, сидели рядом с ним и делали вид, будто ничего, собственно, не произошло. Просто товарищ Индра снова вместе с нами. Такое же ощущение омерзения переполняло меня на пленуме, когда часть его участников кричала на Гелену Рашкову. Мне пришло в голову, что эта компания, не ровен час, снова начнет аресты и казни своих же. Тогда, наверное, Кремль наконец признает, что положение в Чехословакии пришло в норму.

Больше на заседания ЦК я не ходил — ни в апреле, когда секретарем ЦК выбрали Гусака, ни в сентябре, когда меня вывели из его состава. И были это те же самые люди, что сместили Антонина Новотного, одобрили «Программу действий», избрали Александра Дубчека, избрали и меня.

Был ли я вправе надеяться, что их позиция во время Пражской весны окончательная и искренняя? Разве я не знал, что внешне по-отечески добрый Запотоцкий проголосовал за вынесение смертного приговора своим старым друзьям и соратникам? Так же поступали теперь и нынешние члены ЦК, и, возможно, это как раз нормально для нашего общества.

В сентябре 1969 года, перед тем как вывести из ЦК, меня, «как полагается», вызвали на комиссию политбюро, состоявшую из трех человек, с которыми я весь предшествующий период заседал в партийном руководстве: Яна Пиллера, Эвжена Эрбана и Олдржиха Воленика. Вначале все выглядело, как на дружеской вечеринке долго не видевшихся старых знакомых. Но потом Пиллер в незатейливой форме сообщил мне мнение политбюро, в то время давно уже гусаковского: товарищи признают, что я не был ни экстремистом, ни правым. Они ценят это и рассчитывают, что мне нетрудно будет удовлетворить их пожелание. На предстоящем пленуме я должен выступить и сказать две вещи: отказ поехать на встречу в Варшаву в июле 1968 года был ошибкой и напомнить, как еще летом я говорил Смирковскому, что его позиция основывается на принципе «куда ветер дует». Если я это сделаю, то останусь членом ЦК. На вопрос, что произойдет,

если я откажусь, Пиллер лаконично ответил: «В таком случае ты членом ЦК оставаться не сможешь».

Я отказался, сказав им, что мое мнение о совещании в Варшаве с их оценкой расходится. Относительно Смирковского я действительно нечто похожее высказывал, но вовсе не думаю, что это главная черта его характера. Если я когда-нибудь снова окажусь вместе с ним в политбюро и сочту его позицию неверной, то скажу ему все в глаза, а не выполняя чью-то грязную работу. «А я знал, что ты откажешься, — заявил Пиллер. — Мне это даже нравится. Просто противно наблюдать, как люди на глазах пытаются перекараситься. До тебя здесь был Цисарж — было просто тошно». Сам Пиллер, однако, в этом отношении особыми достоинствами не отличался. «Я рад, — ответил я, — что тебя тошнит от хамелеонов. Боюсь, правда, теперь ты себя часто будешь плохо чувствовать». Пиллер осекся, сменил свой непринужденный тон и поспешил закончить разговор. Позже я узнал, что эта тройка представила ЦК письменное заключение, в котором вся моя политическая деятельность квалифицировалась как «правооппортунистическая» и на этом основании предлагалось исключить меня из ЦК.

Тогда из ЦК были изгнаны все, кто оставался верен политической линии Пражской весны, в том числе Йозеф Смирковский, ценой клеветы на которого мне предлагали сохранить свое положение. Смирковский, по профессии пекарь, находился на партийной работе с довоенных времен. Он закончил школу Коминтерна в Москве, во время войны был в подполье, с 1944 года — член подпольного ЦК КПЧ. Во время Пражского восстания 5 мая 1945 года являлся заместителем председателя Чешского национального совета, затем вплоть до 1951 года — членом партийного руководства и заместителем министра сельского хозяйства. В 1951 году он был арестован и приговорен к пожизненному заключению. Из тюрьмы вышел после смерти Сталина в 1953 году. После реабилитации в 1963 году Новотный вернул его на политическую сцену. Смирковский стал министром, депутатом Национального собрания, а в 1966 году — членом ЦК. Наряду с Кригелем Смирковский был единственным в дубчековском руководстве представителем старой гвардии коммунистических деятелей и воплощал в себе их характерные черты, как положительные, так и отрицательные.

Смрковский был бойцом. Если он верил в правоту своей позиции, он отстаивал ее с чрезвычайным упорством, не брезгуя элементами демагогии, характерной для митинговых ораторов и трибунов. Он быстро и точно улавливал политический смысл явлений и событий, так же быстро принимая решения. К тому же Смрковский был умудрен большим жизненным опытом, который давал ему понимание, что не следует проявлять твердолобость, держась за ошибочные решения, правильнее вовремя их скорректировать. Поэтому в дискуссиях он был открытым партнером, и переубедить его было легче, чем Дубчека. Если Смрковский менял свою точку зрения, то отстаивал эту новую так же страстно. Данную его черту «нормализаторы» частенько представляли как доказательство его бесхарактерности, распространяя о нем пропагандистские памфлеты с названиями типа «Политик о двух лицах».

Я же совершенно убежден, что некоторые действительно просто головокружительные перемены в политических позициях Смрковского ничего общего с бесхарактерностью не имели. Во всех кризисных ситуациях, когда на карту ставилась не только карьера, но иногда и сама жизнь, Смрковский всегда вел себя как принципиальный, непоколебимый человек. Таким он был в подполье во время войны, таким же образом проявил себя и после ареста, когда отстаивал свою правоту как мало кто из репрессированных, так же он повел себя в августовские дни 1968 года. В подобных ситуациях Смрковский не то что не менял своей позиции, но и отстаивал ее так, как только это может делать человек, убежденно верующий в жизненные ценности. Пражская весна была для Смрковского воплощением его надежд и веры, с осознанием этого он служил ее идеалам. К тому же Пражская весна была последней возможностью Смрковского реализовать себя в качестве политика: в 1968 году ему было уже 57 лет, и он был болен. Его стремление к самореализации представляется, таким образом, естественным и по-человечески понятным. Обвинения Смрковского в карьеризме карьеристами «нормализованной» КПЧ нельзя расценить иначе, как одну из самых больших подлостей в их и без того грязном послужном списке.

В ситуациях не очень острых и критических Смрковский позволял себе колебания. Я упоминал об этом, когда рассказывал о заседании партийного руководства в июне 1968 года по

поводу манифеста «Две тысячи слов». О другом таком случае мне как раз и предложили рассказать, чтобы сохранить членство в ЦК КПЧ. Когда накануне встречи в Чиерне-над-Тисой я представил в политбюро законопроект о Национальном фронте, который должен был облегчить положение чехословацкой стороны на переговорах, Смирковский обещал поддержать меня. Но затем на заседании он передумал, на него надавили советники из числа радикальной коммунистической интеллигенции. Тогда-то во время перерыва, сидя за ужином рядом с Смирковским, я и сказал ему те памятные слова о политике и ветре. Смирковский признавал, что подвел меня, и чувствовал себя, видимо, неловко. Поэтому в ответ он заявил нечто несуразное: «Взгляни на список самых популярных политиков в сегодняшних газетах. Я уже скатился на пятое место!» Это окончательно вывело меня из равновесия, и я спросил, на что он будет ориентироваться, когда в газетах снова запретят печатать подобные вещи. Смирковский смолчал и тихо принялся доедать суп. Сидевшие рядом могли нас слышать. Среди них, мне кажется, был и Пиллер.

Смирковский оказался первым из исключенных партийных руководителей, он первым открыто выступил против «нормализации». Дубчек, Кригел, Шпачек, Шимон, Славик и я тогда вели себя тихо, у каждого были, правда, на то свои причины, но все мы помалкивали. А ведь речь шла о том, позволят ли люди запрячь себя без сопротивления, как скот на бойне, в старо-новое ярмо тоталитарной системы, или все же поднимет голос хотя бы кто-то из тех, что еще недавно находились в ответственной роли политических лидеров. В сентябре 1971 года итальянский коммунистический журнал «Vie Nuove» опубликовал со Смирковским интервью, в котором тот критиковал проводившуюся в Чехословакии политику «нормализации». На этот раз Смирковский не колебался в том, чтобы подставить себя под удар, так он не раз поступал в критических ситуациях.

Его авторитет в народе еще больше возрос, но в той же степени углубилась ненависть гусаковского режима и усилился полицейский надзор. Так продолжалось до самого конца его жизни в 1974 году. Режим мстил Смирковскому и после смерти. Власти не дали похоронить его прах в пражской земле. Урна с пеплом Смирковского, захороненная в семейной могиле, была украдена. Госбезопасность затем сообщила, что урна была об-

наружена в туалете (!) скорого поезда Прага-Вена, и сфабриковала версию, что Смрковского намеревались «в провокационных целях» захоронить в Австрии. Полиция вернула урну родным, но запретила хоронить его на пражском кладбище под предлогом, что «провокация» может повториться. С пеплом Смрковского поступили так же, как с гробом Яна Палаха, могилу которого распорядились убрать с центрального Ольшанского кладбища. Режим боялся их и мертвых. А это было самой большой честью, какую мог только оказать «нормализованный» пражский режим.

Через полгода после того как я был выведен из ЦК, меня исключили из партии. Это произошло в марте 1970 года, как раз когда пошел 25-й год моего пребывания в КПЧ. Меня вызвали к Якешу в центральную ревизионную комиссию КПЧ. Разворачивалась самая большая чистка в истории партии, в результате которой новые партбилеты не были выданы трети ее членов. Я был одним из первых. Мое дело должно было стать показательным для партийных организаций в плане того, за что и кого исключать. Сам Якеш уклонился от участия в процедуре исключения. Эту роль взял на себя его заместитель О.Мандяк.

В течение одного часа закончился период жизни почти в четверть века. Я и сам не просил выдавать мне новый партбилет, мотивируя это несогласием с советской интервенцией и политикой КПЧ на протяжении последнего года. Оказалось, однако, что Коммунистическая партия Чехословакии — это организация, в которую можно добровольно вступить, но выйти из которой по собственному желанию нельзя. Гусаковское руководство не могло допустить, чтобы я сам отказался от партбилета, ему нужно было наказать меня исключением для устрашения других.

Текст с обоснованием моего выдворения был подготовлен. Я отказался подписать его, поскольку некоторые формулировки напоминали тирады из прокурорских речей на процессах 50-х годов. Комиссии понадобился час на то, чтобы выбросить некоторые фразы, изменить другие и составить новый протокол.

После собеседования я зашел в туалет. Минуту спустя туда же по естественной нужде вбежал председательствовавший на партийном трибунале Мандяк. Увидев меня, он замешкался, но все-таки встал рядом со мной и занялся обычным в такой ситуации делом. «У тебя много работы с нами?» — спросил я его. «Ну, сегодня еще трое», — ответил Мандяк, и мы снова замол-

чали. Я уже мог уйти, но намеренно задержался, желая, чтобы Мандяк вышел первым и попрощался. Мне было интересно, произнесет ли он в адрес отлученного от КПЧ официальное партийное приветствие «Честь труду». Мандяк торопился, его ждали, и он нашел компромиссное решение. «До свидания, товарищ», — сказал он и, уже не мешкая, выбежал.

Если бы четверть века назад, когда я, воодушевленный возвышенными идеалами, вступал в партию, кто-то сказал, каким фарсом закончится мое пребывание в ней, он стал бы моим смертельным врагом. Четверть века назад я бы посчитал, что не переживу исключение, теперь же я просто осознавал, что завершился один жизненный этап и начинается новый, может быть, более важный. Я даже почувствовал своего рода облегчение.

Еще семь лет я жил в Чехословакии, но уже не среди власть имущих, а в гетто отверженных. Партия, которой я отдал почти 25 лет жизни, отторгла меня, но в покое не оставила. Мною занялись, правда, исключительно те, кому вверялись судьбы противников тоталитарной власти — сотрудники политической полиции. Однако эти семь лет — материал уже для другого повествования.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог	3
Глава 1. От Хрущева до Дубчека	27
Глава 2. Пражская весна среди власть имущих	81
Глава 3. Перед судом Кремля	160
Эпилог	267

Сканировано © «Стеко» с издания Зденек Млынарж «Мороз ударил из Кремля», Москва, издательство «Республика», 1992